АЛЕКСАНДР БЕНУА

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКА

ВОСПОМИНАНИЯ

Том I



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк • 1955

LIFE OF A PAINTER

RECOLLECTIONS

by

Alexander Benois

Vol. I

Printed in U.S.A.

Памяти

моей дорогой жены

Глава I

МОЙ ГОРОД

Я должен начать свой рассказ с признания, что я так и не дозрел, чтобы стать настоящим патриотом, я так и не узнал пламенной любви к чему-то огромно-необъятному, не понял, что его интересы — мои интересы, что мое сердце должно биться в унисон с сердцем этой неизмеримой громады. Таким, видно, уродом я появился на свет и возможно, что причиной тому то, что в моей крови сразу несколько (столь между собой завраждовавших) родин — и Франция, и Неметчина, и Италия. Лишь обработка этой мешанины была произведена в России, причем надо еще прибавить, что во мне нет ни капли крови русской. Однако, в нашей семье я один только таким уродом и был, тогда как мои братья все были русские пламенные патриоты с большей или меньшей примесью чего-то скорее французского или итальянского в характере. Факт во всяком случае остается: я Россию, как таковую, Россию в целом, знал плохо, а в характерных чертах ее многое даже претило мне, и это еще тогда, когда я о существовании каких-то характерных черт не имел ни малейшего понятия.

Напротив, Петербург я любил. Во мне чуть ли не с пеленок образовалось то, что называется «patriotisme de clocher»[1]. Я понимал прелесть моего города, мне нравилось в нем всё; позже мне не только уже всё нравилось, но я оценил значение всей этой целостности. Я исполнился к Петербургу того чувства, которое, вероятно, жило в римлянах к своей urbs, которое у природного француза к Парижу, у англичанина к Лондону, у истинно рус-

[1] «Патриотизмом колокольни».

ского человека к Москве, которого, пожалуй, нет у немцев. Немцы те, действительно, патриоты всей своей страны в целом: Deutschland über Alles... А во мне скорее жил (да и теперь живет) такой императив — Petersburg über Alles...

Я отлично знаю, что это вовсе не то чувство, которое полагается в себе питать и которым можно гордиться. Тем не менее это чувство мое имеет абсолютное утверждение. Скажу тут же — из всех ошибок «старого» режима в России мне представляется наименее простительной его измена Петербургу. Николай II думал, что он вполне выражал свое душевное созвучие с народом, когда высказывал чувство неприязни к Петербургу, однако тем самым он отворачивался и от самого Петра Великого, от того, кто был настоящим творцом всего его самодержавного величества. Внешне и символически неприязнь эта выразилась, когда он дал свое согласие на изменение самого имени, которым прозорливый вождь России нарек свое самое удивительное творение. Я даже склонен считать, что все наши беды произошли как бы в наказание за такую измену, за то, что измельчавшие потомки вздумали пренебречь «завещанием» Петра, что, ничего не поняв, они сочли, будто есть нечто унизительное и непристойное для русской столицы в данном Петром названии. «Петроград» означало нечто, что во всяком случае было бы неугодно Петру, видевшему в своей столице большее, чем какое-то монументальное поминание своей личности. Петроград, не говоря уже о привкусе, чуждой Петру, «слявянщины», означает нечто сравнительно узкое и замкнутое, тогда как Петербург или точнее Санкт-Петербург означает город-космополит, город, поставленный под особое покровительство того святого, который уже раз осенил идею мирового духовного владычества — это означает «второй» или «третий» Рим. Самая несуразность соединения сокращенного латинского sanctus и слов германского звучания Петер и Бург, как бы символизирует и подчеркивает европейскую, вернее, коспомолитическую природу Петербурга.

Все эти мысли, осознанные давным-давно, достигли во мне крайней напряженности именно в тот момент, когда Санкт-Петербург был переименован в ознаменова-

вие чудовищной международной, но главным образом европейской, распри, (европейцы против европейцев — «своя своих не познаше»). Тогда я с особой силой ощутил и то, что во мне живет *культ* Петербурга. Но любил я его уже и тогда, когда вовсе не понимал, что вообще можно «любить» какие-то улицы, каменные нагромождения, каналы, какой-то воздух, какой-то климат и всевозможные лики сложного целого, менявшиеся в зависимости от времени года, от часа дня, от погоды. «Открывал» я Петербург в течение многих лет, в сочетании с собственными настроениями и переживаниями, в зависимости от радостей и огорчений своего сердца.

О, как я обожал петербургскую весну с ее резким потеплением и особенно с ее ускоренным посветлением. Что за ликование и что за щемящая тоска в петербургской весне... И опять-таки я ощущал, как нечто исключительно чудесное и патетическое, когда, после сравнительно короткого лета, наступала «театрально эффектная» осень, а затем «оглянуться не успеешь, как зима катит в глаза». Зима в Петербурге именно катила в глаза. В Петербурге не только наступали холода и шел снег, но накатывалось нечто хмурое, грозно мертвящее, страшное. И в том, что все эти ужасы всё же вполне преодолевались, что люди оказывались хитрее стихий, в этом было нечто бодрящее. Именно в зимнюю мертвящую пору петербуржцы предавались с особым рвением забаве и веселью. На зимние месяцы приходился петербургский «сезон» — играли театры, давались балы, праздновались главные праздники — Рождество, Крещение, Масленица. В Петербурге зима была суровая и жуткая, но в Петербурге же люди научились, как нигде, обращать ее в нечто приятное и великолепное. Такой представлялась мне петербургская зима и в детстве, и это несмотря на то, что зима неизменно влачила за собой всякие специфические детские болезни. Позже наступление ее означало еще и начало многострадального «учебного года»!

Когда я сижу у открытого настежь окна, выходящего на милую (почти родную) Сену, мне в сегодняшний жаркий и светлый июньский вечер 1934 года представляется особенно соблазнительным перенестись на ма-

шине времени в те далекие времена, когда я жил в своем родном городе. Попытаюсь восстановить в памяти то, чем был на берегах Невы вечер, в такую же июньскую пору, чем вообще был весной весь мой милый, милый город. Повторяю, это была пора, когда я особенно любил Петербург. Именно в мягкие июньские вечера, совпадающие с особенно ликующими моментами моих личных переживаний, я стал сознавать и свою влюбленность в родной город, в самое его лицо и в его персону. Красив и поэтичен Петербург бывал в разные времена года, но действительно весна была ему особенно к лицу. Ранней весной, когда скалывали по улицам и площадям кору заледенелого снега, когда между этими пластами по открывшейся мостовой неслись откуда-то взявшиеся блиставшие на солнце ручьи, когда синие тени с резкой отчетливостью вылепляли кубы домов и круглоту колонн, когда в освобожденные от двойных рам и открытые настежь окна вливался в затхлую квартиру «новый» воздух, когда лед на Неве набухал, становился серым и, наконец, вздымался, ломался и сдвигался с места, чтобы поплыть к взморью — Петербургская весна была уже изумительна в стихийной выразительности своего пробуждения. Не могло быть сомнения, что одно время года сменяло другое. Но когда, наконец, новый порядок бывал окончательно установлен, наступало поистине благословенное время. Суровый в течение месяцев Петербург становился ласковым, пленительным, милым. Деревья в садах покрывались нежнейшей листвой, цвела дурманящая сирень и сладкопряная черемуха, стройные громады дворцов отражались в свободно текущих водах. Тогда же начинались (в ожидании переезда на дачу) паломничество петербуржцев, соскучившихся по природе, на Острова и начиналось гуляние нарядной толпы по гранитным панелям набережной — от Адмиралтейства до Летнего сада. Самый Летний сад заполнялся не одними няньками с детьми да старичками и старушками, совершавшими предписанную гигиеническую прогулку, но и парочками влюбленных.

Из всяких воспоминаний о Петербургской весне, мне особенно запомнились какие-то «плавания» в тихие белые ночи по шири нашей красавицы-реки. Совершались

эти поездки то на суетливо попыхивавшем пароходике, то на бесшумно скользившем ялике, едва колыхавшем водную гладь. А плыл я, бывало, таким образом или с дальней Охты, с Кушелевки от сестры или с Крестовского или Елагина, где я только что гулял с невестой или еще из Зоологического сада, куда было принято ездить поглядеть на спектакли в двух, стоявших среди зверинца, театрах. Воспоминания о вечерах, проведенных в «Зоологии», не принадлежат к самым поэтичным в моем прошлом. Слишком всё тамошнее было доморощено-провинциальным, слишком много распивалось пива, слишком жалкое впечатление производили безнадежно хиреющие звери в их тесных и дурно пахнущих клетках. Но с момента, когда, покинув ворота «Зоологии», я садился в ярко раскрашенную лодку перевозчика и когда после нескольких ударов весел, ялик выезжал на тот простор, что расстилается между многоколонной Биржей, гранитными стенами крепости и роскошными массами дворцов, то всякие тривиальные впечатления сглаживались и начиналась та фантасмагория, которая по своему возвышенному благородству не имела ничего себе равного.

Белые ночи — сколько о них уже сказано и писано. Как ненавидели их те, кто не могли к ним привыкнуть, как страстно любили другие. Но нигде белые ночи так не властвовали над умами, не получали я бы сказал такого содержания, такой насыщенности поэзией, как именно в Петербурге, как именно на водах Невы. Я думаю, что сам Петр, основавший свой Петербург в мае, был зачарован какой-нибудь такой белой ночью, неизвестной средней полосе России.

Весла равномерно и глухо хлопают по воде, едва журчит струя за кормой и освещенный зарей гребец то наклоняется вперед, то отклонится назад, босые его ноги крепко уперлись в перекладину на дне лодки, через каждые три удара он оборачивается, чтобы проверить направление, а иногда тряхнет головой, чтобы отбросить от глаз косму непокорных волос. Насторожившаяся тишина стоит вокруг, всякий разговор давно замолк. И вдруг в этом торжественном безмолвии, в прозрачных сонных сумерках, между едва потемневшим небом и

странно светящейся водой, откуда-то сверху, мягко ложась на воду, начинают литься точно полые, «стеклянные», «загробные» звуки. Это заиграли куранты на шпиле крепости, это они возвещают в двух молитвенных напевах, что наступила полночь... Играли куранты «Коль славен наш Господь» и сейчас же затем «Боже Царя Храни». Музыки этой хватало почти на весь переезд, так как темп был крайне замедленный, но различить, что именно слышишь, было трудно... Обе, столь знакомые мелодии, превращались в нечто новое и это тем более, что и тона колоколов не обладали вполне отчетливой верностью, а благодаря эху, звуки на своем пути догоняли друг друга, а то и сливались, образуя до слез печальные диссонансы.

Говорят, узников, заключенных в крепости, ежечасные эти переливы, длительное это капанье звуков в ночной тиши, доводило до отчаяния, до безумия. Возможно, что и так. Куранты звучали, как плач, а то и как медленно читаемый и тем более неумолимый приговор. Этот приговор носил сверхестественный и прямо-таки потусторонний характер уже потому, что произносила его высокая башня со своим длинным, длинным золотым шпилем, который в сгущающемся мраке продолжал светиться, точно вынутый из ножен и устремленный к небу меч. На самом конце этого меча, совсем под небом, сверкала золотая точка. На таком расстоянии невозможно было определить, что эта фигура изображает. При поворотах она меняла свой облик: то казалось, что это ангел снизился, чтобы передохнуть, на самое острие колокольни, а то, что это парус какого-то плывшего в поднебесье сказочного корабля...

Увы, весенние и летние недели протекали быстро и кончались белые ночи. Наглядно этот поворот от светлой поры к потемнению, (а дальше к зимней тьме и стуже), выражался тогда, когда на улицах Петербурга снова зажигали фонари, что происходило около 20-го июля (старого стиля). И сразу тогда чувствовалось, что скоро лету конец. Еще накануне я бродил в часы, близкие к полуночи, по серому, лишенному красок городу, а тут вдруг появлялся со своей лесенкой фонарщик и один за другим фонарики вспыхивали своими газовыми язычка-

ми. Фантасмагория исчезала, всё возвращалось к обыденности. Накануне даже городовые на углах казались в своих белых кителях какими-то бесплотными существами, а теперь весь порядок жизни, и заодно блюстители оного, — все восстанавливались в своей прозаичности. Да и расстояния как-то сокращались, улица съеживалась. Вчера даже собственное обиталище казалось каким-то привиденческим, я в него входил не без некоторой опаски и я не был бы удивлен, если бы из темных туманных углов парадной лестницы вдруг выступили бесплотные призраки, а теперь при свете зажженного газа ничего, кроме давно мне известного, меня уже не встречало. От всего этого становилось чуть скучно. Это возвращение к реальности ощущалось, как некоторая деградация.

К Петербургу я буду возвращаться в своих воспоминаниях по всякому поводу — как влюбленный к предмету своего обожания. Но здесь я хотел бы набросать еще несколько картин «моего» города, которые рисуют, так сказать, самую его «личность». Теперь, оглядываясь назад и лишенный всякой возможности туда вернуться, я любое изображение Петербурга представляю милым и любезным сердцу. Я трепещу, когда встречаю у букиниста, хотя бы самую банальную фотографию, изображающую и наименее любимый когда-то уголок Петербурга. К наименее любимому, например, относилась Благовещенская церковь с ее неудачной претензией на древнерусское зодчество, с ее золочеными пирамидальными главами, с ее гладкими стенами, выкрашенными в скучнейший бледно-коричневый цвет. Но теперь мне больно, что, как слышно, эту церковь снесли. Уже очень было мне привычно встречать ее на своем пути в гимназию и обратно, и сколько сотен раз я со своей невестой обходили ее вокруг, совершая бесконечные наши вечерние прогулки... В двух шагах от того же Благовещения жили мои друзья: Нувель, Дягилев, Философов. Да и сам я со своей семьей впоследствии, в течение семи лет, жил в том же околотке — на Адмиралтейском канале.

В своем месте и в связи с тем культом Чайковского и в частности «Пиковой дамы», которому я предавался в начале 1890-х годов, я еще коснусь разных петербург-

ских настроений. Мне придется рассказать о Летнем саде, о ранней петербургской грозе, о Зимней Канавке, обо всем том, что тогда, благодаря музыке, стало еще сильнее «хватать за душу». Но вот музыку «Пиковой дамы» с ее чудодейственным «вызыванием теней» я как бы предчувствовал еще с самых детских лет, а когда она появилась, то я принял ее за нечто издавна жданное. Вообще во всем Петербурге царит изумительно глубокая и чудесная музыкальность. Пожалуй это идет от воды (по количеству рек и каналов Петербург может соперничать с Венецией и с Амстердамом), и музыкальность эта как бы заключается в самой влажности атмосферы. Однако, что там доискиваться и выяснять. У Петербурга, у этого города, охаянного его обитателями и всей Россией, у этого «казарменного», «безличного», «ничего в себе национального» не имеющего города, *есть* своя душа, а ведь душа по-настоящему только и может проявляться и общаться с другими душами посредством музыки.

Остановлюсь здесь на тех петербургских пейзажах, которые были ближе к нашему дому, некоторые из них я мог даже изучать, не покидая родительской квартиры, в дни, когда болезнь приковывала меня к дому.

Каждая из диковин нашего околотка значила для меня очень много, но надо всем господствовала сверкающая золотыми куполами Никольская церковь. Она была одним из самых роскошных и самых внушительных среди петербургских храмов. В раннем детстве, однако, мое отношение к ней было какое-то смешанное, складывалось оно из любования, почитания и из жути. Я не мог отделаться от впечатления, что вся эта группа из пяти вышек составляла какую-то семью богатырей, чела коих были украшены шлемами, и что старший из них, стоявший в середине, и есть «Сам Боженька», что на его лице написано скорбно-строгое выражение. Когда я себя чувствовал в чем-либо виноватым, то именно этот Боженька, казалось, глядел на меня с особой укоризной, а то и с гневом. Нижняя часть Николы Морского была несравненно приветливее. В многоугольном плане его стен, в кудрявых капителях, в бесчисленных херувимах, которые барахтаются в пухлых облаках над окнами и дверями,

в узорчатых, частью позолоченных балконах, в лепном сиянии, окружающем среднее овальное окно — выражено нечто радостное, всё приглашает не столько к посту и покаянию, сколько к хвале Господа, к празднованию Его великих благодеяний. Я не уставал все эти подробности разглядывать и, вероятно, от этого «интимного» знакомства с чудесным произведением XVIII века родилось мое восторженное отношение к искусству барокко. Очень уважал этот шедевр и мой папа, от которого я и узнал замысловатое, но хорошо усвоенное имя строителя Никольского собора — Саввы Чевакинского. Благодаря примеру моего же отца, который, будучи ревностным католиком, всё же относился с величайшим благоговением и к православному вероисповеданию, я мог относиться к Николе Морскому, как к нашей церкви — и это тем более, что папа носил то же имя, как и великий Святитель, именем которого наречен собор и что Храмовой Праздник Николы, 6-го декабря, совпадал с празднованием папиных именин. Самый адрес нашего обиталища тогда, когда еще действовал старомодный обычай давать адреса в несколько описательной форме — звучал так: «Дом Бенуа, что у Николы Морского».

Однако церковь церковью, а светские соблазны соблазнами, и как раз два соблазнительнейших места находились тут же по соседству, всего в нескольких шагах от нашего дома. То были театры — два главных театра государства Российского: Большой и Мариинский. И к обоим-то семья наша имела весьма близкое отношение. Большой театр, когда-то построенный Томоном, но сгоревший в 1836 г., был восстановлен «папой моей мамы», а второй и целиком построен тем же моим дедом в сотрудничестве с моим отцом[2]. Кстати, внутри Мариинского театра имелось убедительное доказательство его семейной к нам близости. В одном из писаных медальо-

[2] Про Мариинский театр можно даже сказать, что он был дважды построен моим дедом Альбертом Кавос. Сначала в 1840-х годах был на этом месте сооружен Императорский театр-цирк, а когда это здание в 1850-х годах сгорело, то на старой основе был построен Мариинский театр. При этой вторичной постройке работами заведовал мой отец, так как дед был тяжело болен. Возможно, что именно ему принадлежит очаровательное убранство зрительного зала.

нов, которые были вставлены в своды фойе, вырисовывался профиль носатого господина с баками и в очень высоких воротничках — и это был мой прадедушка, когда-то знаменитый композитор Катарино Кавос.

В смысле внешней архитектуры я предпочитал Большой театр Мариинскому. Уж очень внушителен был его портик с толстенными ионическими колоннами, под который подъезжали кареты, высаживавшие публику у дверей в театр. Остальная грандиозная масса этого здания представлялась мне каким-то вместилищем таинственных чудес. Характеру чудесного способствовал ряд круглых окон, тянувшихся во всю длину крыши и даже та уродливая толстая несуразная железная труба с капюшоном поверх, которая как-то асиметрично сбоку возвышалась над зданием, обслуживая нужды вентиляции. У Мариинского театра вид был более скромный и менее внушительный, однако до того момента, когда его изуродовали посредством пристроек и надстроек и он являл изящное и благородное целое. Система его плоских арок и пилястров и выдающийся над ними полукруг, соответствующий круглоте зрительного зала, производили на меня впечатление чего-то «римского». Известной грандиозностью отличался театр со стороны Крюкова канала, в который упиралась его задняя стена. Отражаясь в летние сумерки в водах канала, силуэт его положительно напоминал какое-либо античное сооружение.

К ближайшему окружению нашего дома принадлежали еще два характерных для Петербурга здания — Литовский рынок и Литовский замок, находившиеся оба как раз непосредственно за Мариинским театром[3]. Архитектурной красоты оба здания, обслуживавшие самые прозаические нужды, не были лишены. Рынок, построенный в конце XVIII века, представлял собою обширное целое, выходившее на четыре улицы одинаковыми фасадами, состоящими из массивных арок и ниш с этажом полукруглых окон над ними, а тюрьма, перестроенная на ампирный фасон из сооруженного при Екатерине «турецкого» семибашенного замка, (также выходившего на

[3] Ничего специфически литовского ни в том, ни в другом здании не было и, признаюсь, я теперь забыл по какой причине они это прозвище получили.

четыре улицы), состояла из гладких голых стен, соединенных кургузыми необычайной толщины круглыми башнями. Окон в этом здании было до странности мало, а те окна, что были расположены по верхнему этажу башен, были круглой формы, что и давало впечатление каких-то выпученных в разные стороны глаз. Центральный фасад был украшен фронтоном в «греческом вкусе» со статуями двух держащих крест ангелов посреди. Это мрачное (несмотря на свою белую окраску) здание принадлежало к лучшему, что было построено в классическом стиле в Петербурге, а на меня, ребенка, Литовский замок производил одновременно как устрашающее, так и притягивающее впечатление. Ведь за этими стенами, за этими черными окнами с их железными решетками, я рисовал себе самых жутких разбойников, убийц и грабителей и я знал, что из этой тюрьмы выезжали те «позорные колесницы», которые я видел медленно следующими мимо наших окон, с восседающими на них, связанными преступниками. Несчастных везли на Семеновский плац для выслушивания приговора ошельмования. Спешу добавить, что таких колесниц я видел не более трех, да и видел я их в возрасте четырех или пяти лет. Позже этот обычай был отменен.

Раз я вспомнил про то, что можно было видеть из окон нашей квартиры, то тут же я расскажу и про другие такие «уличные спектакли». Зрителем их я мог быть, оставаясь на весьма близком расстоянии от самого «зрелища» — ведь жили мы в бель-этаже, («о премье» — по французскому счету). Совершенно другого характера, нежели тот ужас, который меня охватывал при только что помянутом проезде «позорных колесниц», было чувство, которое я испытывал, когда мимо наших окон шествовала погребальная процессия, что происходило чуть ли не каждый день и даже по нескольку раз в день, так как через Никольскую улицу лежал путь к расположенным по окраинам города кладбищам Волкову и Митрофаньевскому. Всякие похороны оказывали на меня какое-то странное действие, но одни были только «жутковатыми» — это в особенности, когда простолюдины-староверы несли своего покойника на плечах в открытом гробу, а другие похороны в своей строгой церемониаль-

ности производили впечатление возвышающее. Чем важнее был умерший, тем зрелище было торжественнее.

Мало-мальски заслуженный, знатный или зажиточный человек мог в те времена «рассчитывать» на проводы до могилы с большой парадностью. Православные отправлялись на последнее местопребывание на дрогах под балдахином из золотой парчи со страусовыми перьями по углам и золотой короной посреди. Парчевый покров почти скрывал самый гроб. Дроги же лютеран и католиков были также с балдахином но они были черные и вообще «более европейского вида». И тех и других везли ступавшие медленной поступью лошади в черных до земли попонах, а на боках попон красовались большие пестро раскрашенные гербы. Эта последняя особенность была уже вырождавшейся традицией и от такой наемной геральдики вовсе не требовалось, чтобы она точно соответствовала фамильному гербу умершего. Их просто давал напрокат гробовщик и можно было выбирать по своему вкусу гербы поэффектнее и попараднее. Даже купца побогаче, хотя бы он вовсе к дворянству не принадлежал, везли лошади в попонах с такими гербами.

В особенно важных случаях погребальное шествие приобретало род скорбного празднества. В столице жило не мало особ высокого ранга, не мало генералов, адмиралов, тайных и действительных статских советников и на каждого сановника «сыпались царские милости» — в виде орденов, золотого оружия, медалей и других знаков отличия. Эти-то знаки при похоронах полагалось нести на бархатных, украшенных галунами подушках. Старшие мои братья относились к этому ритуалу с некоторой иронией, но на ребенка дефиле орденов производило глубокое впечатление. Кто-нибудь из больших тут же называл ордена: вот Георгий, вот Анна, вот Владимир, а вот и «сам» — Андрей Первозванный.

Напротив, цветов в те времена не было принято нести и лишь два-три веночка с лентами лежали рядом с каской или треуголкой покойного на крышке гроба. Печальная торжественность шествия подчеркивалась тем, что всю вереницу носителей орденов, шествующее пешком духовенство и самую колесницу окаймляли с двух сторон — одетые во всё черное господа в цилиндрах с

развевающимся флером, несшие среди дня зажженные фонари. Эти «факельщики» на богатых похоронах были прилично одеты и шли чинно, строго соблюдая между собой расстояние, если же покойник был попроще (лошадей всего пара, да и дроги без балдахина), то в виде факельщиков плелись грязные оборванцы с лоскутами дрянного крепа на продавленных шляпах, и шли они кое-как, враскачку, так как они успевали еще до начала похода «выпить лишнего».

Военного провожал шедший за гробом отряд полка, к которому он принадлежал, а если это был человек высоких военных чинов, то сопровождало его и несколько разных отрядов, не исключая конницы и громыхающей артиллерии. О, до чего мне раздирали душу те траурные марши, которые при этом играли на ходу военные оркестры, инструменты которых были завернуты в черный флер. Бывало я еще издали услышу глухое громыхание барабанов, визг флейт и мычание труб и с ужасом бегу к себе в детскую, где зарываюсь в подушки, только бы не слышать этих звуков. Но любопытство брало верх, я прокрадывался обратно к окну и столбенел в каком-то «трагическом восторге» — глядя как мимо окон проплывает вся процессия, заключением коей были бесчисленные кареты, ряд которых подчас вытягивался на добрую четверть версты.

Полным контрастом этим «триумфам смерти» были военные триумфы — проходы войск под нашими окнами. Так как путь от казарм Измайловского и Семеновского полков, а также морского Гвардейского Экипажа к центру города лежал через нашу Никольскую и далее через Морскую, то этих солдат мы видали каждый день, то большими, то маленькими отрядами и уж обязательно проходил туда и обратно караул Зимнего дворца от одного или от другого из названных полков. Кроме того через нашу же улицу выступала весной значительная часть петербургского гарнизона, уходившая в лагери под Красным Селом. Тут я мог вдоволь наглядеться всяких отборных и очень эффектных форм. Наконец, к Майскому параду являлись в Петербург и Гатчинские кирасиры, и казаки, и все-то они, на чудесных лошадях, шли шагом под звуки своих оркестров мимо наших окон. В мае до-

зволялось мне уже выйти на балкон, и тогда положительно казалось, что я сам участвую в этом чудесном празднике. Казалось, что стоит руку протянуть и уже дотронешься до расшитого полкового штандарта или сможешь погладить сияющие латы и шлемы, в зеркальной поверхности которых отражались дома и небо.

Надо сказать, что вид солдат в те времена был куда эффектнее позднейшего. Царствовал Государь Александр II, сын знаменитого фрунтовика Николая I-го, и хотя кое-что в обмундировке было при нем упрощено, однако всё же формы оставались роскошными — особенно в избранных гвардейских полках. Некоторые из пехотинцев сохраняли каски с ниспадающим густым белым султаном, у других были кепи, похожие на французские, также украшенные султаном. Грудь у большинства полков была покрыта красным сукном, что в сочетании с черноземеленым цветом мундира, с золотыми пуговицами и с белыми (летом) штанами, давало удивительно праздничное сочетание. Некоторые же привилегированные полки отличались особой декоративностью. До чего были эффектны белая или красная с золотом парадная форма гусар, золотые и серебряные латы кирасир, кавалергардов и конногвардейцев, высокие меховые шапки с болтавшимся на спине красным языком конногренадеров, молодцевато на бок одетые глянцевитые шапки улан и так далее.

Особенный восторг во мне вызывали оркестры — как те, что шествовали пешком, так особенно те, что, сидя на конях, играли свои знаменитые полковые марши (душу поднимавшие марши!). Великолепное зрелище представлял такой конный оркестр. Сколько тут было золота и серебра, как эффектны были расшитые золотом литавры, прилаженные по сторонам седла. А как величественно прекрасен был гигант тамбур-мажор, шествовавший перед полковым оркестром. Что только этот, весь обшитый галунами, человек не проделывал со своей, окрученной галуном с кистями, палкой. То он ее швырял и на ходу схватывал, то крутил на все лады.

Упомяну я заодно и о том апофеозе военного великолепия, которого свидетелем я бывал раза два или три в свои детские годы. Я говорю об упомянутых только что

майских парадах, происходивших на широком Царицыном Лугу, окаймленном садами, дворцами и, похожей на дворец, казармой Павловского полка. Из-под колоннады этой казармы я, в компании знакомой детворы, и наслаждался зрелищем. Место парадов называлось лугом, но «луга» никакого не было, а была очень просторная площадь, посыпанная песком. На этой площади и происходил царский парад. Начало мая редко бывает в Петербурге теплым днем и поэтому, будучи четырех или пятилетним мальчиком, я немилосердно мерз, несмотря на свое бархатное пальтишко, суконную шапочку и шерстяной шарф. Однако, сколько мама ни убеждала меня войти погреться в комнаты, я упорно оставался на своем месте, пожирая глазами происходившее передо мной. И как было не наслаждаться этим зрелищем, как можно было променять его на скучное сидение среди дам (еще не дай Бог они стали бы тискать и целовать). Тысячи и тысячи моих любимых солдатиков продвигались стройными рядами во всех направлениях, все в ногу и всё же без всякого видимого усилия, с удивительной быстротой повинуясь одним только выкрикам офицеров. Восторг, сопряженный с некоторой тревогой, возбуждал во мне проезд грохочущей артиллерии, но букетом всего спектакля являлась джигитовка кавказских воинов: черкесов, лезгинов, хефсуров. Иные из них в те времена были еще одеты точь-в-точь, как средневековые рыцари — в серебряные кольчуги и в панцыри, а на головах у них были высокие серебряные шлемы. Джигиты неслись во весь опор, некоторые стоя на седле, стреляли вперед и назад, а подъезжая к палатке с особами Императорской фамилии, они соскальзывали под брюхо своих коней и с небывалой ловкостью схватывали брошенные им царицей или великими княгинями платки.

С особым восторгом относился я и к проходу того полка, у которого мы были в гостях — павловцев. На головах у этих рослых парней были высокие медные кивера с красной спинкой, а мундиры их сверкали золотом, но самое замечательное было то, что все они были на подбор курносые — как того требовала традиция, восходившая еще ко временам державного учредителя этого полка, Павла I, отличавшегося, как известно,

вздернутым до уродства носом. В жизни курносые люди мне только представлялись смешными, но в таком подборе они представлялись замечательно интересными. Вернувшись домой, я подходил к зеркалу, приподнимал пальцем свой нос кверху и радовался тому, что и сам становился похожим на павловца.

Вспоминая эти Марсовы потехи — как становится понятной муштровально-мундирная мания, коей были одержимы едва ли не все государи прошлого, но которая особенно «ставится в вину» пруссакам Фридриху, Вильгельму I и Фридриху II, а также нашим царям: Петру III, Павлу, Александру I и Николаю I. Однако, хоть и кажется это смешно и хоть много бывало под этим мучительства, однако насколько же тогдашние царские забавы в общем были менее жестоки и чудовищны, нежели всё то дьявольское усовершенствование военного дела, до которого теперь дошло человечество — и в самых демократических странах.

Глава 2

ОКРЕСТНОСТИ ПЕТЕРБУРГА

Петергоф и Ораниенбаум

В мой культ родного города были включены и его окрестности. Но одни я узнал на самой заре жизни, другие лишь впоследствии. К первым относятся Петергоф, Ораниенбаум и Павловск, ко вторым — Царское Село, Гатчина и прилегающая к Петербургу часть Финляндии.

Наиболее нежное и глубокое чувство я питаю к Петергофу. Быть может, известную роль тут сыграло то, что я с Петергофом познакомился в первое же лето своего существования, ибо мои родители в те годы всегда уезжали на дачу в Петергоф, переехали они туда и в 1870 году, еще когда мне минуло не более месяца. В Петергофе же в следующие годы я стал впервые «осознавать» окружающее, да и в дальнейшем Петергоф не переставал быть «родным» местом для всей семьи Бенуа. В нем всегда проводили лето мои братья, в Петергофе начался мой «роман жизни», в Петергофе же живали не раз и я с собственной своей семьей. Но есть и вообще в Петергофе что-то, настолько чарующее, милое, поэтичное и сладко меланхоличное, что почти все, кто знакомятся с ним, подпадают под его чары.

Петергоф принято сравнивать с Версалем — «Петергоф русский Версаль», «Петр пожелал у себя устроить подобие Версаля» — эти фразы слышишь постоянно. Но если, действительно, Петр был в 1717 году поражен резиденцией французского короля, если в память этого он и назвал один из павильонов в Петергофе Марли, если и другое петергофское название Монплезир можно принять за свидетельство его «французских симпатий»,

если встречаем как раз в Петергофе имена трех художников, выписанных царем из Франции — (архитектора Леблона, живописца Пильмана и скульптора Пино), то всё же в целом Петергоф никак не напоминает Францию и тем менее Версаль. То, что служит главным художественным украшением Петергофа — фонтаны, отражает общее всей Европы увлечение садовыми затеями, однако ни в своем расположении, ни в самом своем характере эти водяные потехи не похожи на Версальские. Скорее в них чувствуются влияния немецкие, итальянские, скандинавские, но и эти влияния сильно переработаны, согласно личному вкусу Петра и других русских царей, уделявших не мало внимания Петергофу. В Петергофе всё несколько грубее, примитивнее, менее проработано, менее сознательно продумано в художественном смысле. Многое отражает и некоторую скудость средств и, несмотря на такую скудость, — желание блеснуть и поразить, что греха таить — Петергоф «провинциален». Наконец и природа, несмотря на все старания (особенно самого Петра), победить суровость петербургского климата или создать хотя бы иллюзию, будто эта победа удалась, — природа осталась здесь несколько худосочной, почти чахлой. Временами непосредственная близость к морю делает и то, что существование в Петергофе становится мучительным. Дожди, туманы, пронизывающая сырость — всё это характерные явления для всей петербургской округи, но в Петергофе они сказываются с особенной силой, действуя разлагающим образом на петергофские постройки, подтачивая камень, заставляя позолоту темнеть, периодически разрушая и искажая пристани, дамбы, обрамления водоемов и набережные каналов. Это одно лишает Петергоф той «отчетливости в отделке», какой могут похваляться знаменитые западно-европейские резиденции.

И всё же Петергоф «сказочное место». Посетивший меня летом 1900 г. Райнер Мария Рильке, стоя на мосту, перерезающем канал, ведущий от дворца и главных фонтанов к морю, воскликнул перед внезапно открывшимся видом: «Das ist ja das Schloss der Winterkönigin!»[1]. И при

[1] «Это замок королевы Зимы!»

этом от восторга на глазах поэта даже выступили слезы. И действительно, в тот ясный летний вечер всё казалось каким-то ирреальным, точно на миг приснившимся, готовым тут же растаять сновидением. Серебряные крыши дворца, едва отличавшиеся от бледного неба; мерцание золотой короны на среднем корпусе, блеклый отблеск в окнах угасавшей зари, ниже струи не перестававших бить фонтанов, с гигантским водяным столбом «Самсона» посреди, а еще ближе, по берегам канала, два ряда водометов, белевших среди черной хвои — всё это вместе создавало картину полную сказочной красоты и щемящей меланхолии. Прибавьте к этому плеск и журчание воды, насторожившееся спокойствие могучих елей, запахи листвы, цветов.

Этот вид с моста — классический Петергоф, это тот вид, который отмечается крестиком в путеводителях. Однако, к нему скорее можно привыкнуть, нежели ко всем тем более интимным или менее знаменитым красотам, которые открываются в Петергофе на каждом шагу. Так, меня с самого раннего детства особенно волновали два купольных здания, стоявшие на концах большого дворца, один одноглавый, носивший название «Корпус под гербом», другой, служивший церковью и сверкавший своими пятью куполами, роскошно убранными густо позолоченными орнаментами. Перед первым на разводной площадке я не раз видел смотры войск и тогда казалось, что как-то особенно гордо парит в небе, расправляя и вздымая свои крылья, гигантский золотой геральдический орел, венчающий купол этого павильона. Что же касается до Придворной церкви, то нигде, даже перед нашим роскошным Никольским собором, церковные процессии не казались мне более умилительными, нежели там, когда в солнечное июньское утро крестный ход выходил из церкви, спускаясь по наружной лестнице в сад, где на одном из ближайших бассейнов строился помост — «Иордань» для водосвятия. Как чудесно отражались в воде ликующее ясное небо и золотые купола, какими праздничными представлялись священнослужители в роскошных ризах, несшие хоругви ливрейные лакеи и случайно подошедшая посторонняя публика — особенно дамы в своих светлых платьях. Это были ско-

рее интимные церемонии; двор еще не переезжал на летнее пребывание. Из особенно важных особ на них никто не присутствовал, потому и народу было не так уже много и можно было, пробравшись к самому краю бассейна, любоваться всем вдоволь.

Но сколько еще очаровательного было в Петергофе. Не отдавая себе в чем-либо отчета, я уже ребенком всё это впитывал в себя, гуляя за ручку с папой или сидя в коляске, сопровождая своих родных на «музыку». Постоянно возвращаясь к тем же местам в разные эпохи моей жизни, я часто находил то, что некогда мне представлялось грандиозным и роскошным, съежившимся, измельчавшим и «обедневшим». Но и тогда душа всех этих мест заговаривала с моей душой — и не только потому это происходило, что вспоминались трогательные подробности, детские игры или первые воздыхания любви, а потому, что самому Петергофу действительно свойственна особенная и единственная пленительность. В самом петергофском воздухе есть нечто нежное и печальное, в этой атмосфере всё кажется легким и ласковым. В Петергофе образ двух русских государей, стяжавших себе славу неумолимой строгости, получает иной оттенок. Фигуры Петра Великого и Николая I приобретают, в окружении петергофской атмосферы, оттенок «милой уютности». Один превращается в голландского, средней руки, помещика, радушного хозяина, любителя цветов, картин, статуй и всяких курьезов. Другой рисуется романтичным мечтателем, увлеченным мыслями о далеком рыцарском средневековье или о менее далекой эпохе грациозно-шаловливого рококо.

Я не стану здесь более подробно описывать Петергоф, ибо в дальнейшем я неоднократно буду возвращаться к нему. Здесь скажу только еще, что как раз в Петергофе имеется ряд строений, созданных моим отцом, и эти постройки служат к немалому его украшению: грандиозные, имеющие вид целого города, придворные конюшни, два элегантных, связанных мостиком дворца для придворных дам, — составляющие гармоничное и роскошное продолжение большого Петергофского дворца, наконец, — первое, что видишь, прибывая в Петергоф — вокзал «Нового» Петергофа с его готическими залами

и своей узорчатой башней. Факт, что все эти здания были произведениями папы, что, кроме того, он в годы моего раннего детства имел по службе какое-то касательство вообще ко всем Петергофским постройкам, объезжал их, давал распоряжения относительно их ремонта, что всюду его встречали как «любимого начальника», что многие придворные служащие были обязаны ему своим местом — это всё способствовало тому, что я Петергоф мог считать своим родным местом. И к этому необходимо прибавить, что мой отец помнил Петергоф еще в годы, когда Россией правил Александр I, когда на «Петергофский праздник» (в честь вдовствующей Императрицы Марии Феодоровны) съезжалось пол-Петербурга. Наконец, многие члены нашей семьи родились в Петергофе, а два моих дяди и три моих брата всегда в нем проводили свой летний отдых. Пожалуй, сам царь не обладал таким ощущением собственности в отношении Петергофа, каким обладал я. Для меня Петергоф был одним громадным поместьем во всех своих частях абсолютно для меня доступным и близким. Не входила только в эту мою усадьбу интимная резиденция Императорской фамилии, огороженная со всех сторон — Александрия. Туда я в детстве не был вхож, и тем более казалось соблазнительной жизнь за этой нескончаемой высокой глухой стеной, выкрашенной в «казенные», желтую и белую краски. За ней и за воротами в ней, охраняемыми пешими часовыми и казаками на конях, жили царь с царицей и царские дети.

От Петергофа до Ораниенбаума всего десять километров, и соединяет оба города широкое шоссе, идущее параллельно берегу Финского залива. Теперь с этой дороги уже почти нигде не видно моря, так как весь берег застроился дачами, во времена же моего детства в тех местах, где море не заслоняли парки принца Ольденбургского, собственной его величества дачи, герцога Лейхтенбергского и графа Мордвинова, там оно открывалось во всю ширь, а на горизонте, с приближением к Ораниенбауму, всё яснее и яснее вырисовывался Кронштадт с его

крепостями и кораблями. Берег этих открытых мест оставался диким; среди поросших скудной травой песков стояли одни жалкие рыбацкие хижины или же высились одинокие крепкостволые сосны, расправлявшие во все стороны свои могучие ветви.

В самый Ораниенбаум, городок убогий и глухо провинциальный, въезжали через «триумфальные» классического стиля ворота, затем тянулась улица с очень невзрачными домами, но дальше то же шоссе перерезало сад Ораниенбаумского дворца — как раз у того моста, откуда начинается канал, ведущий среди пустынных земель и болот, к морю. Тут Кронштадт виден был совершенно отчетливо, ибо расстояния до него всего шесть километров.

В Ораниенбауме никто из наших родных в моем детстве не живал, но это не препятствовало тому, что у меня сложилось к нему какое-то «родственное» чувство и что он оказывал на меня большую притягательную силу. Вероятно, поэтому первое же лето нашей самостоятельной жизни мы с женой пожелали провести именно под Ораниенбаумом, да и впоследствии мы два раза жили в самом этом чарующем месте.

В детстве меня ожидали разные специальные приманки в Ораниенбауме. Почему-то там я получал шишки с превкусными орешками, похожими на те итальянские пиньоли, которые у нас ставились на стол на больших обедах, там же откуда-то доставались крошечные райские или китайские яблочки, которые не отличались большой сладостью, но которыми я всё же объедался, веря, что они действительно — из Рая. Более же всего меня пленил самый дворец, широкой дугой раскинувшийся на холме с двумя грузными павильонами на концах. Этот дворец был сооружен еще в царствование Петра Великого, но не самим царем, а его «выведенным из грязи в князи» любимцем Меньшиковым, герцогом Ингерманландским. Большущая герцогская корона, положенная на алую подушку, и венчала бельведер среднего корпуса дворца. Эта корона, годная по своим размерам разве только для какого-нибудь сказочного великана, производила на мое детское воображение огромное впечатление. Но еще большее и доходящее до ужаса впечатление

производили на меня помянутые пузатые павильоны (один из них называется Японским, другой служил придворной церковью), с выкрашенными одинаково в зеленую краску широко расплывшимися куполами, заканчивающимися причудливыми «фонарями». Когда на повороте дороги один из этих куполов выныряд из масс деревьев, то, Бог знает почему, мною овладевал род паники и я даже старался не глядеть в эту сторону.

Другие достопримечательности Ораниенбаума меня в детстве не касались, зато трепет мой усиливался, когда, миновав дворец, мы выезжали в густые еловые леса, расположенные на много верст вокруг Ораниенбаума и пребывавшие тогда в совершенной дикости. О, как дивно в них пахло, особенно под вечер, нагревшейся за день хвоей. Какая поэзия леса была в них «отчетливо выражена». Обыкновенно среди леса коляски нашего пикника останавливались, седоки разбредались по рыхлым мхам в поисках грибов или черники, а прислуга располагала под деревьями скатерти, самовар, посуду и закуски. Но я боялся углубляться в неведомую чащу, благоразумнее было оставаться около мамы; мне казалось, что стоило бы мне удалиться на двадцать шагов, как меня схватил бы притаившийся за деревом волк или я увидал бы вдали медведя. Несколько раз даже казалось, что я и впрямь вижу чернобурого Мишку, тогда как то были только поднятые корни поваленных ветром деревьев. Вблизи такая поднявшаяся на сажень или на две обросшая мхом корчага казалась разинутой пастью, зловещая чернота зияла под ней и, как змеи, свисали тонкие отростки. Зато какое милое безмятежное наслаждение доставляло мне собирание (точнее съедание на месте) ягод, мириадами красневших, черневших и синевших всюду под ногами. Их было так много, что, не двигаясь с места, можно было наесться до отвала, стоило только нагибаться и класть ягоду за ягодой в рот, а мне в то время и нагибаться-то особенно не приходилось. Дивное удовольствие я испытывал, запихав за щеку штук десять, пятнадцать разных душистых ягод замляники, черники и голубицы и устраивая у себя во рту из них превкусную кашку — маседуан.

Глава 3

ЦАРСКОЕ СЕЛО И ПАВЛОВСК

Продолжая вспоминать об окрестностях Петербурга, я еще должен упомянуть о Павловске и о Царском. С Павловском я познакомился, когда мне было пять лет и когда я уже хорошо знал Петергоф и Ораниенбаум, с Царским же я познакомился гораздо позже, когда мне был уже двадцать один год. Последнее может показаться странным, ибо Царское Село как раз то место, которое пользуется наибольшей известностью за границей — известностью почти равной той, которой пользуется Версаль или Потсдам. Но случилось это потому, что мои родители в Царском не живали и что папа там ничего не строил. Раза три, впрочем, меня возили в Царское Село к нашим родственникам Шульманам и Лилле, но эти поездки совершались зимой, в темноту и у меня не сохранилось о них иных воспоминаний, кроме каких-то темных вокзалов и вагонов. Помню и о той скуке, которую я испытывал, находясь «в гостях» в «чужом доме». Известное понятие, но, правда, совершенно фантастическое, о Царском я всё же и в детские годы имел. Оно сложилось у меня от разглядывания трех гравюр, входивших в состав «альбома Махаева» и от одного из занавесей Большого Театра. Особенно мне импонировал сложенный и раскладывавшийся во все стороны громадный лист в Махаевском увраже, изображавший фасад дворца со стороны Циркумференции с проезжающей «линеей» императрицы, запряженной в двадцать лошадей цугом. И этим же фасадом я мог любоваться на помянутом занавесе, служившим для антрактов. Здесь дворец во всю свою ширь был виден через арки (никогда не существовавшего) перистиля, в нишах которого в

вычурных позах стояли мифологические персонажи. Самый же дворец был изображен блистающим позолотой, как оно и было в действительности в первые годы его существования. Занавес этот принадлежал кисти знаменитого декоратора Роллера и был в своем роде шедевром.

Что же касается Павловска, то я не могу причислить его к наиболее любимым в детстве местам. Позже я оценил всю его грустную поэзию, его зеленую, напитанную сыростью листву, его благородные классические дворцы, киоски, надгробия, мавзолеи, храм Дружбы и храм Аполлона. В детстве же вся эта поэзия, типичная для позднего XVIII века, наводила на меня уныние... Однако, несколько уголков пленили меня и тогда, а именно знаменитый Павильон роз и не менее знаменитая Сетка.

Скажу еще два слова о Павловских настроениях. Будучи маленьким мальчиком я, разумеется, не давал себе в них отчета, но ощущал я их всё же в чрезвычайной степени. В Павловске всюду живет настроение чего-то насторожившегося и завороженного. Именно в Павловске легче всего испытать «панический» страх. Не даром именно в Павловске, в крутые годы царствования императора Павла, дважды произошли так и оставшиеся необъяснимыми военные «тревоги», заставившие все части войск, стоявших тогда в Павловске, без форменного приказа, в самом спешном порядке, стянуться к дворцу — точно там неминуемо должно было произойти нечто грозное и роковое. Не даром же и Достоевский в качестве сценария самых напряженных мест «Идиота» выбрал именно Павловск.

Это мрачное настроение, чему особенно способствует преобладание в парке черных и густых елей, царит в Павловске рядом с чем-то уютным и приветливым, и это соединение как-то по-особенному манит и пугает, куда бы ни направить свои шаги. В сумерки подчас такие смешанные чувства достигают чего-то невыносимого, если окажешься в эту пору где-нибудь в темных аллеях Сильвии с ее темными бронзовыми статуями, изображающими гибнущих от стрел Аполлона Ниобид, или перед сумрачным фронтоном мавзолея Павла или в запу-

щенных просеках вокруг Круглого зала. И что же, даже в детстве, именно эта пугавшая меня мрачность оказывала в то же время притягательное действие, а впоследствии и говорить нечего, именно эта кошмарная жуть, этот сказочный ужас особенно манили и пленили меня. Манила меня и Крепость — романтическая затея императора Павла, состоявшая из двух башен и дома, с перекинутым через ров подъемным мостиком, но больше всего меня в Павловске притягивал монумент Павлу I, что стоит перед дворцом и что изображает императора совсем таким, каким он был в жизни — с огромной треуголкой на голове, со вздернутым до карикатурности носом и в громадных ботфортах.

Глава 4

НАША СЕМЬЯ

Предки с отцовской стороны

Известно, что С.-Петербург, став в XVIII веке настоящей столицей, не пользовался симпатией остального Российского Государства. Что это было так в начале его существования, вполне понятно, ибо русским людям, привыкшим считаться с Москвой, как с сердцем России, было трудно поверить, что такое же и даже большее значение во всей их жизни получило какое-то новообразование, считавшееся сначала пустой, ничем необоснованной прихотью царя. Такое недоверие должно было особенно утвердиться в Москве, в этой первопрестольной, чувствовавшей горькую обиду за то, что ей, древней, священной и богатой воспоминаниями, предпочли какого-то временщика без роду и племени, к тому же обладающего отвратительным климатом и худосочной природой. Это презрение и прямо-таки ненависть продолжались и дальше. Ничего не противодействовало этим чувствам — ни величественная красота нового города, ни блеск его жизни (блеск, главным образом, сообщавшийся двором), ни расцвет культуры, — то, что именно в Петербурге величайшие русские художники слова, кисти и музыки имели свое пребывание, и даже вдохновлялись им. «Настоящему» русскому человеку всё в Петербурге претило и он продолжал в нем видеть чужестранца...

На самом же деле Петербург, несмотря на миссию, возложенную на него основателем, и на то направление, которое было дано им же его развитию, если и рос под руководством иностранных учителей, то всё же не изменял своему русскому происхождению. Это «окно в

Европу» находилось всё же в том же доме, в котором жило всё русское племя, и это окно этот дом освещало. С другой стороны, естественно, что в силу самого его назначения, в Петербурге жило не мало самых разнообразных иностранных элементов. Замечательно и то, что из очень многочисленных христианских храмов в Петербурге значительное число принадлежало иным вероисповеданиям, нежели православному, и в этих церквах служба и проповедь происходили на немецком, польском, финском, английском, голландском и французском языках. Паства этих церквей была исключительно иностранного происхождения, но в значительной своей части она ассимилировалась с русским бытом и пользовалась в своем собственном обиходе русским языком.

Нечто аналогичное уже знала Москва — в знаменитой Немецкой Слободе, которая постепенно образовалась из иностранцев, массами селившихся по приглашению Москвы, закосневшей в стародавних навыках и потому нуждавшейся в более передовых элементах. Но в Москве чужестранцы жили отдельным, отгороженным от всего, пригородом, куда русские люди почти не имели доступа и которые сами могли обходиться без того, чтобы прибегать к непосредственному постоянному общению с московским людом. Это было нечто, вроде тех концессий, которые существуют на Востоке или еще вроде гетто в еврейском средневековье. Такого обособленного города — при городе в Петербурге не было, а напротив, правительство Петра и его преемников всячески поощряло смешение своих подданных с пришлыми элементами, продолжавшими насаждать желанную (и необходимую) заграничную культуру. Если иностранцы в Петербурге и имели известную наклонность селиться группами по признаку одинакового происхождения, то это делалось свободно и из чисто личных побуждений. Вообще же иностранцы, частью вполне обрусевшие, жили в Петербурге (да и по всей России) в разброску и если можно говорить в отношении Петербурга о какой-то Немецкой Слободе, то только в очень условном и переносном смысле. Такая «слобода» существовала только «в идее», и это понятие не соответствовало чему-либо топографически-обособленному.

К составу такой идеальной Немецкой слободы принадлежала и наша семья. Несмотря на столетнее пребывание в Петербурге, несмотря на то, что наш быт был насквозь пропитан русскими влияниями, несмотря на русскую прислугу, семья Бенуа всё же не была вполне русской, и этому в значительной степени способствовало то, что наша религия не была православной и что большинство браков нашей семьи происходило с такими же потомками выходцев из разных мест, какими были мы. Чисто русские элементы стали постепенно проникать посредством браков в нашу семью лишь к концу XIX века и вот дети, рождавшиеся от этих браков, крещенные по православному обряду, постепенно теряли более явственные следы своего происхождения и, только по-иностранному звучавшая фамилия, выдавала в них то, что в их жилах еще течет известная доля французской, немецкой или итальянской крови.

Фамилия Бенуа — родом из Франции, из провинции Бри, из местечка Сент Уэн, находящегося где-то неподалеку от Парижа... Мы не можем похвастать благородством нашего происхождения. Самый древний из известных нам предков Николя-Дени Бенуа значится на родословной, составленной моим отцом, в качестве хлебопашца, — иначе говоря, крестьянина. Женат он был на Мари Леру, очевидно тоже крестьянке, но уже сын их — Николя Бенуа (1729-1813) успел значительно подняться по социальной лестнице. Этот мой прадед получил достаточное образование, чтобы самому открыть школу, в которой воспитывались и его собственные дети. С ним я уже как бы знаком лично. Пастельный портрет его, копированный моей теткой Жанет Робер с оригинала, оставшегося во Франции, изображает окривевшего на один глаз, очень почтенного и милого старичка. Его доверху застегнутый сюртук зеленоватого цвета выдает современника тех старцев, которые фигурировали на картинах Грёза; под рукой у него книжка с золотым обрезом. Чему учил, где и как, Николя Бенуа, я не знаю, но, вероятно, он был педагогом по призванию, так как иначе трудно было бы объяснить, почему он отказался от профессии дедов и избрал себе иной жизненный путь. Лицо на портрете прадеда мягкое, доброе и несколько

скорбное. Моральную же характеристику мы находим в тех стихах, которые были сочинены его сыном (моим дедом) и которые в рамке под стеклом красовались под помянутым портретом, висевшим в папином кабинете, стены которого были сплошь покрыты семейными сувенирами.

Привожу здесь этот акростих, так как он не только характерен для своей эпохи, но является до настоящего времени своего рода «скрижалью идеалов» нашей семьи вообще.

(Сохраняю орфографию подлинника).

A Nicolas Bénois[1]
né le 17 Juillet l'an 1729

Né de parents obscurs, mais honnêtes et sincères;
Il fut toujours bon Epoux et bon Père;
Content de son état, humble dans ses désirs,
On ne le vit jamais d'une ardeur imprudente:
Livrer aux projets vains son âme independante:
A rester Vertueux, il borna son plaisir:
Se rendre utile à tous fut son unique envie,
Bienfaisant sans orgueil, doux, charitable, humain
Et défendant toujours la Veuve et l'Orphelin
Ni l'or, ni les besoins ne troublèrent sa vie,
On est riche en tout terme lorsqu'on fait du bien,
Il sut dans ses bienfaits placer son opulence,
Son bonheur et le nôtre en sont la recompense.

Par son respectueux fils
Louis Bénois

---

[1] Николаю Бенуа
родившемуся 17-го июля 1729 года

Рожденный от людей незнатных, но честных и искренних,
Он всегда был хорошим супругом и отцом;
Довольный своим положением, скромный в своих желаниях,
Он никогда не отдавал свою душу во власть неосмотрительной горячности,
Никогда не увлекался неосуществимыми планами.
Желая сохранить добродетель, он ограничивал свои удовольствия:
Быть полезным всем — было его единственным желанием,
Добрый без гордости, мягкий, милосердный, человечный,
Он всегда защищал вдову и сироту.
Ни золото, ни потребности не смущали его жизни;
Человек поистине богат, когда он делает добро.
Он сумел стать богатым своими добрыми делами;
Его и наше счастье — стали наградой за это.

Написано его почтительным сыном *Луи Бенуа*

Любопытно, что в этом стихотворении фамилия Bénois не

Надо думать, что всё сказанное в этом стихотворении не пустой поздравительный комплимент, но настоящая правда. Такая же характеристика могла бы вполне подойти например и к моему отцу, родившемуся как раз в год смерти моего деда, да и вообще семья Бенуа отличается известной склонностью к домашним добродетелям при тяготении к скромности, к «тени», к достойному довольству своим положением. В отцовском собрании семейных портретов был один, изображавший дочь того же Николя Бенуа, сестру моего деда. Это был превосходный «кусок живописи», который можно было бы без натяжки приписать самому Давиду (видно, уже в те времена в семье Бенуа жили какие-то художественные вкусы и даже настоящий толк в живописи). Однако то, что эта моя grande tante Marie Madeleine (в замужестве Meut) изображена не в виде дамы, а в типичном крестьянском чепчике и с самой простецкой косынкой вокруг шеи, показывает, что у членов семьи Бенуа из Сент-Уэна тогда еще не обнаруживалось желание изменить своему происхождению «humble et obscure». Возможно, впрочем, и то, что в дни революции наши деды могли в такой намеренной скромности находить известную гарантию безопасности — тем более, что, судя по семейным преданиям, они отнюдь не разделяли массовых увлечений, а продолжали быть верными своим роялистским симпатиям, что, кстати сказать, вовсе не было редкостью во французском дореволюционном крестьянстве.

Мой отец во время своего путешествия во Францию (в 1846 г.) побывал в родной деревне, где он застал и самый дом семьи Бенуа. Он тогда же зарисовал его. На этой акварели мы видим каменное одноэтажное довольно большое здание с высокой черепичной крышей и с высо-

---

только написана с одним «s» на конце и с accent aigu на букве «e». Из этого можно заметить, что наша фамилия в XVIII веке выговаривалась не Beunoua, как теперь, а Bénoua, и подтверждением этому служит строчка акростиха, которая начинается со звука «et défendant toujours la veuve et l'orphelin». Такая орфография едва ли свидетельствует о грамотности наших предков, однако мы дорожим ею, так как она отличает нас от бесчисленных французских фамилий, звучание коих тождественно (или почти тождественно) с нашей, но которые пишутся: Benoit ou Benoist.

кими тяжелыми трубами. У этого дома было странное прозвище «l'Abbaye» и возможно, что он служил когда-то служебным помещением какого-либо соседнего аббатства, но едва ли мой прадед был повинен в покупке конфискованного у духовенства имущества — ведь глубокая религиозность была также одной из основных наших фамильных черт. По акварели отца трудно судить, были ли вокруг дома еще какие-либо угодья, но скорее всего, что это было так, что за домом был расположен плодовый сад и далее тянулись огороды и поля, принадлежащие Николя Дени. Нужно думать, что эти угодья возделывались хорошо, ибо что, как не земные плоды, дали возможность накопить тот достаток, который позволил его сыну бросить крестьянское дело, открыть школу и перейти в разряд буржуазии.

У прадеда было три сына и две дочери. Изображения одной из дочерей и всех трех сыновей дошли до нас. Старший сын Анн-Франсуа на превосходном портрете, висевшем в отцовском кабинете, подписанном Буало, имеет очень «благородный» вид. Глаза его ласковые, а на устах играет приветливая улыбка. Тот же Буало написал и его супругу — прелестную даму с «пикантными» чертами лица, в бархатном темнозеленом платье с большим вырезом, с прихотливой прической на голове и с газовой рюшкой вокруг шеи. Любопытно отметить, что на своем портрете моя тетка, носившая в девичестве фамилию Бодар и вышедшая замуж за брата моего деда[2] в Петербурге, имеет сходство с моей женой, что как будто указывает на известное «тождество семейных вкусов» на протяжении целого столетия. Чем в точности

---

[2] Потомки брата моего деда в настоящее время живут в Париже, но все они принадлежат к женской линии — и не носят фамилии Бенуа. Последний французский Бенуа скончался лет двадцать назад и этот Артур Бенуа был тоже архитектором. Второй сын моего прадеда, носивший имя Жан Франсуа и прозвище Кадо, был женат на своей кузине, но брак этот остался бездетным. В папиной коллекции был портрет этого моего гранд-онкль во вкусе Буальи, относившийся приблизительно к 1815 г. На нем «Кадо» имеет вид довольно полного, совершенно лысого господина. Взгляд и усмешка его выдают доброго и приятного человека. Мой дед позировал самому Буальи и этот писанный на фарфоре превосходный портрет, был приобретен у моей сестры Эрмитажем.

занимался Анн Франсуа, я не знаю, но, несомненно, это был человек со средствами. Косвенно на это указывает уже то, что его сын Луи, архитектор, мог взять себе в жены одну из богатых невест парижской буржуазии, — дочь знаменитейшего на всю Европу серебряных и золотых дел мастера Одио.

От младшего сына прадеда — моего родного деда (1772-1822), произошли все бесчисленные русские Бенуа, родился же мой дед за целый без двух лет век до моего рождения — в дни, когда во Франции еще царствовал Людовик XV. Воспитание этот Луи Жюль получил во Франции, но еще совершенно молодым человеком, чувствуя непреодолимое отвращение перед революционным беснованием, он покинул родину и в 1794 г. оказался в России, где уже временно находился один из его братьев. По дороге дед, как всякий другой эмигрант, выучился всевозможным художествам и рукомеслам, но видно его истинным призванием было кулинарное искусство, ибо через несколько лет после своего прибытия в столицу, мы уже застаем его при дворе Павла I в качестве царского мэтр д'отеля, а по кончине государя, он продолжал занимать до конца жизни эту должность при вдовствующей императрице Марии Федоровне. В Петербурге же дедушка женился (в самый год его прибытия) на фрейлен Гроппэ, происходившей от одной из тех многочисленных немецких семей, которые при всей скромности своего общественного положения, образовывали как бы самый фундамент типичной петербургской культуры. В качестве свадебного подарка Луи-Жюль поднес своей невесте собственный портрет, писанный волшебной кистью Ритта, а в ответ он получил от нее роскошную черепаховую с золотом табакерку с ее портретом, на котором она изображена в виде цветущей и очень миловидной девушки. Увы, ее красота и прелесть, после того, как бабушка подарила своему супругу семнадцать человек детей, (из которых одиннадцать остались в живых), исчезла к сорока годам бесследно. На портрете, писанном академиком Куртейлем около 1820 года, мы видим отяжелевшую матрону, с резко определившимися чертами лица, а еще через двадцать лет дагерротип и живописный портрет академика Горавского

рисуют нам вдову метр-д'отеля Екатерину Андреевну Бенуа старухой с одутловатым и скорбным лицом.

На портрете, писанном тем же Куртейлем в пару бабушкину, за год или за два до его кончины, дедушка выглядит важным и довольно строгим господином. Записка, которую он держит в правой руке, служит как будто намеком на его поэтические упражнения. У нас в архиве хранилась толстая тетрадь, включавшая опыт его автобиографии, полной довольно пикантных подробностей, относившихся к французскому периоду жизни деда, тогда как в Петербурге, под влиянием жены, он остепенился и вел жизнь образцового семьянина. То же благотворное влияние бабушки позволило, вероятно, Луи Бенуа стать зажиточным человеком, обладателем двух каменных домов, из которых один, усадебного типа (неподалеку от Смольного), он занимал с семьей целиком, а другой, на Никольской улице, он сдавал в наем.

Скончался дедушка от того повального недуга, который в 1822 г. косил сотнями и тысячами жителей Петербурга, и скончался он благодаря собственной неосторожности. Прослышав, что все подступы к Смоленскому кладбищу завалены гробами, он полюбопытствовал взглянуть на столь удивительное зрелище и отправился туда верхом вместе с мужем старшей дочери Огюстом Робер. Прибыв на место, им захотелось взглянуть действительно ли мертвецы, ставшие жертвами ужасной болезни, мгновенно после смерти чернеют (откуда и название «черной оспы»). Убедились ли они в этом или нет, я не знаю, но через день или два у обоих, и у тестя и у зятя, обнаружились признаки недуга, а еще через несколько дней оба они уже лежали рядышком в земле, но не на Смоленском кладбище, а на Волковом.

Вся семья дедушки изображена целиком на картине, писанной каким-то «другом дома», по фамилии, если я не ошибаюсь, Оливие. Это совершенно любительское произведение, над которым в былое время принято было у нас потешаться из-за его слишком явных погрешностей в рисунке, досталось по наследству мне. Но как раз любительский характер этой картины в последующие годы, (когда начался культ всякого примитивизма в искусстве, а строгие академические заветы стали постепенно за-

биваться) — возбуждал восторги всех моих гостей. Иные из них ничего другого на стенах не удостаивали внимания, кроме именно этого потрета «à la douanier Rousseau». Нельзя, однако, отрицать, что в этой картине так же, как и во многих подобных непосредственных и ребяческих произведениях, было действительно масса характерности.

На этой группе фигурирует между прочим и мой отец — пятилетний Коленька Бенуа. Он сидит улыбающийся и бравый позади братьев и сестер на комоде; на голове у него казацкая шапка, а в руке он держит знамя с двуглавым орлом. Видно, в те дни он был таким же милитаристом, каким я был в детстве, но впоследствии ни в нем, ни во мне ничего от этой воинственности не осталось. Укажу тут же, что один из братьев отца Михаил, (изображенный справа на портрете), готовился посвятить себя военной карьере и воспитывался в кадетском корпусе; дойдя по службе до чина полковника, он завершил свой жизненный путь воспитателем в Пажеском корпусе. Типичный вояка Николаевской эпохи этот дядя Мишель представлен на акварели Горавского, сидящим верхом на стуле с длинной трубкой в руке[3].

Овдовев неожиданно, бабушка оказалась в несколько затруднительном материальном положении и ей пришлось сократить весь образ жизни. Младшие ее дети были еще малютками и они требовали особенного ухода. К счастью, личное благоволение императрицы Марии Федоровны к бабушке выразилось в том, что ей была ассигнована значительная пенсия, а воспитание нескольких детей взято на казенный счет. В особо привилегированном положении оказался мой отец, бывший крестником царицы. Ввиду того, что он уже в детстве обнаруживал

---

[3] Двое из сыновей этого Мишеля Бенуа были также военными. Один был тяжело ранен в голову во время Русско-Турецкой войны 1878 года и так от этого ранения и не поправился; другой — генерал Александр Михайлович Бенуа, после революции, в 1920-х годах эмигрировал в Германию и жил на пособие от германского правительства в Вернигероде в Гарце, занимаясь продажей открыток, которые он сам оклеивал собранными им засушенными цветами. Вначале этой войны он был переведен в богадельню, которая была разрушена бомбой при налете. Он уцелел, но вскоре после этого скончался (в ноябре 1943 года).

влечение к искусству, его взяли из немецкого Петропавловского училища и определили на полный пансион в императорскую Академию художеств, что предопределило всю его дальнейшую судьбу. Прибавлю для характеристики самого дедушки и бабушки, что, по заключенному при их вступлении в брак договору, всё их мужское поколение принадлежало католической церкви, всё же женское — лютеранству (каковым было и вероисповедание самой бабушки). Эта религиозная разница нисколько не отразилась на сердечности отношений между братьями и сестрами, и скорее именно ей следует приписать ту исключительную широту взглядов, ту веротерпимость или, точнее, «вероуважение», которыми отличался мой отец, да и вообще все члены семьи Бенуа.

Глава 5

ПРЕДКИ С МАТЕРИНСКОЙ СТОРОНЫ

Мои предки с материнской стороны, пожалуй, более «декоративны», нежели предки с отцовской. Они принадлежали, если не к венецианской знати, то к зажиточной буржуазии Венеции. В XVII веке какой-то Кавос — бывший, если я не ошибаюсь, каноником одной из главных церквей Венеции, сделал щедрый дар библиотеке Сан-Марко, а мой прапрадед Джованни Кавос состоял директором театра Фениче. Сын его Катарино был необыкновенно одарен в музыке. Двенадцатилетним мальчиком он написал кантату в честь посетившего Венецию императора Леопольда II, а четырнадцати он сочинил для театра в Падуе балет «Сильфида». Концерты, которые он давал в Скуоле Сан-Марко, (что близ церкви Сан Джованни в Паоло), и в соборе Св. Марка, пост органиста в котором он получил по конкурсу, привлекали толпы венецианских меломанов. Однако, после падения Республики, Катарино, как и многие его сородичи, предпочел отправиться искать счастья в чужие края и после короткого пребывания в Германии, он оказался в Петербурге, где талант Катарино Кавоса был вполне оценен и где он вскоре поступил на службу в Императорские театры. Мой прадед, состоявший «директором Музыки» в Петербурге, написал множество опер, балетов и симфонических сочинений, часть которых сохранилась в архивах дирекции Императорских театров. В истории русской музыки Кавос заслуживает особенно почетного места, как непосредственный предшественник Глинки. Свидетельством его благородного бескорыстия является то, что, ознакомившись с партитурой своего младшего собрата на тот самый сюжет, на который он сам уже

сочинил оперу «Иван Сусанин», прадед признал преимущество этой «Жизни за Царя» и, по собственному почину, снял с репертуара свое произведение, дав таким образом дорогу своему молодому и опасному сопернику. К сожалению, о характере музыки моего прадеда я могу судить лишь по его романсам, исполненным нежной мелодичности и по тем «куплетам» торжественного характера, которые были сочинены им в ознаменование вступления союзных войск в Париж в 1814 г. По установившейся традиции этими куплетами завершался каждый ежегодный Инвалидный концерт, дававшийся всеми военными оркестрами в Мариинском театре. Должен сознаться, что Куплеты Кавоса, слышанные мной несколько раз в юности, не производили на меня большого впечатления и мне кажется, что они едва ли поднимались выше обыкновенного уровня того времени.

На акварельном портрете Катарино Кавоса, работы Осокина, висевшем у папы непосредственно под акростихом Луи Жюля Бенуа, представлен немолодой, изысканно одетый господин. Волосы над высоким лбом взбиты коком, щеки с бакенбардами подпираются высоким воротником рубашки, широкий черный галстух туго забинтован, жилетку форменного зеленого вицмундира с золотыми пуговицами перерезает длинная раздваивающаяся цепочка, в жабо рубашки вставлена рубиновая запонка. На шее красуется орден Св. Владимира. Характерность лицу придает выдающийся сильно горбатый нос (завещанный им многим из его потомков), а вся осанка обладает известной важностью. В то же время чувствуется, что этот человек только старался казаться строгим и взыскательным, что на самом деле, под напускной личиной, жил характер типичного венецианца, очень добросовестного в исполнении своих обязанностей, очень усердного в работе, необычайно благожелательного, а в отношении своих интересов скорее беспечного. Семейные предания и печатные источники рисуют его, кроме того, как человека независимых убеждений, великого ненавистника низкопоклонства, ябеды и судачества. Умер Катарино Кавос сравнительно еще не старым (65 лет), 28 апреля 1840 года.

Деятельность двух сыновей Катарино протекала так-

же на новой родине, в России. Младший, Джованни, избрал своей профессией музыку и состоял одно время помощником отца в опере, старший, Альберто, мой дед с материнской стороны, окончил Падуанский университет по математическому факультету и занял затем на архитектурном поприще одно из самых выдающихся мест в России. Альберт Кавос (1801-1862) приобрел даже широкую известность, как специалист по постройке театров, а монументальный труд его по этому вопросу считался классическим. Смерть похитила моего деда в тот самый момент, когда проект, составленный им для большой Парижской оперы, одобренный Наполеоном III и Министром Фульдом, имел много шансов быть принятым. Едва ли Гранд-Опера дедушки была бы столь же эффектной, как знаменитое произведение Шарля Гарнье, но можно быть уверенным, что его театр лучше отвечал бы требованиям удобства и акустики, а что зрелище на сцене не было бы так раздавлено окружающим сцену тяжелым, давящим великолепием. Такое предположение навязывается само собой, если сравнить зрительный зал Мариинского театра со зрительным залом Парижской оперы.

Вообще на свете едва ли существует более приветливое театральное помещение, нежели этот необычайно просторный воздушный зал Мариинского театра, построенный с таким расчетом, чтобы с каждого места, будь то последнее кресло в ложе или самое крайнее место в «парадизе», — открывалась вся сцена. Но и декоративная отделка зала Мариинского театра в своем роде совершенство. Правда, тот стиль «рококо Луи Филиппа», в котором выдержаны орнаменты его, не пользуется сейчас признанием, однако сама по себе вся система этой декорировки необычайно грациозна и лишена какой-либо навязчивости, а комбинация голубых драпировок лож и обивки барьеров и кресел с позолотой на общем фоне, создают гармонию удивительной праздничности и в то же время уютности. Замечательно, что даже в худшие времена петербургской жизни, в 1919, 1920, 1921 годах, несмотря на то, что вся публика была одета на пролетарский лад — зал Мариинского театра сохранял свою аристократичность, наводил даже на

большевистских «товарищей» какой-то лоск «хорошего тона».

Совершенно в другом роде был зрительный зал Большого театра, снесенного в начале 1890-х годов и его близкое подобие, существующий до сих пор зал Большого театра в Москве — оба также произведения моего деда. В обоих преследовалась задача поражать богатством и роскошью и задача эта доведена даже до некоторого эксцесса именно в Московской Опере, вероятно, потому, что полное возобновление театра было спешно закончено к специальному моменту — к коронационным торжествам 1856 года. В обоих театрах отделка красная с золотом, причем золото покрывает почти сплошь всю архитектурную поверхность. И эти два зала в смысле нарядности почитались образцовыми, не говоря уже о том, что их акустика отвечала самым строгим требованиям.

Громадные заказы, которыми был завален дед Кавос, позволили ему достичь значительного благосостояния, а оно дало ему возможность вести довольно пышный образ жизни и отдаваться коллекционерской страсти. Его дом в Венеции (на канале Гранде), был настоящим музеем. Дедом построена там же, вместо глухой стенки, служившей оградой узенькому садику, выходившему на канал, существующий поныне переход на мраморных колоннах. Чего-чего не скопилось в этом венецианском доме. Превосходные картины, рисунки, старинная мебель, масса зеркал, фарфора, бронзы, хрусталя. Всё это однако было расставлено и развешено без того, чтобы производило впечатление антикварного склада. Впоследствии многие из этих вещей были перевезены в Петербург, а после смерти деда в 1864 году поделены между вдовой и другими наследниками. Больше всего досталось старшему сыну Альберту-Сезару, но не мало картин и других вещей из его собрания украшало в 1880 годах нашу квартиру, а также квартиры бабушки Кавос и дяди Кости.

И этого своего деда Кавоса я не имел счастья знать — он умер за шесть лет до моего появления на свет, но всё же мне он был более близок, нежели дедушка Бенуа. Моей матери было тридцать четыре года, когда она его

потеряла, его вдова была непременным членом нашего семейного круга; его лично помнили мои сестры и старшие братья, да и среди наших знакомых многие любили о нем рассказывать. Меня же к покойному дедушке особенно влекла унаследованная от него коллекционерская страсть. Очень рано я стал чувствовать к нему род признательности за то, что именно благодаря этой его страсти, о которой с меньшим восторгом отзывалась моя мать, у нас было столько красивых вещей, чудесная же Венеция в целом продолжала, благодаря этим семейным сувенирам, быть чем-то для меня родным и близким. Когда часами я разглядывал висевшую в кабинете папы длинную узкую раскрашенную понораму Венеции (с неизбежной луной), когда я мечтал о том, как сам буду когда-нибудь плыть мимо этих дворцов, когда я изучал в зале маленькие две картинки, представлявшие виды дедовского палаццо — то мне казалось, что я всё это уже знаю и что во мне оживают жизненные восприятия, симпатии, радости и художественное любопытство дедушки. Сам же он на меня глядел молодым человеком с холста, писанного Натале Скиавоне, человеком средних лет с овальной литографии 1840-х годов и уже стариком с фотографии, висевшей в папином кабинете. Всюду дедушка на этих изображениях меня пленил своей элегантностью и своим «барством». Мне было почему-то лестно, что я его внук, что во мне течет его кровь. Я знал также, что и весь образ его жизни пришелся бы мне по вкусу. Дом его был поставлен на широкую ногу, а постоянное сношение с родиной должно было придавать этому дому тот ореол «заграничности», который как-то сливался у меня с представлением об аристократичности. Этот же тон поддерживали и оба сына, родные братья моей матери. Напротив, я чуть сетовал на моих родителей, что они этого тона не придерживались, что они даже создали себе идеалы и принципы какого-то «благоразумного, буржуазного juste milieu» и что весь порядок в нашем доме носил скорее простоватый оттенок.

Глава 6

«БАБУШКА КАВОС»

Вдова дедушки Кавос и после его смерти продолжала занимать видное положение в нашем семейном кругу, ей же было уделено самое почетное место в домашних торжествах. Все ее обожали и не только «линия Кавос», но и «линия Бенуа». Между тем она не была родной бабушкой в прямом смысле — «бабушка Кавос» была второй женой дедушки[1].

Ксения Ивановна Кавос была живописнейшей фигурой. В молодости она была писаной красавицей и роман между ней и дедом возник совсем так, как писали в книжках эпохи Сю и Мюржэ. Проходя как-то по одной из линий Васильевского Острова, Альберт Кавос увидел в окне нижнего этажа очаровательную блондинку, занимавшуюся шитьем. Не долго думая, дед вошел в эту белошвейную мастерскую и заказал хозяйке дюжину со-

[1] О нашей настоящей бабушке со стороны матери у нас было самое смутное представление, хотя два ее портрета, один акварельный, другой рисованный карандашом, висели в папином кабинете. Бедная эта «забытая» бабушка, мать моей матери, скончалась от чахотки еще в начале 1830-х гг. Она была тоже венецианкой и девичья ее фамилия была Каробио. Женился дед на ней в 1820 годах. Матери моей было всего три года, когда она скончалась. Кроме мамы детьми этой прелестной и хрупкой женщины были дядя Сезар, дядя Костя и бедный калека дядя Стефано, о котором речь впереди. Судя по упомянутому портрету, старшая дочь моя вышла совершенной копией своей прабабки. Несколько лучше сохранилась у нас в семье память о прабабке, о супруге моего прадеда Кавоса-композитора. Даже на портрете (отличный карандашный рисунок в стиле Каммучини) видно, что это была дама, хоть и любезная, но и несколько строгая и умевшая соблюдать свое достоинство. Тут кстати будет сказать, что вообще женщины в обеих семьях, как Бенуа, так и Кавос, обладали большей жизненной толковостью, нежели мужская половина их.

рочек, дав довольно крупный задаток. Явившись за ними через неделю, он уже вступил в беседу с очаровательной блондинкой, после чего произошло более близкое знакомство с ее уважаемой матушкой, а уже через месяц он сделал Ксении Ивановне предложение. После свадьбы молодые тотчас же уехали заграницу и несомненно именно то обстоятельство, что масса совершенно новых впечатлений сразу нахлынула на юную (ей было лет семнадцать) Ксению Ивановну, что эти впечатления сочетались с самыми счастливыми моментами ее жизни, с истинным «медовым месяцем», проведенным в обществе молодого, красивого и блестящего человека, это обстоятельство (это стечение обстоятельств), произвело то, что Италия получила для этой простой русской девушки значение какой-то обетованной земли и чуть что не рая земного. Этому культу Италии и всего итальянского мадам Кавос осталась затем верной на всю жизнь. Ни малейшей критики Италии она в своем присутствии не допускала. Всё там было безоговорочно прекрасно — и местности, и здания, и картины, и статуи, и люди, и нравы, и, разумеется, — музыка. Прекрасны Рим, Неаполь, Флоренция, но всё же прекраснее всего была Венеция — родина мужа, где она оказалась хозяйкой очаровательного дома насупротив божественной Салютэ. Хотя дом был меблирован старинной мебелью и увешан старинными картинами, однако, всё казалось таким чистеньким, светлым, ярким, так весело играло на потолках отражение зыби каналов, а в открытые окна среди заколдованного венецианского безмолвия, так весело врывались клики гондольеров. Кроме того, Ксении Ивановне был оказан радушнейший прием, чисто итальянский прием со стороны Кавосских родных и знакомых, и в частности со стороны тонко образованной ее невестки Стефани Корронини, которая ее сразу взяла под свое покровительство и занялась ее светским воспитанием.

К сожалению, венецианская идиллия не могла продолжаться до бесконечности. В Петербурге деда ждали большие постройки и между прочим надлежало строить здание Императорского цирка — (то самое здание, которое было затем перестроено им же в Мариинский театр) и вот молодые, после нескольких месяцев отсутствия, снова

оказались в Петербурге, на сей раз в казенной квартире, предоставленной деду в одном из флигелей Пажеского корпуса. Ксении Ивановне выпало на долю не только воспитание своих собственных детей, но и трех уже взрослых мальчиков и одной девушки. Последняя, впрочем, воспитывалась вне дома — в Смольном институте для благородных девиц. И вот постепенно, благодаря врожденному такту, молодая женщина завоевывает искренюю любовь всех этих «детей», да и сама принимается их любить, как своих. Можно даже сказать, что в некотором смысле она этих «чужих» детей предпочитала тем, которых сама родила: двух мальчиков и одну девочку. Возможно, что в последних ее раздражало как раз их слишком определенное, от нее унаследованное, русское начало. Те «чистокровные венецианцы» вышли такими же «тонкими» людьми, каким был ее муж (и какими ей рисовались чуть ли не все итальянцы), тогда как в ее мальчиках, даром, что старший сын — Миша сразу стал выказывать блестящие способности, ее тревожила какая-то склонность к грубоватой прямолинейности. Зато единственная дочь Софи не уступала по красоте матери, и бабушка в ней души не чаяла.

Надо, впрочем, сказать, что сама бабушка Кавос так и не преуспела вполне в смысле усвоения светского тона и светских манер. Свое происхождение она выдавала, как некоторыми оборотами речи, так подчас и слишком резкими жестами, в которых она, пожалуй, старалась походить на своих любезных итальянцев. Чуть грешила она и порывами невоздержанной веселости или слишком ясно выраженными вспышками гнева. Но выручали ее величественность осанки, ее уменье одеваться, причесываться, ее природная ласковость и «гармония» ее походки.

Совершенной королевой она выглядела на большом поколенном портрете 1840-х годов Скиавоне и не менее величественной на рисованном портрете Беллоли. Дед мог вполне гордиться своей «находкой», а о том, что он совершил своего рода мезальянс все со временем забыли. Когда подросла и стала выезжать моя мать, то «бабушка», хотя и казалась почти одних лет с ней, с большим тактом и с подобающей сердечностью

играла роль опекающей, а у себя дома она умела и принять, и угостить, и занять. Тут пришелся кстати ее столь быстро усвоенный «итальянизм». Это создало ей в те дни бешеного увлечения итальянской музыкой и итальянской оперой особый ореол. Она перестала быть петербуржанкой, а превратилась в какое-то своеобразное подобие чужестранки, а ведь еще со времен Петра за иностранцами сохранялось в столице до некоторой степени привилегированное положение.

Увы, супружеское счастье Ксении Ивановны не было прочным. Постепенно Альберт Иванович, страдавший вообще непостоянством, охладел к своей красавице-жене, стал ухаживать за другими и, наконец, попался в лапы одной заправской интригантки. Измена мужа омрачила существование Ксении Ивановны, а после его смерти возникли и заботы материального порядка. Оба своих петербургских доходных дома дед завещал своей новой пассии и, вероятно, передал ей, кроме того, значительную сумму денег. После раздела остального наследства пришлось сократить образ жизни Ксении Ивановне, а дочь ее «тетя Соня», только что вышедшая замуж за Митрофана Ивановича Зарудного, оказалась почти бесприданницей. К довершению горя, эта очаровательная молодая женщина умерла в родах первого же ребенка и бабушке пришлось взять на себя воспитание внука. Однако, когда я мальчиком лет четырех начал «осознавать» бабушку, то и следов всех этих потрясений не оставалось. За несколько лет бабушка при помощи сыновей успела привести в некоторый порядок свои дела, забыть о горестях и обидах, а к памяти мужа она выработала в себе настоящий пиетет. В ее квартире, менее обширной нежели прежняя, но всё-таки нарядной, висели его портреты вперемежку с ее собственными, в гостиной на особом постаменте красовалась севрская ваза, присланная Наполеоном III при собственноручном письме императора к деду, а целую стену спальни занимали картинки, представлявшие внутренность Кавосского дома в Венеции. Кроме того, в столовой, в гостиной и даже в коридоре были развешены акварели и сепии Зичи, Садовникова, Шарлеманя, изображавшие фасады и внутренности построенных дедом театров, а также ту грандиозную ил-

люминацию, которой в дни коронации Александра II было ознаменовано открытие Большого театра в Москве.

Я, вероятно, не раз бывал у бабушки Кавос в детстве, но воспоминаний об этом у меня не сохранилось. Зато незабываемым остается тот день ранней осени 1884 года, когда у бабушки был устроен парадный обед в честь моего брата Миши, только что женившегося на своей кузине Ольге Кавос (дочери дяди Кости). Весь обед состоял из венецианских национальных блюд, а в качестве пьес-де-резистанс, сейчас после минестроне, была подана тэмбаль-де-макарони, специально заказанная у знаменитого Пивато на Большой Морской. Однако, не всё это угощение и не несколько бокалов шампанского наполнили мою душу тогда каким-то особенным восторгом, а то наслаждение, которое я испытывал благодаря чувству зрения. Много всяких венецианских сувениров было и у нас, и у наших дядьев, но здесь сувениры составляли одно целое, удивительную, единственную в своем роде, гармонию. Восхитительно сверкали свечи в хрустальных люстрах, отражаясь в зеркалах, вставленных в изощренные золоченые рамы с живописью на них Доменико Тиеполо. Толпой стояли на комодах и по этажеркам изящные фарфоровые фигурки. Самая сервировка была особенная; даже стекло стаканов и графинов, даже вышивки на скатертях и на салфетках были не такие, какие я встречал в других домах. Вероятно, бабушка к столь торжественному случаю вытащила со дна сундуков самое ценное и заветное, а, может быть она и призаняла кое у кого из своих итальянских знакомых. Только прислуга была совсем не похожа на венецианскую. То был типичный русский лакей с длинными бакенбардами, который состоял на службе у одних наших родственников, но которого всегда «брали напрокат» — все, кто нуждались в его глубоких познаниях обеденного этикета, и то была тоже архирусская старушка горничная; иногда же из далекой кухни появлялась «сама Лидия», русская кухарка, выучившаяся наизамысловатейшим итальянским блюдам, и появлялась она за тем, чтобы по традиции выслушивать комплименты по поводу всякого нового, созданного ею шедёвра.

Бабушка к этому обеду особенно принарядилась,

впрочем принарядилась она во всё то, что неизменно облекало ее на подобных же торжествах. Следов прежней красоты не оставалось в этой шестидесятипятилетней, несколько расползшейся женщине, но «царственного величия», смешанного с ласковой веселостью у нее было еще сколько угодно. Она очень волновалась и вследствие того лицо ее пылало румянцем, но это ей скорее «шло» и отлично вязалось с седыми волосами и с тем, из венецианских кружев построенным чепцом, что венчал ее голову. На плечах же и поверх темно-фиолетового канаусного платья у нее была знаменитая белая мантилья, отороченная горностаем. Мех порядком пооблез, а бархат начинал обнаруживать следы долголетнего служения, но это была всё еще очень нарядная и очень пышная вещь, говорившая о славе и о великолепии былых времен. Рядом со своим прибором, по стародавнему обычаю, лежал веер и когда изредка бабушка им обмахивалась, то до полной иллюзии создавалась картина прошлого и вовсе не прошлого бабушки, а более далекого — какой-то Венеции Гольдони или Гоцци. Как раз я тогда только начал определенно и не совсем уж по-мальчишески вкушать прелесть стародавних времен и, вероятно, именно потому меня всё это так поразило и так запомнилось.

К сожалению, в той квартире, которая так меня поразила в 1884 году, бабушке недолго оставалось жить. Ей пришлось выселиться из-за какой-то перестройки всего дома (то был дом церкви Св. Анны на Кирочной), а та квартира, которую ей нашел дядя Миша в Поварском переулке, далеко не была такой же привлекательной и нарядной. Неприятное впечатление производило уже то, что парадная лестница — светлая и пологая внизу, становилась всё круче и темнее, приближаясь к квартире К. И. Кавос, занимавшей весь верхний этаж. Да и потолки в комнатах были не такие высокие и расположение комнат, которые перерезал длинный и темный коридор, было довольно нелепым. Многое из обстановки перед переездом пришлось распродать, а многое было продано в последующие годы, в удовлетворение всё той же страсти бабушки к Италии и ее потребности изредка посещать свой «парадиз». Ушли, таким образом, наиболее ценные вещи — бронзы Джованни ди Болонья, изуми-

тельная резная шкатулка XVI века, расписные и инкрустированные шкафики, какие-то замечательные ширмы и мн. др. В те времена ежегодно в Петербурге появлялись (и останавливались в Европейской гостинице) агенты больших антикварных фирм, о чем сообщалось в газетах, и вот им бабушка и предпочитала продавать свои редкости, так как таким образом легче удавалось оставлять сделку в тайне. На вырученные деньги бабушка, не затрагивая скромного капитала, ехала затем в Венецию, где и проводила в необходимой для ее души атмосфере два или три месяца.

Было время, когда эти поездки бабушки я ценил чисто эгоистически. Она привозила оттуда мне, младшему из ее внуков, то труппу преуморительных фантошек, то целый театрик. Но позже я уже негодовал, когда узнавалось, что безвозвратно ушла та или другая из бабушкиных художественных драгоценностей, негодовали и другие члены семьи, предлагая вперед самим покупать то, что она обрекала на продажу. Бабушка всё же предпочитала свой способ — по крайней мере не влекший за собой «лишних разговоров».

В последние годы своей жизни бабушка очень изменилась. Что-то не ладилось с ногами и она утратила свою прелестную легкость поступи: ей приходилось опираться на костыль. Однако лицо, хоть и превратилось в старушечье, оставалось в своем роде привлекательным и необычайно благородным. Теперь она еще более напоминала осанку и ласковую величественность Екатерины II, какими мы себе представляем их по портретам Государыни. И тем более контрастными сделались всякие причуды и чудачества бабушки, с годами только усилившиеся. Ее franc parler, бывший когда-то только чарующим, теперь приобрел почти карикатурную по своей резкости форму. Не совершенно отвыкла Ксения Ивановна и сдерживать свои порывы гнева, выражавшиеся подчас совершенно недопустимым образом. Другие чудачества бабушки носили невинный характер. К ним относилось и то, что она поминутно и по всякому поводу восклицала: «Sant' Antonio di Padova...» Это восклицание она затем руссифицировала и превратила в совершенно фамильярное: «Святой Антон», и даже просто «Антошка». За это

маленькие правнуки ее, дети Жени Кавоса, прозвали ее «бабушкой-Антошкой» и под этим прозвищем она стала известна и в более широких кругах.

Милая «Бабушка-Антошка». Я чувствую здесь потребность высказать ей несколько слов специальной и личной благодарности. Ксения Ивановна, быть может, памятуя как ей трудно было преодолеть в начале разные противодействия и недоброжелательства в том обществе, в которое она вступила, относилась вообще снисходительно, а то и просто покровительственно к разным, возникавшим в нашей семье романам. Необычайно милостиво относилась она и к моему «роману жизни» и это в такие времена, когда обе наши семьи были оскорблены нашим поведением — не менее, нежели родные Ромео и Джульеты. Подумайте только. Шура стал ухаживать за Атей Кинд — за сестрой той самой Марии Карловны, «с которой только что разошелся его брат Альберт» или «Атя собирается замуж за Шуру Бенуа...» Напротив, бабушка Кавос, питавшая несомненную симпатию к моей возлюбленной, только повторяла «пусть делают, что хотят, и вы увидите, что они найдут друг в друге счастье». Впрочем бабушка и вообще отличалась большой «сердечной мудростью» и прозорливостью. В свойственной ей шуточной форме, смешивая русские, французские и итальянские выражения, она иногда делала очень меткие характеристики или освещала какое-либо «создавшееся положение» с надлежащей стороны. Естественно, что ее привлекали к себе люди с родственной душой. Ей моя Атя именно тем и нравилась, что больше, чем в других, она в ней находила прямодушие, природную веселость и решительное отсутствие ломанья или позы.

Особенной же симпатией пользовалась у бабушки Кавос ее внучка, моя сестра Камилла, у которой на «Кушелевке» она временами подолгу гостила. Здесь ее любимым местопребыванием была большая, покрытая тэндом терасса перед домом, с видом на поросший водяными лилиями пруд... Сидя часами на самом краю этого балкона, там, где тенд не препятствовал солнцу ни греть, ни светить (зябкая бабушка даже летом куталась в свою мантильку), положив больную ногу на табурет, она оттуда следила за возней и за играми детей Камиллы в

саду. Не вспоминала ли она при этом то время, когда ее родные дети, и среди них очаровательная Сонечка, так же играли и возились в узком садике венецианской Каза Кавос? Увы, не одну Сонечку, но и всех трех своих детей бабушка пережила и не оставайся при ней сын Сони — Сережа Зарудный, постепенно превратившийся из крошки-сироты, в правоведа, а из правоведа в господина прокурора, то с ней некому было бы жить, некому было бы и завещать то милое, памятно родное, чем, и после всех переездов и после всех продаж, битком была набита ее квартира. Скончалась бабушка среди всех этих сувениров, глубокой старухой, но ни мне, ни Ате не удалось проводить ее до последнего ее жилища — мы в это время жили в Риме (1903).

Глава 7

МОИ РОДИТЕЛИ

Моего отца я не помню иным, нежели довольно пожилым человеком, с седыми волосами и бакенбардами, с начинающейся лысиной и в очках. Папе было около пятидесяти семи лет, когда я родился, самые же ранние мои воспоминания о нем относятся к тому моменту, когда он вступил в седьмой десяток. Не молодой казалась и мама, хотя она была на пятнадцать лет моложе своего мужа. Вероятно, она состарилась преждевременно от многочисленных родов. Да она и вообще была довольно хрупкого сложения. Я ее помню сильно сутуловатой с известной склонностью к полноте, с легкими морщинами на лбу. Но не такой она выглядит на портрете Капкова, начала 1850-х годов, висевшем у нас в гостиной. Там она представлена такой, какой ее «взял» папочка — совершенно еще юной, тоненькой, прямой. Я даже не совсем верил, когда мне говорили, что это «мама», и удостоверялся я в том, что это та же обожаемая мамочка, с которой я никогда не расставался, по чисто внешнему признаку — по знакомой лорнетке, которую она на портрете держит в своих бледных прозрачных руках. Знакомо мне было и несколько грустное выражение лица этой «дамы» — выражение, отлично подмеченное художником. Ведь в основе характера мамочки лежала какая-то грусть: она как-то «не доверяла» жизни, ей казалось, что на нее и на близких отовсюду и везде надвигаются какие-то напасти. Моментами это «недоверие» принимало болезненный оттенок — например, при любой поездке в экипаже и особенно в санях, тогда взгляд ее становился растерянным, страдальческим и она хваталась за всё руками.

Непрерывно она была озабочена и нашим благосостоянием. Тревога из-за недостаточной обеспеченности ее мужа и ее детей тем более ее терзала, что мама в противоположность мужу не была религиозной. Впрочем, она исповедовала какую-то свою религию, несколько материалистического оттенка. Возможно, что в глубине души она и вовсе не верила во что-либо «сверхестественное» (и менее всего в загробную жизнь), но об этом она предпочитала молчать и подлинные, но тайные убеждения ее лишь изредка, невзначай прорывались наружу. Не сказывалось ли в характере мамы ее венецианское происхождение? Она не была отпрыском той Венеции, кокоторая героически воевала за господство на морях, строила церкви и дворцы сказочной красоты, а была отпрыском той Венеции, которая доживала свой век во всем разочарованная, ослабленная, изверившаяся.

Напротив, в отце жила не знавшая уныния бодрость и непоколебимое упование на Господа. Я его помню всегда веселым, жизнерадостным, вовсе не озабоченным тем, что будет дальше. О бережливости у него было самое сбивчивое представление тогда, как бюджетом нашего дома заведывала хрупкая мамочка. Пользуясь советами своих двух братьев, она даже пробовала (временами не без удачи), производить кое-какие финансовые операции, мало что в них понимая по существу. Папочке же всякая возня с деньгами, с банками была абсолютно чуждой и, увы, эту черту я от него унаследовал. Папа только думал о своем искусстве, о своей семье, о том, как бы доставить всевозможную приятность своим детям, а главное как бы ему нагляднее выразить свое обожание их матери, заврашний же день для него просто не существовал. И это его отношение к жизни коренилось в глубокой религиозности. По воскресеньям, во всякую погоду, он отправлялся в церковь и отстаивал всю мессу на коленях, внимательно следя по молитвеннику за ходом богослужения. Раз в году, на Пасху (а иногда и чаще), он исповедывался и причащался, а его духовник — уютный, тихий старичок-доминиканец, патер Лукашевич, был другом дома, постоянным участником наших домашних событий и торжеств.

В отце при этом не было и тени какого-либо хан-

жества или однобокого фанатизма. Веря безоговорочно во всё то, чему учит католическая церковь, он в то же время крестился на все православные храмы, а когда ему случалось присутствовать при каком-либо богослужении в них, то он и подтягивал вполголоса певчим, так как с академических времен знал все русские обрядовые слова и напевы. С великим почтением он относился также к лютеранским и реформатским священнослужителям, а также к представителям еврейства.

Широкая веротерпимость (или даже известная форма пантеизма), выразилась однажды у папы в том ответе, которым он меня поразил когда я, лет десяти, как-то обратился к нему с вопросом, существовали ли в действительности Юпитер, Аполлон, Венера и Минерва? Я переживал тогда большое увлечение богами Греции и Рима и не уставал разглядывать их изображения в книгах или их изваяния во время прогулок по Петергофу и по Летнему Саду. В связи с этим увлечением меня мучила мысль, что эти дивные существа никогда на самом деле не жили, а являются лишь человеческим вымыслом. И вот, когда я это сообщил папе, то он не только не высказал решительного отрицания существования этих языческих богов, но «допустил» мысль, что они когда-то были и жили, чем он меня осчастливил бесконечно, так как компетенция его в таких вопросах была для меня неоспоримой.

Что же касается до моего отношения вообще к отцу, то для периода раннего детства я не могу иначе его характеризовать, как словом «обожание». Мама составляла в те годы (лет до шести) столь неразрывное со мной целое, что я даже как-то не «ощущал ее в отдельности», и поэтому я даже не мог и обожать ее — ведь обожание означает некое «объективное» отношение. Напротив, при всей моей близости к папе, личность его представлялась мне *отдельной;* я его видел, я к нему обращался, я что-то от него ждал и получал. И у меня сохранился от тех далеких дней детства целый ряд воспоминаний о нем, тогда как о маме для тех же лет у меня их до крайности мало.

Папочку я вижу, как он меня носит в ночную бессонницу по всей квартире, стараясь меня успокоить, ког-

да я весь дрожу после напугавшего меня кошмара. Или вот, посадив меня на колени, он любуется как я, схватив карандаш, быстро покрываю лист за листом своими каракулями. Или еще он меня уже раздетого для спанья, в одной рубашонке, а то и просто нагишом, показывает, как «Петрушку» над альковной перегородкой ахающим от умиления тетушкам. А вот и такие ранние воспоминания: я на коленях у папы и испытываю предельное блаженство, глядя как из-под его карандаша появляются на бумаге солдаты, барабанщик у часовой будки, лающие собаки и спящие кошки, рыцарь, весь закованный в броню, санки, запряженные рысаком или какие-либо шутки, карикатуры. Смеясь при виде их до слез, я тычусь головой в его халат, а он меня тискает, щекочет и с упоением целует, приговаривая «папин сын».

Каждый раз при этих воспоминаниях я отчетливо вижу свое божество таким, каким я его видел в те дни. Я вижу его добрую улыбку, его милые серозеленые глаза, прикрытые поблескивающими очками. Я ощущаю и запах его пропитанного сигарами халата, я различаю жилки на его стареющих руках, я слышу его голос, его шутки и прибаутки или те прозвища, которые он давал всем нам на каком-то вымышленном языке — целая серия этих слов была посвящена именно мне — последнему. А вот папочка сел за рояль в гостиной и играет (по слуху) полковой марш, я же под него марширую с ружьем в руках и с каской на голове, стараясь производить повороты «совсем по-военному». Вижу папу и за работой в те дни, когда мне было строго запрещено мешать ему. Дымя сигарой, он что-то рисует на одном из высоких столов в чертежной и группа помощников обступает его, внимательно следя за тем, что он им, не переставая рисовать, объясняет. Или вот в своем кабинете он сидит на стуле с вычурной спинкой и с кожаным сидением[1] и что-то пишет, пишет при свете той особой масляной лампы, которую он сберег с древних времен своей юности.

Не могу не рассказать здесь же, (а то где еще найдется для этого место) об этих, только что упомянутых,

[1] У нас было два таких подлинных Чипендэля, но они были не красного дерева, а искусно резаны в дубе.

постоянных помощниках папы, которые в то время были «своими людьми» в нашем доме и к которым я очень благоволил, так как и они всячески баловали меня. Особенно ласков был Карл Карлович Миллер, уже пожилой немец с темно малиновым лицом, но его ласк я побаивался из-за его плохо выбритой, ужасно колючей бороды. Контрастом ему являлся Антонин Сергеевич Лыткин, молодой, высокий, довольно красивый господин, с длинной холеной бородой. Лыткин сохранял постоянно достойную серьезность, под которой, впрочем, было больше стеснительности, нежели спеси. Третьим помощником был «Саша» Панчетта, которого скорее следует зачислить в категорию «домочадцев». Он был пасынком доктора деда Кавоса, синьора Киокетти, и хотя сам доктор давно отошел к праотцам, однако вдова его и ее сын продолжали быть чем-то вроде членов нашей семьи. Без них не обходилось ни одно сборище, а кроме того Панчетта, избравший архитектурное поприще и пожелавший состоять у папы в помощниках, мог являться к нам чуть ли не ежедневно.

Панчетта числился помощником, но в сущности его «помощь» сводилась к нулю. Он и его печальная мамаша обладали достаточным состоянием, чтобы вести незатейливый, но и безбедный образ жизни и этим они удовлетворялись вполне. Отсюда непробудная лень Александра Павловича. Панчетта проболтается с четверть часа в чертежной, а затем наровит проникнуть в другие комнаты и подсесть к маме или к сестрам, занимая их разными разговорами. Темами служили: погода, извозчики, дворники, дурные мостовые, взятки полиции и т. д. При этом Саша Панчетта имел замашки «настоящего элеганта». И всклокоченная, но расчесанная борода, в которую он то и дело просовывал пальцы с предлинными холеными ногтями, и криво свисавшая на лоб прядь волос должны были свидетельствовать о принадлежности Панчетты к людям лучшего общества. В смысле общества, однако, он довольствовался нашим домом и еще двумя тремя такими же художественными, отнюдь не светскими, домами. Надо прибавить, что беспредельное благодушие этого никому ненужного и совершенно бездарного, но всё же в своем роде милого человека — обеспечивало ему

всюду, если не радостный, то всё же радушный прием и всюду он был на положении какого-то «далекого родственника». Ребенком я его очень любил, хотя меня смущали его длинные ногти и то, что Саша Панчетта сильно косил, что придавало ему всегда растерянный и недоумевающий вид.

Был у папы в моем детстве еще и четвертый помощник по фамилии Мореплавцев. Это был исключительно даровитый человек, превосходный рисовальщик и акварелист, но к сожалению, он был сумасшедшим. Временами он произносил самые несуразные речи, среди разговора или работы начинал как бы к чему-то прислушиваться, вдруг хватался за шапку, мчался на улицу, а через минуту, крадучись, возвращался и снова садился за работу, как ни в чем не бывало. Естественно, что о нем у нас было много разговоров, я на него взирал с некоторой опаской и с большим любопытством. Папа пробовал бедного Мореплавцева образумить, отечески журил его, но в общем он был им доволен и нередко поручал ему особенно трудные задачи, с которыми тот великолепно справлялся. И вдруг приходит известие, что Мореплавцев — Meereschwimmer, как стояло на оборотной стороне его визитной карточки, зарезался бритвой. В первый раз самоубийцу удалось спасти, но во второй раз он повторил свой жест с такой энергией, что почти отсек себе голову. Произошло это событие, когда мне было не более пяти лет, но я запомнил тот ужас, с которым я представлял себе столь хорошо мне знакомого человека, лежащим в луже крови с отделившейся головой.

Итак, когда я хочу вызвать в себе представление о своем отце — в те ранние годы моего существования, то я вижу его в качестве мне очень близкого, но всё же отдельно от меня стоящего «божества». Напротив, я, повторяю, почти не вижу в те годы мамы. Она так тесно, так нежно окутывала меня своей заботой и лаской, что я и не мог ее видеть. Явившись на свет вскоре после кончины моей маленькой сестры Луизы, о которой мои родители не переставали скорбеть, я естественно сделался предметом особенного их попечения и тем, что немецкие бонны называли Schooskindchen.

Не встречая со стороны матери никакого сопротивления моему деспотизму, я естественно злоупотреблял и мучил ее. Но мог ли я это сознавать? Мог ли я в этом раскаиваться? К тому же мама никогда не жаловалась и брала меня под защиту даже тогда, когда я уже этого никак не заслуживал.

Дальнейшие взаимоотношения наши, между мной и родителями, стали меняться. По мере того, что я рос и из младенца с личностью весьма смутной превращался в мальчика с независимым и довольно таки капризным характером, связь моя с отцом стала ослабевать. А когда я из мальчика превратился в отрока, то временами эта связь и вовсе нарушалась. До настоящего разрыва, слава Богу, так и не дошло, но, несомненно, что папа и я — мы «перестали понимать друг друга», и это тем более объяснимо, что между отцом и сыном разница в годах была у нас «не нормальная», а в целые полвека. Теперь, впрочем, мне думается, что именно благодаря столь большой разнице — мы, пожалуй, и не были так уж далеки. Ведь идеалы юности отца стали и идеалами моей юности, лишь с несколько иным оттенком. Я, как и папа, был насквозь пропитан романтикой тогда, как позитивистские идеи, которые владели умами в 1870-х годах, были мне чужды и даже омерзительны. Лишь на очень недолго длившийся момент, подпав под влияние более «передовых» людей я «простившись с предрассудками», приобрел четырнадцати лет и какие-то замашки циника. И вот как раз этот короткий момент и оказал разлагающее действие на мои отношения с папой. Ему, семидесятилетнему человеку, не хватило тогда внимания, чтобы разобраться в том, что во мне происходит и насколько мое мальчишеское вольнодумство неглубоко и несерьезно. Его это слишком огорчало и возмущало. Я же в силу нелепости, присущей «неблагодарному» возрасту, принялся тогда чуть ли не презирать отца за его «отсталость». Несколько резких стычек с папой, происшедших в этот период, обострили эти недоразумения, и во мне укоренилось убеждение, что мы натуры совершенно друг другу чуждые, не способные ко взаимному пониманию и, разумеется, при этом я мнил себя несравненно более совершенной и изощренной натурой, нежели

мой, уже слишком простоватый и «слишком старосветский» родитель...

К чему-то совершенно иному привел процесс моего «отделения» от матери. С момента этого отделения я только и начал вполне ее оценивать, только тогда я стал ощущать и ту глубинную связь, которая продолжала неразрывно меня с ней соединять. Постепенно из какой-то части меня самого она стала превращаться в моего друга. Первоначальный унисон заменился гармонией. И эта метаморфоза чувств происходила с постепенностью и внешней незаметностью органического процесса. Подходя к десяти годам, я стал сознавать, что я обожаю свою мать, что она мне дороже всего на свете и она меня понимает лучше, чем кто-либо. Это не значит, чтоб между мной и ею не случалось споров или чтоб я частенько не огорчал ее или на нее не обижался. Я был слишком своеволен и причудлив, чтобы вообще между мной и кем бы то ни было могли существовать отношения de tout repos. Надо сознаться, что свою тогдашнюю репутацию «невозможного и несносного мальчишки» я вполне заслуживал. Но как раз мамочка всему этому моему своеволью оказывала полное доверие, оно ее не пугало и даже, когда она меня бранила и упрекала, я явственно различал, под сердитыми (столь ей не свойственными) тонами, не только ее безграничную нежность, но именно и это ко мне доверие. Она не сомневалась, что всё со временем обойдется и, может быть именно благодаря ее доверию, оно и обошлось. Сколько раз в тех случаях, когда я переходил границы допустимых шалостей, а то и «безобразий» мысль о том, что это может огорчить мою «обожаемую» производила во мне какой-то «взрыв совести» и повергала меня в раскаяние. Надо тут же прибавить, что мамочка очень любила читать всякие педагогические книжки, вроде «l'Education des mères de famille», но не эти добронравные сочинения сделали мамочку педагогом совершенно исключительной чуткости, но был это у нее природный дар: читала же она эти книжки только для того, чтобы собственные свои соображения проверить и как бы увидать со стороны.

Исключительная чуткость мамочки подсказала ей и

ее поведение в том раздоре, которым омрачились мои отношения с отцом. Не будь ее, этот раздор мог бы действительно выродиться в уродливые и опасные формы. Однако мамочка активно не вмешивалась в наши недоразумения, а лишь после таких стычек у нее бывали объяснения со мной и с мужем. И странно: не столько эти увещания меня, сколько ее урезонивания папы — производили на мое сердце целительное действие. При этом она отнюдь не заступалась за меня, она только «объясняла меня» мужу. Фраза «Il faut le comprendre» особенно часто слышалась в этих увещеваниях, происходивших, впрочем, не в моем присутствии, а где-либо в комнате рядом. Главным же образом она старалась и своего Николя заразить доверием ко мне. В папочке было не мало упрямства и оно мешало ему отказываться от занятой позиции, однако по тону его ответов чувствовалось, что гнев его смягчается и, если между мной и им после такого объяснения и не происходило «ритуальных изъявлений мира» (это у нас в доме вообще не водилось), то на самом деле мир бывал заключен и всё возвращалось на время в свою колею.

Я только что упомянул о тех педагогических книжках, которые мама любила (или даже считала своим долгом) читать. Но она и вообще любила читать и ее чтение вовсе не ограничивалось такой «скучноватой материей», как педагогика. Напротив, она любила и романы и исторические книги и мемуары и путешествия. Во всём же она главным образом искала и любила правду; и самому блестящему вымыслу она предпочитала то, что носило отпечаток реальности — «Seul le vrai est aimable». Свойственное ей от природы правдолюбие было настолько даже сильно, что это лишало ее удовольствия, получаемого от всего того, в чем особенно высказывается сущность художественного творчества — фантазия. Из них двух, несомненно, папа был природным художником и «поэтом», мама же прозаиком и натурой, плохо реагирующей на то, что является самым существом искусства. В картинах она любила точность, выписанность, близость к натуре, в литературе — верное воспроизведение действительности. Характерно еще, что эта дочь коллекционера чувствовала ко всяким видам художествен-

ного собирательства настоящее отвращение. Быть может, то обстоятельство, что всё собранное ее отцом «пошло затем прахом», развеялось и распалось, не принеся никакой «реальной пользы», сыграло при этом свою роль. Картины на стенах, особенно же скульптурные безделушки, она называла «attrapes poussière» и вовсе не дорожила ими. Были случаи, когда она и очень ценные вещи раздаривала — больше из желания просто от них «ненужных и лишних» избавиться. Из истории искусства она знала то, что всякому воспитанному человеку надлежить знать — имена знаменитых мастеров были ей знакомы, но она не была способна любоваться произведениями их, а картины таких художников, как Рембрандт или Делакруа, она должна была просто ненавидеть за то только, что они так «неряшливо написаны».

Да и к музыке у этой правнучки исключительно даровитого композитора не было настоящего художественного отношения. У нее был несколько слабый слух, она знала всего одну пьеску наизусть (ту самую, которую она когда-то выучила для выпускного экзамена в Смольном институте), а когда она разбирала по нотам, ей с трудом давался счет и особенно ритм. В опере, в которой она бывала почти каждую неделю, она больше дивилась фиоритурам и колоратурам, нежели настоящим музыкальным достоинствам; наконец, в игре на рояле она ценила только беглость пальцев и не входила в обсуждение того, как вообще следует понять то или другое произведение.

При всей мамочкиной природной «прозаичности» всё же никак нельзя сказать, чтобы в целом ее облик был лишен поэтичности, и еще менее, чтобы она страдала какой-то сухостью души. Напротив, она была настоящей музой моего отца и всего нашего дома. Одна ее манера думать и излагать свои мысли, ее чуткая правдивость, ее глубокое понимание других (понять — простить, была одной из ее постоянных поговорок), ее терпимость, ее беспредельная доброта, заставлявшая ее всегда и во всем жертвовать собой и совершенно отрешаться от каких бы то ни было личных утех, всё это вместе производило то, что она как-то вся светилась

изнутри. Она представляла собой удивительно цельную и на редкость выдержанную человеческую личность. Иногда мне казалось, что ее печалит ее собственная неспособность разделять художественные эмоции окружающих, тогда как «излияния художественных чувств» были в нашем доме чем-то обыденным. Мне становилось жаль ее, когда она признавалась, что «ничего не видит там, где я видел чуть ли не отверстые небеса». Однако, быть может, именно то, что она была «бездарна на художественные переживания» способствовало тому, что она была такой «чудесной женщиной». Будь в ней больше какого-либо эстетического начала — я убежден, это нарушило бы ее моральный облик. В ней маловерующей, не понимавшей фантазии, поэзии, религии и церкви, всё же светилась несомненная благодать Божия. Бездарная на искусства, она была одарена «гениальностью сердца»...

Здесь в моих мемуарах не место распространяться о художественной карьере моего отца. Она достойна целой отдельной книги и таковую затевал мой брат Леонтий, успевший даже изготовить клишэ для таблиц и иллюстраций к этой монографии (лишь революция помешала исполнить его намерение, сопряженное с большими расходами). Но в нескольких словах мне всё же нужно рассказать, кем был мой отец как художник и каково было его общественное положение. Мне эту задачу облегчает то, что, хотя я и застал отца уже на склоне лет, мне всё же казалось, благодаря его рассказам и его бесчисленным рисункам, точно я его знал и в те времена, когда он маленьким мальчиком посещал Петершуле и тогда, когда благодаря повелению его крестной матери, императрицы Марии Федоровны, он был зачислен учеником Академии художеств, где он и прошел курс архитектуры, блестяще окончив его с большой золотой медалью. Благодаря рассказам папы дальнейшие происшествия его жизни приобретали еще большую отчетливость и яркость. Четыре года по окончании Академии, он проводит в Москве, участвуя, под руководством знаменитого Константина Тона, в постройке грандиозного храма Спасителя, а в 1840 году он отправляется в заграничное путешествие, право и средства на

которое давала золотая медаль, полученная еще в 1836 году.

Проехав Германию, он попадает в Италию, где и проводит почти всё свое пенсионерство, главным образом в Риме и в Орвието. В 1846 году, на обратном пути, Н. Л. Бенуа, посещает Швейцарию, Францию и Англию, а, оказавшись на родине, поступает на казенную службу и быстро завоевывает особое расположение Государя Николая Павловича, для которого он создает свои помянутые выше наиболее замечательные постройки. Но умирает Николай I-й, на престол вступает Александр II, и в России (после разрухи Крымской кампании), водворяется эра чрезвычайной экономии, благодаря чему, столь блестяще начавшаяся карьера Н. Л. Бенуа, тормозится и его творческая деятельность постепенно сводится к задачам более утилитарного, нежели художественного порядка. Чрезвычайно разросшаяся семья и, связанные с этим расходы, заставляют его искать заработка в сфере городского самоуправления и он выставляет свою кандидатуру в гласные Городской думы. После избрания в гласные, Н. Л. Бенуа вскоре назначается в члены Городской управы, в каковой должности он остается без перерыва более четверти века, почти до самой смерти, исполняя в то же время функции начальника Технического отделения столицы.

Из рассказов папы о своем прошлом меня особенно пленили те, что касались его пребывания в Италии и, в частности, в Орвието, где он со своими двумя закадычными друзьями Рязановым и Кракау провел два года, посвятив их целиком изучению того дивного архитектурного памятника, которым с таким правом гордится этот небольшой, живописно на скале расположенный городок «папской области». С утра до вечера они проводили за работой, обмеривая и зачерчивая каждую деталь Собора — для чего, с разрешения Св. Отца, были построены специально для них леса. Не желая оставаться в долгу перед таким одолжением, русские архитекторы, собственноручно и на свой счет, вымыли губками весь Собор, в том числе и мозаичные картины в его тимпанах и совершенно заросшие грязью тончайшие барельефы фасада. В память этого подвига была выбита медаль,

изображающая с одной стороны Собор, с другой же — носящая надпись с упоминанием всех трех добровольных реставраторов. Кроме того, каждый из них получил тогда же из папской халкографии по огромному, роскошно переплетенному, тому гравюр Пиранези. Через несколько лет результаты изучения Собора были изданы во Франции и до сих пор «увраж» этот считается образцовым для ознакомления с архитектурой Орвиетского собора.

Но не так история «подвига» трех друзей занимала меня в папином рассказе, как его воспоминания бытового характера а также всевозможные встречи и анекдоты. Папочка сохранил поразительно отчетливую память о тех счастливых годах, когда он с друзьями наслаждался красотами благодатного края и с энтузиазмом изучал разбросанные по нем создания человеческого гения, мечтая о великих делах, которые и он надеялся совершить по возвращении на родину. Надо при этом заметить, что, хотя все трое и получили воспитание в строго классическом духе (свою большую золотую медаль папа получил за проект биржи, «соответствовавший во всем идеалам античности»), однако, оказавшись в Риме, они (и в особенности мой отец), подверглись воздействию тех идей, которыми была тогда насыщена вся атмосфера Вечного города. Это было время, когда благочестивый Овербэк еще продолжал свою проповедь возвращения к средневековой чистоте, когда молодые живописцы обращали большое внимание на Беато Анжелико, Пинтуриккио и Перуджино, нежели на Рафаэля, когда особенным почетом стала пользоваться архитектура «романского» и готического стилей и когда особенно презиралось искусство барокко с Бернини во главе. Если выбор моего отца пал именно на Орвието, то это потому, что там возвышался один из самых замечательных памятников итальянской готики. Хотя мой отец и предпочел бы тогда же обратиться прямо к более выдержанным примерам стрельчатого стиля во Франции, Германии или Англии, однако регламент Академии требовал оставаться несколько лет именно в Италии, поэтому, «faute de mieux», он с товарищами и принялись за изучение Орвиетского собора. Утешением являлось то, что они верили в теорию,

согласно которой средневековая архитектура Италии имела много общего с древнерусской архитектурой, а возрождение этой отечественной архитектуры они ставили себе задачей по своем возвращении в Россию.

Атмосфера романтики наложила особый отпечаток на всё пребывание отца в Италии. Это был тот самый дух христианского Рима, отзвуки которого можно найти в творчестве лучших художников и поэтов того времени, съезжавшихся в Рим со всех концов Европы и ведших в стенах Вечного города обособленную космополитическую жизнь. Многих из этих художников и писателей, в том числе «самого» Овербэка, Моллера, Александра Иванова и Гоголя, отец мой знал лично. Он то встречался с ними в сборных пунктах иностранной колонии (например, в кафе Грэко), то посещал их на дому. Живо вспоминалась папе насупленная мрачность такого великого «смехотворца», каким представляется нам Гоголь в своих сочинениях и болезненное уныние автора «Явления Христа», внешний облик которого поражал своей карикатурностью (темные очки под высокой соломенной шляпой, поношенная разлетайка, вечный зонтик и галоши). Наружность Иванова и все его чудаческие манеры не мешали ему вместе с его сердечным другом, живописцем «Васей» Штернбергом, относиться к художнику-подвижнику, как к святому, а со своей стороны и Иванов делал для них исключение и не раз приоткрывал им двери своей замкнутой для всех мастерской...

Со Штернбергом, юным и высокодаровитым художником, отец дружил больше, чем с кем-либо. В периоды разлуки он вел именно с ним самую ревностную переписку, причем и он и Штернберг украшали свои письма бесчисленными чарующими рисунками. К великому горю отца, светлая дружба эта была нарушена кончиной Штернберга, для которого, как и для многих других уроженцев северных стран, пребывание в «райских» климатических условиях оказалось роковым. Он захворал скоротечной чахоткой, приведшей его к ранней могиле на кладбище у пирамиды Цестия, где вообще хоронили еретиков и схизматиков. Из других ближайших друзей отца я назову русских живописцев Фрикке и Скотти, скульпторов Рамазанова и Логановского, архитекторов

Росси младшего и Эпингера. Из них я уже никого (за исключением старичка Фрикке), не застал в живых, но мне кажется всё же, что я со всеми ними общался, до того мне знакома была их наружность, увековеченная в острых и чарующих рисунках и акварелях (часто незлобиво карикатурных) папы, до того я как бы даже изучил их жесты, тики и замашки. Приятельские отношения, которые у отца завязались с немецкими художниками, увенчались тем, что он был «посвящен в рыцари» знаменитого клуба, собиравшегося и пировавшего в гротах Червары. Рыцарский свой диплом и программы каких-то шутовских сборищ этой Червара Риттершафт папа хранил в своей «Семейной хронике». Я любил разглядывать те мастерские виньетки (офорты Нейрейтера), которыми они были украшены и теперь простить себе не могу, что я эти листы оставил на произвол судьбы в своей Петербургской квартире. Еще более досадую я на то, что, покидая навсегда свою родину и свой родной дом, я не захватил с собой всех тех работ самого моего отца, которые достались мне по наследству. Что бы я теперь дал, чтобы снова войти в их обладание, чтобы иметь возможность их изучать — в частности — любоваться тем листом, на котором в девяти эпизодах было изображено путешествие Н. Бенуа и его товарищей на пароходе из Анконы в Венецию.

А что за прелесть были путевые альбомы моего отца. Сколько в каждом пейзажном мотиве было вложено чувства природы, сколько понимания в каждом «портрете здания», сколько во всем меткости, вкуса и мастерства. Виды местностей чередовались в этих альбомах с архитектурными памятниками и с зарисовками жанрового и костюмного порядка. Особенно поразили отца в его поездке в Венецию разные типы, встречавшиеся на улице и на площадях. Грациозные водоноски с коромыслами, рыбаки и гондольеры, монахи всевозможных орденов, какие-то таинственные персонажи, кутавшиеся в широкие «альмавивы» и, наконец, молодцеватые, стройные австрийские военные в своих белых мундирах и синих рейтузах.

Разглядывание папочкиных альбомов (при дележе наследства каждому из нас досталось их по два) было

для нас большим праздником, но таким же праздником было это для самого отца, для которого всё, когда-то им в них зарисованное, оживало при этом разглядывании. Каждую страницу он сопровождал ценнейшими комментариями. Эти рассказы впрочем не касались наиболее интимных сторон его жизни, речь шла больше о художественных впечатлениях или о затеях, которыми он с товарищами тешился, например о том празднике, который был устроен в честь посетившего Рим К. А. Тона, для которого папа и Штернберг нарисовали целый ряд очаровательных картин. Однако, по некоторым намекам, чувствовалось, что папа там в Риме и в Орвието оставил и частицу своего сердца, что там у него, полного молодости и сил — были и романические, и довольно даже серьезные переживания. Самым счастливым периодом как будто бы были именно те годы, которые он провел в Орвието, где он устроился своим хозяйством... Холод бывал зимой чудовищный, в качестве освещения служила лишь одна лампа — лучерна о трех фитилях без абажура и стекла — и всё же папе и там удалось создавать тот уют, который он умел распространять вокруг себя. Работал он не только днями, но и вечерами. Тончайшие свои акварелированные чертежи, в которых иногда передан с абсолютной точностью каждый камушек мозаик «Космати»[2], он как раз делал при свете этой примитивной лампы. Удивительнее всего, что подобные упражнения не помешали папе сохранить безупречное зрение до глубокой старости и еще за год до смерти папа мог чертить и раскрашивать точно ему не восемьдесят четыре, а двадцать четыре года.

И в позднейшие времена папа заносил на бумагу всё, что его поражало, радовало или смешило. Так к весьма замечательным альбомам принадлежат те, которые были заполнены им в 1885 году, когда мы всей семьей гостили в имении у сестры Кати, а также тот альбом, в котором он день за днем увековечил лето 1891 года, проведенное им в Финляндии. Где-то эти, оставленные

---

[2] Предельной тонкостью отличается акварельный чертеж, изображавший надгробный памятник папы Адриана V-го в Витербо.

в Петербурге, чудесные серии — достойные фигурировать рядом с «Поездкой в Данциг» Д. Ходовецкого?

У отца была столь сильная потребность изображать и запечатлевать, что мне иногда думается, не была ли настоящим его призванием — живопись? Дня не проходило, чтобы при всей своей занятости скучными служебными работами, он что-либо не зарисовал, а нарисованное не раскрашивал. Технические его приемы могли казаться несколько устарелыми (это были еще всё те приемы, которыми пользовались мастера начала XIX века), но сколько во всем было знания, уверенности и меткости. Массы таких же акварельных рисунков иллюстрировали его письма к детям и родным, и едва ли не прелесть этих виньеток послужила причиной того вандализма, который был учинен теми, кто эти письма получали. Вместо того, чтобы хранить эти замечательные во всех смыслах «документы», мои братья, прельщенные картинками, вырезали их и наклеивали в отдельную тетрадку, бросая текст, как нечто, недостойное хранения. Особенно осчастливлены бывали такими иллюстрациями в письмах братья Николай, живший вдали от Петербурга — в Варшаве, и Михаил — во время его кругосветного плавания. Но наиболее замечательных два таких иллюстрированных письма моего отца принадлежали дочери Федора Антоновича Бруни (впоследствии генеральши Бентковской), которая получила их еще в бытность папы в Италии — тогда, когда самой Терезине было не больше десяти лет. Папочка любил и впоследствии вспоминать о когда-то поразившей его прелести этой девочки и, принимая в расчет необычайную «детскость» всей его натуры, ничего нельзя найти удивительного в том, что подобная корреспонденция могла завязаться между крошкой и тридцатилетним молодым человеком. Где-то теперь и эти драгоценные письма, украшенные через каждые пять строк чарующей виньеткой и хранившиеся дочерью Терезы Антоновны.

Из всего сказанного совершенно ясно, что папа был самым уютным человеком и, пожалуй, как раз эту черту уютности, скорее чуждую французам, следует приписать тому, что на целую половину папа был немец. Папочка был олицетворением Gemütlichkeit и, разумеется, если я

сам знаю толк в этом, если я, как мало кто, понимаю прелесть домашнего очага, если, читая Гофмана, Штифтера или разглядывая Людвига Рихтера и Швинда, я испытываю своеобразное, ни с чем не сравнимое, наслаждение, то это благодаря той «школе уюта», которую я прошел, живя в обществе своего отца. Однако, в свое время я не сознавал вполне всей этой прелести, не оценивал по должному выдавшегося мне счастья. Мне казалось, что это так вообще полагается, что иначе быть не может. Когда я вступил в неблагодарный возраст, я даже стал критиковать особую атмосферу нашего дома и вносил в нее какой-то, нарушающий ее гармонию, диссонанс. Но к двадцати годам мой бунт улегся совершенно, а к моменту моего вступления в самостоятельную жизнь создание уюта стало моим идеалом, осуществить который мне помогла моя жена.

Эта папина уютность имела два аспекта или два нюанса, смотря по времени года и в зависимости от того, где пребывала наша семья. Один аспект был зимний, другой — летний. Зимний уют имел своим центром папин кабинет, а в нем папин письменный стол. На этом столе, стоявшем посреди комнаты под висячей старинной медной лампой своеобразной формы, не только составлялись скучные сметы или проверялись еще более скучные донесения папиных подчиненных, но на нем же, расчищенном от всего лишнего, папа в виде отдыха раскладывал пасьянсы, клеил очаровательные игрушки и акварелировал. На этом же столе, рядом с большой бронзовой группой Лансере, изображавшей воз чумака, стоял поднос, в желобах которого покоились карандаши, гусиные перья, резинки и сургучи, а также фарфоровая чернильница совершенно особой формы. В углу комнаты в зимнее время топился дровами и коксом камин.

Кульминационного пункта уют папочкиного кабинета в зимнюю пору достигал во время вечерних семейных собраний. К этому моменту придвигался к помянутому письменному столу другой квадратный стол и за ним устраивались дамы — мамочка со своим рукоделием, ее подруга Елизавета Ильинишна Раевская, тетя Катя Кампиона (сестра покойной жены дяди Кости), почти ежедневно приходившая посидеть и кутавшаяся в се-

рую оренбургскую шаль, сестра Катя, а также другие родственницы. К дамам подсаживались мои братья, муж моей сестры Камиллы, друзья дома — «Зозо» Россоловский, Артюр Обер или «Саша» Панчетта. Иногда папа, не успев закончить свои служебные работы, продолжал свое дело в присутствии дам, ничуть не отвлекаясь их разговорами, но в большинстве случаев очередная работа к девяти часам была уже исполнена и тогда наступал счастливый для папочки момент, когда можно было приступить к пасьянсам. За другим письменным столом, тут же у окна, иногда образовывался второй кружок. Там, вокруг фарфоровой лампы, собирались гостившие у нас внуки, там сиживал и я, когда ко мне не являлись мои собственные гости, которых я обыкновенно уводил в свою комнату.

Папина способность «работать на людях» была прямо изумительной. Он не только мог продолжать начатое дело под чуть притушенный говор помянутого дамского кружка, но он с ангельским терпением выносил и возню детей, часто принимавшую довольно буйный характер. Мало того, он же сам устроил в широком простенке дверей в соседний зал висячие качели и на них-то, прямо за папиной спиной, производились и мной (лет до тринадцати) и моими племянниками самые рискованные, сопровождавшиеся визгами и криками, полеты. Всё это выносил папочка, и только, когда являлся кто-либо с деловым визитом или когда дамский уголок начинал протестовать, качели отвешивались и двери в залу затворялись.

Другим мучительством для папы являлась музыка, доносившаяся из соседней залы, где стояли рояль и фисгармония. Там в последующие времена я с Валечкой Нувелем на двух этих инструментах, и с величайшим фортиссимо, играли «Walkürenritt», увертюру Тангейзера, марш из «Нерона» и т. д. И всё это так же безропотно переносил папочка, лишь иногда обращаясь к нам с деликатной просьбой, чтобы мы хоть немного сдерживали оглушительную бурность нашего исполнения.

«Летний аспект» папочкиной уютности выражался в самой его внешности. Зимой и в «полусезоне» он был всегда одет, (если не в домашний халат), то в черный

сюртук при рубашке с отложным воротничком и с черным галстухом. Для выхода на улицу в морозные дни на голову одевалась старомодная бобровая шапка с выдающимся кожаным козырьком и тяжелая медвежья шуба; в менее суровые дни на голове у папочки появлялся котелок старомодного овального фасона, а на плечах разлетайка с пелериной. Летом же папа любил белые холщевые или желтоватые чесунчовые костюмы, а в качестве головного убора надевалась несуразно большая «панама»; серая легкая разлетайка служила верхней одеждой. Таким «светлым» я папочку помню или возвращающимся из «города» в Петергоф, на Кушелевку, в Павловск или же на даче, занятым какой-либо работой в саду. Без дела он не мог оставаться ни минуты и, если погода позволяла, то он усердно мел сад, очищал дороги от сорной травы, поливал цветники, что-то подпиливал и приколачивал. И всё это он делал с удивительной сноровкой.

Середина лета была отмечена рядом семейных празднеств. Начинались они 1-го (13-го) июля — днем рождения папочки, следовали именины кузины Ольги (11-го июля), мамочки и сестры Камиллы (15 июля), рождение сестры Кати (19 июля), именины жены Альбера Марии (22-го июля), а когда моя Атя вступила в нашу семью, то еще присоединились два праздника, ее именины (26-го июля) и день ее рожденья (9-го августа)... Однако из всех этих торжественных дней бесспорно самым торжественным было именно 1-ое июля. Уже к завтраку съезжались многочисленные папины сослуживцы, к обеду собирался весь синклит нашей многочисленной родни. Казалось, что самая погода наша северная, капризная погода щадила это сборище милых людей, ибо я положительно не помню, чтобы 1-го июля когда-либо шел дождь, а раз не было дождя, то совершенно естественно было устраивать стол (или столы), в саду. Вот это мы, дети, особенно любили, ибо в этом было что-то совсем необыденное — цыганское, кочевое, и в то же время нечто особенно веселое. Весело было видеть, как наши горничные при помощи разных пришлых служанок в светлых ситцевых платьях и белых передниках «летают», шурша накрахмаленными юбками,

с блюдами из кухни к столу, обнося ими гостей; весело было слышать, как выскакивают пробки из бутылок меда, пива и шампанского; странно и тоже весело было ощущать, вместо паркета, под ногами песок и беспрепятственно бросать на землю косточки и лакомые кусочки, которые тут же поедались собаками и кошками.

Обязательным на этих пирах был к завтраку колоссальный пирог с лососиной и вязигой, а к обеду Кавосский семейный суп — венецианское «ризи-бизи» — нечто столь вкусное, что ни один гость не отказывался от повторной порции, а мы, обжорливые ребята, съедали этого «ризи-бизи» и целых три тарелки. Впрочем, если день был особенно жаркий, то кроме этого горячего супа, сервировалась еще холодная, со льдом и с белорыбицей, ботвинья и я, отличавшийся особенной склонностью к обжорству, умудрялся не только съедать три тарелки первого супа, но еще и две второго. Да и не я один... И как это только выдерживали желудки? Как люди не заболевали? Мамочка и в эти дни не изменяла своей обычной умеренности, но гостей она потчивала усердно, приговаривая: «N'ayez aucune crainte — au grand air on peut se permettre certains excès»[3].

А после обеда столы убирались и на балконе дачи уже шли приготовления к чаю, за которым можно было еще наесться и простоквашей и варенцом или отсыпать себе на блюдечко изрядную порцию земляники или клубники. Между обедом и чаем по традиции затевалась игра в «бочи», в шары, до которой великим охотником был не только папа, но и многие его приятели. Но только игра эта не производилась у нас, как везде заграницей, на специально уготовленной площадке, а происходила она по обыкновенным вовсе не укатанным дорожкам, причем папочка, выбрасывая первый «маленький» шар, позволял себе разные шуточные вольности; он то запустит шар так далеко, что его едва станет видно, то, напротив, бросит чуть ли не себе под ноги. «Итальянцы» дядя Костя и дядя Сезар пытались в таких случаях протестовать во имя «правил» игры, но нам, детям, тем из нас,

---

[3] Не бойтесь: на свежем воздухе можно позволить себе некоторые излишества.

кого большие допускали до игры с ними, эти папины причуды доставляли особенную радость. Потешными были споры, возникавшие в тех случаях, когда два или три шара оказывались на почти ровном расстоянии от «маленького». Приходилось размерять эти расстояния платками, палками или шагами и тут в наших почтенных, всегда столь сдержанных дяденьках, вдруг прорывался их итальянский темперамент, бывало, что дело доходило и до негодующих криков... Это детям еще более нравилось — нравилось, что те самые дяди, которых нам ставили в пример, которых мы побаивались, становились сами похожими на нас мальчишек. Папочка же относился к этим спорам с невозмутимым благодушием.

В июне или в начале июля по вечерам света в Петербурге не зажигали, и это было так необычайно, так странно и так прелестно. Но в конце июля темнота наступала в 9 часов а с каждым днем затем всё раньше и раньше, и тогда приходилось зажигать лампы и свечи. Особенно мне нравилось, когда зажигались свечи в специальных подсвечниках, предназначенных для открытого воздуха. В них пламя было защищено стеклянным бокалом, а свеча автоматически подымалась по мере сгоранья, толкаемая снизу пружиной. Вокруг источников света роилась мошкара и мотыльки, налетали на них и тяжелые мохнатые ночные бабочки. Прелестная картина получалась за дачным чайным столом, не менее уютная, нежели зимние заседания в городе под висячей лампой.

Всё более и более сгущаются сумерки, листва и плетение ветвей начинают выделяться кружевным силуэтом на фоне лимонной зари, освещенный же первый план от контраста приобретает особую яркость. Такими летними вечерами обыкновенно ничего не делалось, пасьянсы не раскладывались, не производилась клейка, не рассматривались журналы или книги, а среди стихающей природы шла тихая беседа. Тут-то папа и любил вспоминать былое, рассказывать про Рим и Орвието, про государя Николая Павловича и его страшного министра Клейнмихеля, про свои академические годы. А то кто-нибудь из оставленных ночевать гостей начнет свой рассказ и, бывало, его так заслушаешься, что и самые настойчивые увещевания мамочки или бонны не заставят

меня пойти спать. Я очень любил, чтобы у нас ночевали — ведь так весело было, когда на составленных стульях, на диванах, чуть ли не на полу устраиваются постели, а за утренним кофием появляются чуть заспанные люди, которых в эту пору дня и в такой интимной обстановке никогда не увидишь.

Едва ли не эта самая склонность к уюту и отчасти сопряженная с ней незлобивость и непротивление злу помешали моему отцу при всем его таланте пройти весь тот триумфальный путь, который ему открывался с момента его возвращения из римского пенсионерства на родину. В нем не было и тени интригантства или хотя бы простой хитрецы, ему были омезрительны всякие хлопоты за себя и менее всего он был способен на пресмыкательство или подсиживание товарищей. И вот почему Николай Леонтьевич Бенуа, будучи несомненно самым даровитым и знающим из архитекторов своего времени в России, всё же остался в какой-то тени. Впрочем, пока был жив император Николай I (лично его отмечавший особенным вниманием), папе доставались и большие и очень значительные задачи. К самому замечательному, что сооружено по его проектам, принадлежат придворные конюшни в Петергофе, по своей величине едва ли не превосходящие знаменитые конюшни Кондэ в Шантийи. Это целый городок, выдержанный в характере английского средневековья, к которому питали слабость и мой отец и его державный покровитель. Сейчас принято иронизировать над всякой такой «псевдоготикой» и редко кто потрудится пересмотреть этот вопрос с тем, чтобы удостовериться, что вовсе не всё в этой архитектуре «эпохи Луи Филиппа, Николая I и ранней Виктории», грешит легкомыслием и плохим вкусом. Напротив, иные из сооружений того времени, (начиная с лондонского здания «Парламент Хауз»), неизмеримо более внушительны и даже просто прекрасны, нежели то, что за ними последовало и то, в чем современная архитектура воображает, что она, наконец, открыла новый, вполне идеальный стиль. Папины же Петергофские конюшни, как по общему замыслу, так и по изяществу деталей, не уступают лучшему, что в том же роде было создано на западе и в общем и целом представляют собой нечто

удивительно гармоничное, стройное и царственное. Но увы, на этом грандиозном сооружении и еще на нескольких постройках, тоже затеянных при Николае I, останавливается расцвет архитектурной деятельности отца — дальше же и до самой смерти, почти сплошь тянется нечто, если и почтенное, то несколько тусклое и не заслуживающее быть отмеченным историей искусства. Его менее даровитые товарищи успевают создать за тот же период несколько значительных построек: так Рязанов строит дворец в. к. Владимира Александровича и тот же Рязанов доводит до конца грандиозную постройку Храма Христа в Москве; Кракау строит и отделывает дворец барона Штиглица, ставший затем дворцом в. к. Павла Александровича; другие архитекторы, посвятившие себя разработке русского стиля, пользуются благодаря усилению националистских (точнее псевдо-националистских) теорий — особым успехом (Гедике, Гримм, Кузьмин и др.). Напротив, Н. Л. Бенуа должен довольствоваться постройками частных доходных домов и дач и такими скучными задачами, как Богадельня в Петергофе.

Тем не менее юбилейное чествование моего отца осенью 1886 года приняло характер настоящего «триумфа». Происходило оно в Центральном круглом Конференц-зале Академии художеств, при огромном стечении публики, под председательством брата государя Александра III, великого князя Владимира, бывшего президентом нашего высшего художественного учреждения. Нам, семье юбиляра, была отведена ложа над входной дверью и оттуда всё было видно, как на ладони. Мой, всегда столь скромный в своей внешности папа — выглядел, сидя между великим князем и принцессой Ольденбургской, совершенно преображенным. На нем был новый, украшенный золотым шитьем, мундир министерства двора и белые с золотыми лампасами панталоны. Грудь его была увешена орденами и звездами, а через плечо шла алая лента Св. Анны I-й степени. Вокруг амфитеатром заседали очень важные персонажи и в глазах рябило от золота придворных мундиров, от блеска звезд и орденских «кавалерий». Что-то очень лестное произносили, подходя к столу, депутации от разных учреждений и обществ и после каждой такой приветственной речи

из соседнего «Рафаэлевского» зала раздавался громкий трубный туш академического оркестра. Особенно же торжественным моментом был тот, когда великий князь, произнеся несколько слов своим зычно-сдавленным голосом, вручил отцу выбитую в его честь медаль с его профильным портретом. В этот знаменательный день Н. Л. Бенуа должен был считать себя «восстановленным в своих правах».

Увы, «иллюзия» такого восстановления — длилась только в течение нескольких еще дней, заполненных приемами, банкетами и даже молебнами. Вслед за этой праздничной шумихой помянутые иллюзии рассеялись, как дым, и папочка снова вернулся к своей обычной атмосфере, окруженный общим уважением, нужный для целой массы лиц, имевших до него дело и добивавшихся его ценнейших советов, однако всё же «отставленный и почти забытый». Впрочем, сам он в те юбилейные дни тяготился всем этим блеском и потому, когда он снова мог водвориться в свой уют, он почувствовал большое облегчение. Слава Богу, что вся эта суета миновала. Еще больше радовалась мамочка: кончились утомительные для нее хлопоты, прекратился стоявший шум от толп полузнакомых, а то и вовсе незнакомых людей; жизнь в нашем доме снова вошла в свои берега и потекла ровно, безмятежно, полная того душевного мира, с которым по истине ничто не может сравниться.

О поэтической уютности моей матери, пожалуй, труднее дать представление, нежели об уютности отца. Однако, в создании и в поддержке всей прелести нашего домашнего очага, участие их обоих было одинаково. Только у папы уютность носила оттенок чего то пожалуй германского (наследства от матери), с сильным привкусом и французского и русского начала, («русскость» папы между прочим выражалась в том, что он постоянно напевал русские народные песенки). Напротив, в мамочкиной уютности чувствовалась Италия. Мамочкина чуть меланхоличная «тишина» — очень типичная для Венеции, и этот легкий налет меланхолии был важным элементом в создании атмосферы нашего дома. То, что эта атмосфера была всё же полна свежести и чистоты — это было делом ее, впрочем не столько созна-

тельным делом сколько какой-то ее «эманацией». Одинаковое и всегда равное ко всем отношение сообщало нашему дому удивительный мир и благоволение, и это несмотря на то, что в нем жило столько далеко не смирной и вовсе не апатичной молодежи. В этом специально маме подвластном царстве бурлили всякие страсти, происходили маленькие драмы, завязывались и развязывались романы, но всё это происходило без того, чтобы от нее исходили какие-либо стеснительные правила и в пределах общего нерушимого мира и лада. В маме было что-то от идеально справедливого, беспристрастного судьи-миротворца. Не мало тревог, забот мы все восьмеро должны были ей приносить, а периодами каждый из нас порядком даже мучил ее; мучил ее подчас и папа по какой-то своей непонятливости в делах самых обыкновенных, но для него далеких, однако всё это как-то обезвреживали доброта и беспредельная снисходительность мамы, а также страх, который жил во всех нас, как бы ей не причинить слишком большое огорчение. Когда на ее лице, несмотря на усилие это скрыть, появлялось хорошо знакомое каждому из нас выражение страдания, то являлось только одно желание, чтобы вместо этого выражения снова вернулось ее нормальное, спокойное и милое выражение, нужное нам, как солнечный свет. Мне думается, что в глубине души мамочка была человеком страстным, быть может даже порывистым и нетерпеливым, но она еще в ранних годах сама занялась своим «укрощением» и к тому моменту, когда я стал ее осознавать, она уже в совершенстве владела собой и никогда не обнаруживала ни нетерпения, ни гневности; даже безобидные досадливые нотки вырывались у нее до крайности редко. И никто, как она не умел так действовать на совесть, будить ее, как она. Если же, пробудив совесть, она видела, что кто-либо из нас упорствует в чем-то таком, что уже никак она не могла приять, то она сдавалась, она уступала — и зато эта уступка ее оказывала свое действие на очень долгий период, а то и на всю жизнь. Упорствующий нес в себе это чувство задолженности и постепенно это чувство перерабатывало его внутри.

Что же касается того, чем она была для папы, какой

она была ему женой, то об этом я не могу судить. Мне только кажется, что всё «благоухание» нашей домашней атмосферы исходило именно из их «романа». Роман этот начался с настоящего «coup de foudre» во время бала, в квартире ректора Академии художеств, знаменитого живописца, Федора А. Бруни. Совершенно юную, только что выпущенную из института, Камиллу Кавос вывозила, как я уже упомянул, в свет ее мачеха Ксения Ивановна, бывшая всего на несколько лет старше своей «дочери» и обращавшая на себя общее внимание своей царственной красотой и туалетами. Мамочка же была очень скромная и робкая барышня, еще не привыкшая к шуму блестящих собраний. Тем не менее именно эту «фиалку» заметил и отметил на том, памятном в анналах нашей семьи, балу, тридцатичетырехлетний Николай Бенуа, недавно вернувшийся из чужих краев и уже особенно отмеченный благоволением грозного и великолепного Государя. Да и смоляночка, после первого же контрданса, поняла, что этот, не совсем уже молодой, человек, ее суженый-ряженый. Через несколько недель папа сделал предложение, а через несколько месяцев, 15-го сентября 1848 года, произошло бракосочетание в прекрасной церкви Пажеского корпуса, находившейся в той же группе зданий, в которой помещалась и казенная квартира деда. И с самого того дня молодые поселились в той квартире, в которой до них жила моя бабушка Екатерина Андреевна Бенуа, и в которой они прожили затем в безмятежном единении всю жизнь. Единственной непроизвольной «изменой» мамочки можно считать то, что она первая ушла от своего мужа в иной мир, существование которого ей казалось мало вероятным. Но папа верил в этот мир и ему послужило великим утешением то, что в течение тех семи с половиной лет, которые он прожил оставленный ею, он не переставал надеяться, что снова соединится со своей обожаемой «Камилунзой».

Скажу еще несколько слов об этом маловерии или даже неверии мамочки. Оно было совершенно особого рода. Это было ее интимным делом, она никому его не навязывала, она и не была кому-либо обязана этим отсутствием религиозного сознания. Она не верила, ибо не находила в душе нужной подсказки и подтверждения.

Тут сказывалось, как отсутствие того, что называется благодатью, так и ее отвращение перед всяким обманом или самообманом. Думается что сложилось это ее неверие постепенно и не без некоторой борьбы. Случилось, вероятно, так, что наперекор сильнейшему желанию эту благодать (о чем она имела определенное представление) сохранить, она ее всё же утратила, а, утратив, не смогла приобрести снова. В позднейшие времена впрочем никакой такой борьбы уже в ней не чувствовалось, но оставалась лишь печаль и покорность. Всё это имело самую подлинную «абсолютно честную» основу, и не было в маме и тени каких-либо модных в те времена материалистических убеждений. Она просто не была способна сама перед собой лгать.

В заключение еще несколько слов о мамочке, как о хозяйке, ибо в этой сфере заключалось ее настоящее призвание, выражался ее талант. Образцовое ведение ею хозяйства не мало способствовало созданию благосостояния нашего дома и его уюта. Сохраняя и в этой сфере свое обычное невозмутимое спокойствие, она, однако, входила решительно во всё и, мало того, — не только в пределах собственного своего дома, но еще бдительно следя за хозяйственной жизнью своих детей. Если однако у себя она была полномочным и неоспоримым диктатором, то за пределами своего дома, (с поразительным тактом), она предоставляла себе лишь совещательный голос. Иначе говоря, мама была «идеальной тещей» и я не помню случая, чтобы между ней и теми, кто через брак вступали в состав нашей семьи, у нее возникали хотя бы самые незначительные трения.

Глава 8

НАША ПРИСЛУГА

Изо дня в день, без передышки, даже в дни недомогания, мама тянула свою «лямку». Такое вульгарное выражение однако в применении к ней требует оговорки, ибо этими словами «сама» мамочка во всяком случае не называла то, что было ее «призванием», «приятным долгом», «делом жизни». Ее отношение к этому делу напоминало священнодействие. Никогда ни ропота, ни жалобы — и лишь изредка тихий вздох — то вызванный простой физической усталостью, то выражающий огорчение, вызванное неряшеством или недобросовестностью ее прямых подчиненных и сотрудников, иначе говоря нашей домашней прислуги.

Прислуга у нас была исключительно женская (единственные крепостные моих родителей — лакей, кучер и конюх были отпущены еще до 1861 года). Но кухарка, прачка и судомойка часто менялись, тогда как обе горничные были постоянными. Их я увидел впервые, когда ничего еще не сознавая, я лежал в своей колыбели, их же я и видел каждодневно, они же оставались у нас в доме до самого того момента, когда этому дому настал конец в 1899 году.

Несколько слов нужно посвятить и этим «блюстительницам нашего домашнего порядка» и это тем более, что они с течением времени превратились в нечто вроде членов семьи. К ним не без «решпекта» относились и наши знакомые, называя обеих по имени, а мамину горничную даже и по отчеству. Эта «Ольга Ивановна» была сугубо почтенной особой, проводившей большую часть времени либо на кухне за глажением белья, либо у себя в темноватой комнатке, странным образом освещавшей-

ся откуда-то сверху, за штопкой и починкой. В господскую половину она заходила только для того, чтобы принять участие в утренней уборке спальных, в приготовлении ванны, а по какой-то курьезной аномалии и для того, чтобы затопить камин исключительно в моей комнате. На время починки белья она одевала очки в железной оправе, скрепленной нитками и тогда она становилась еще более почтенной. Вообще же это была тощая, очень некрасивая девица, которую я всегда считал «старой», хотя в первые годы моего существования ей было не более тридцати пяти лет. Ольга Ивановна Ходенева была бывшей крепостной, однако, находясь в доме своих помещиков на положении «подруги барышень», она получила некоторое воспитание, умела читать и писать, что одно давало ей преимущество перед всеми ее, сплошь неграмотными коллегами.

Ко мне Ольга Ивановна относилась с особым вниманием, но без тени какого-либо искательства и даже без особенной ласковости. Я уже был большим балбесом, а она всё еще считала своим долгом не только помогать мне одеваться, но и помогать мне мыться в ванне. Это даже был целый ритуал, который мы оба ценили, но вовсе не из каких-либо «гигиенических соображений», а из соображений театральных. Ольга Ивановна в те времена была страстной театралкой и улучала всякий удобный вечер, чтобы пойти в театр — чаще всего в соседний Мариинский, где в те времена, в очередь с русской оперой, которой она не интересовалась, давалась русская драма. Вот после каждого такого спектакля она принималась мне рассказывать содержание пьесы и описывать все особенности игры своих любимцев, причем рассказ начинался с самого того момента, когда я влезал в ванну, а завершался во время вытирания простыней или даже тогда, когда «уложенный в постель» я пил вечерний чай. В такой «послеванный ритуал» входило и то, что и чай я пил в постели непременно из стакана и закусывая черным хлебом с маслом, что в другое время не полагалось. Рассказывала Ольга Ивановна не без таланта, живо переживая всякий момент, заливаясь до слез хохотом при передаче комических сцен и, напротив, принимая очень серьезное и даже скорбное выражение,

когда речь шла о драме, нередко кончавшейся смертоубийством.

Но увы, эти то наши театральные собеседования неожиданно оборвались. Ванночки я продолжал брать и Ольга Ивановна продолжала, лет до 13-ти, мне мыть ноги и спину, а также помогать вытираться, но самый источник ее рассказов иссяк, и это по совершенно необычайной причине — потому что приехала в Петербург на гастроли... Сара Бернар. Ольга Ивановна любила не только театр, но и церковь Божью, и особенное внимание уделяла она проповедям отца Палисадова, которые этот священнослужитель держал в своей церкви при гимназии Человеколюбивого общества (моей первой гимназии), находившейся в двух шагах от нас на Крюковом канале. Отец Палисадов и вообще не очень то одобрял тех из своих пасомых, которые хаживали в театр — учреждение, несомненно, бесовское, однако эти запреты не принимали акутного характера, пока ни приехала парижская дива. Когда же она приехала, и весь Петербург стал неистовствовать от восторга перед ней и простаивать ночи, чтобы получить места на спектакли, то батюшка Палисадов воспылал гневом и от благодушных укорений перешел к громам и чуть ли не к проклятиям. В сущности, едва ли из той паствы, которая собиралась в храме, кто-либо грешил тем, что ходил любоваться, как она «ломается», и менее всего наша Ольга Ивановна имела охоты послушать «Даму с камелиями» на непонятном ей французском языке. Однако, именно с этого момента вечерние проповеди вознегодовавшего отца Палисадова приняли неистовый и в то же время столь убедительный характер, что бедная наша театралка до глубины души оказалась потрясенной ими и тогда же приняла решение больше в театр не ходить. Свой этот завет она строго исполняла, а я лишился своей театральной Шехерезады.

Полным контрастом Ольги Ивановны была Степанида, которую обыкновенно звали Степой и к которой обращались на «ты» тогда, как Ольгу Ивановну величали на «вы». Степанида была сущая деревенщина. Она была взята в дом в качестве кормилицы брата Михаила (в 1862 г.) и затем так и застряла навсегда, однако реши-

тельно не поддаваясь какой-либо цивилизации. Она неаппетитно хлюпала носом, иногда даже украдкой сморкалась в пальцы, любила выпивать, имела говор типично простонародный, с растяжкой, а временами скороговоркой, бухалась в случае провинности господам в ноги, крестилась, божилась и клялась, охотно наговаривала на других, на кухонных же балах плясала до упаду, была сердцеедкой и обладала очень влюбчивым сердцем. От дворника Василия она прижила несметное количество детей, которые однако перемерли в младенчестве.

Мы, барчуки, имели привычку шутить со Степанидой, ее дразнить и разыгрывать. Какие-либо наши пожелания мы высказывали непременно в форме приказов. Мы делали Степаниде и грозные выговоры, а иногда даже, к великому огорчению мамы, колотили ее по ее сутулой спине, что впрочем, несомненно, ей самой нравилось, ибо она при таких расправах только хихикала и приговаривала: «Да ну вас, Шуренька (Мишенька, Коленька). Ведь больно, больше, ей Богу, не буду. Ишь рука какая тяжелая, даром, что маленький». Когда Степа выходила со двора, то она довольствовалась тем, что кутала голову в платок, а на себя надевала какую-то ветошь с барского плеча, тогда как у Ольги Ивановны водились шляпы с цветами и с перышками, в зимнее же время она щеголяла в атласной ротонде с меховым воротником.

По странной игре судьбы — классовое их положение было как раз обратное их «положению в свете». Степа, по паспорту, была «панцырной бояркой», т. е. вдовой «панцырного боярина», следовательно «почти дворянка»[1], тогда как Ольга Ивановна родилась в крепостном состоянии, а получила свободу всего девять лет до моего рождения. Впрочем, Степанида ничуть не кичилась своей, весьма относительной знатностью (да к тому же муж ее давным давно пропал без вести), а узнали мои роди-

---

[1] Сословие панцырных бояр восходило до времени Иоанна Грозного, при котором были поселены по границе с Литвой мелкопоместные дворяне на обязанности которых лежало владеть панцырем и конем. Представителей этого курьезного пережитка было в XIX веке всего не больше горсточки, да возможно, что муж Степаниды был единственным и последним из этих служилых людей...

тели об этом ее ранге только из паспорта, содержание которого неграмотной Степаниде было неведомо.

Типичнее всего Степанида становилась в дни своих именин, которые праздновались в нашей обширной кухне при сборе всей соседней дворни. Это были гомерические пиры, на которые уходило не мало из ее сбережений (значительную часть таковых составляли те на-чаи, которые она получала с гостей в особо торжественные дни — на именины моего отца и на Новый год). Зато какое же обилие и разнообразие всяких яств было тогда разложено по бесчисленным тарелкам и блюдам. И сколько же бутылок пива и водки выстраивалось рядами по подоконникам и просто на полу. Всё это за ночь поглощалось и выпивалось и одновременно специфический дух от этой вакханалии распространялся, несмотря на тщательно закрываемые двери, по всей квартире. Доносился из далекой кухни и шум многолюдного общества, а также звуки гармоники и скрипки, под которые шел неистовый топот сапожищ по полу, сопровождаемый обязательно криками и визгами «дам».

В начале такого пира я еще решался, одолеваемый любопытством, заглянуть, что делается на кухне — но и это было рискованное предприятие, ибо меня схватывали какие-то руки и начинали меня тискать, а уже сильно пахнущая вином Степанида набрасывалась на меня и наровила поцеловать в губы, что я терпеть не мог и что вообще не полагалось. При таких посещениях я видывал Степаниду, нашу раболепную почтительную Степаниду, уже в состоянии какого-то оргиастического исступления. Помахивая платочком, подняв передник, она или топталась на месте или «плыла лебедем», как-то боком, тем временем, как у ног ее откалывал присядку губернаторский кучер с двумя другими бородачами. Плясали и другие, но бесноватее всех плясала именинница. И в эти минуты она молодела на двадцать лет, спина ее выпрямлялась и в движениях рук была даже известная грация. После 11-ти часов, т. е. в разгаре бала, мне было строго запрещено проникать на кухню, да и сам я туда не пошел бы — до того там было начадено, накурено, до того жуткие звуки доносились оттуда.

Глава 9

НАШИ ПОСТАВЩИКИ

В обыкновенные дни хозяйственные заботы заполняли лишь мамочкино утро (тогда же происходило выслушивание доклада старшего дворника), но часто попадались у нас «более ответственные» дни, и тогда мамочкина служба начиналась накануне и поглощала всё ее время. В эти отмеченные дни, будь то очередной dîner de famille[1], или большой званый завтрак, или вечеринка с ужином (не говоря о событиях первого ранга — вроде свадеб, крестин, балов и юбилейных торжеств), мамочка делала самолично обход своих поставщиков и тогда на эти закупки всякой снеди уходили многие часы. Правда, большинство нужных ей лавок помещались недалеко от нас в Литовском рынке, но, кроме того, надлежало посетить погреб французских вин Рауля на Исаакиевской площади и проехать на Малую Морскую в кондитерскую Берен заказать мороженое и всякие сласти[2]. На эти экспедиции мамочка, в качестве прогулки «для моциона» часто брала меня и я в этих случаях шел охотно (питая наоборот ненависть к простой бесцельной

---

[1] Семейный обед.

[2] О телефоне только только начинали поговаривать, как о курьезном открытии, в начале 1880-х годов, но общественного применения он до начала 1890-х гг. не имел. Приблизительно в 1885 г. была проведена первая проволочная линия, но она обслуживала исключительно царскую резиденцию Гатчина и соединяла один из покоев дворца со сценой Мариинского театра. Благодаря этому члены императорской фамилии могли, не отправляясь в небезопасную в те времена поездку, слышать любимые оперы, сидя вокруг центрального приемника и вооружившись каждый трубкой, приложенной к уху. Этот гатчинский телефонный провод поддерживаемый специальными столбами, как раз проходил мимо нашего дома.

прогулке) — не только к Берену, где приятные мамзели меня угощали конфетами, но и в другие места — по-разному манившие, главным образом своими... запахами.

О, эти заседания мамы на деревянном ларе в лавке колониальных товаров купца Васильева в Литовском рынке! Почему я о них сохранил столь отчетливое воспоминание, что, кажется, и теперь мог отличить тембр звякавшего при открывании двери колокольчика, хотя с последнего моего посещения этой лавки прошло больше полустолетия? Не потому же, что и здесь мне иногда перепадало какое-либо лакомство (ведь лакомств у нас в доме было достаточно) и не потому, что я мог погладить и пощекотать своего любимца — огромных размеров кота Ваську, восседающего на прилавке у самых весов. Скорее всего мне льстило то вкрадчиво-заискивающее обращение важного медлительного, по-купечески одетого самого Василия Петровича и в то же время меня пленил весь бытовой ансамбль этой торговли вовсе не живописной, но во всем «ладной» и характерной. Своими двумя окнами и стеклянной дверью лавка выходила на тот перекрытый сводами ход, что огибал со всех четырех сторон рынок, прерываемый лишь там, где находились ворота, через которые можно было въехать в обширный общий двор. Поэтому в лавке царил полумрак и в темные зимние дни в ней зажигалась с утра висячая керосиновая лампа. Отделка лавки была простого светлого вощеного дерева, включая сюда и перерезывающий ее во всю ширину прилавок, из-за которого можно было выйти в переднее помещение, приподняв среднюю доску. Справа к прилавку примыкал такого же дерева ларь-диван с высокой прорезной спинкой. Слева в стену был вделан мраморный камин (никогда не топившийся), а на нем — единственным чисто декоративным элементом помещения, красовались бронзовые золоченые часы под стеклянным колпаком. По стенам на полках стояли бутылки с винами и наливками, банки с леденцами и консервами, а также целый батальон наполовину завернутых в синюю бумагу сахарных голов. В специальных ящиках и витринах лежали пряники, халва разных сортов и неприхотливые конфеты. В бочках же хранился погруженный в опилки виноград разных сортов, сохранявший свою све-

жесть в течение всей зимы. Всё это было самое обыкновенное, но всё это носило характер солидности и добротности и это внушало уважение даже мне, шести-восьмилетнему мальчику.

Впрочем, больше всего меня пленял лавочный ритуал. Как только отворится, звеня колокольчиком, входная дверь и старший приказчик уяснит себе, что вошла «Камилла Альбертовна», так он уже вскидывает доску прилавка и бежит к ней навстречу, низко кланяясь. И сейчас же следом из внутренних покоев, из какой-то темной святая святых, выступает сам хозяин, с картузом на седых кудрях, с большущими очками на носу. И тогда мама усаживает меня на ларь-диван, сама садится рядом к самому прилавку (там, где стояла конторка и лежали счеты) и начинается на добрые полчаса конференция. То и дело один из приказчиков ныряет в святую-святых и является оттуда с лежащим на кончике ножа тонким, как лепесток, куском дивного слезоточивого швейцарского сыра, или с ломтиком божественной салфеточной икры, или с образчиком розовой семги. Но копченый золотисто-коричневый сиг выносится целиком и его приходится оценивать с виду лишь чуть дотрагиваясь до его глянцевитой, отливающей золотом кожи, под которой чувствуется нежная масса розовато-белого мяса. Приносятся и черные миноги, и соленые грибки, а в рождественские дни всякие елочные, точно свитые из металла крендели, румяные яблочки, затейливые фигурные пряники, с целыми на них разноцветными барельефами из сахара. Эти пряники не полагалось кушать; считалось, что это вредно, но было бы и жаль съедать такие шедевры причудливого народного искусства[3]. Всякую вещь Васильев умел охарактеризовать с тонкостью, с вежли-

---

[3] Впоследствии и незадолго до того, что эти фигурные пряники исчезли я собрал коллекцию из них, но через очень короткий срок обнаружилось, что они поедены червями, да и краски фигур побледнели. Тогда же я узнал и имя того мастера, специальностью которого было создание этих съедобных барельефов. Его звали Увакин. Да сохранится хотя-бы здесь память об этом народном художнике-поэте. Чего-чего нельзя было найти на этих фигурных пряниках: и русалок, и амуров, и пылающие сердца, и рыцарей на конях и генералов, и цветы и фрукты...

вой строгостью отрекомендовать, а когда всё было забрано, то начиналось щелканье на счетах и записывание в книгу, лежащую на окаймленной галерейкой конторке. Если во время конференции в лавку входили другие покупатели, то их обслуживал приказчик, сам же Васильев никогда бы не дерзнул оторваться от совещания с «генеральшей Бенуа», а генеральша не спешила, обдумывала, принимала и отменяла решения, заставляла снова бежать за какой-либо пробой. Было что-то внушительное и трогательное в этой своеобразной, основанной на взаимном уважении, беседе между моей тихой, совершенно не требовательной для себя, совершенно не лакомой мамочкой и этим степенным и даже строгим стариком, великим знатоком в своей области, умевшем уловить желание клиента с полуслова...

Другим фаворитом мамы на рынке был ютившийся в погребном помещении (под помянутым сводчатым ходом), зеленщик Яков Федорович. В этой лавке, с ее почти всегда на улицу отворенной дверью, зимой стояла стужа, а хозяин, дабы не замерзнуть, вынужден был непрестанно подчеваться чаем. Три проворных мальчика шмыгали, как крысы, принимая отрывистые приказания, снимали со своих мест товары, укладывали, вешали, завертывали то и дело приговаривая: «Еще чего не прикажете»? Если у Васильева пахло чем-то пряным, заморским, далеким, то здесь пахло своим: лесами, огородами, травой, дичью. Здесь вас встречала при входе висящая оленья туша в своей бархатистой коричневой шкуре, здесь кучками, отливая бурыми перышками, лежали рябчики, тетерки, а среди них красовался черный с синим отливом глухарь. А сколько еще всякой живности было вперемежку со всевозможными произрастаниями, начиная с едва пустившего тоненькие побеги крес-салата в аппетитных миниатюрных, выложенных ватой, корзиночках, кончая морковью, репой, свеклой и луком. У Якова Федоровича была довольно-таки жуликоватая физиономия, но я сомневаюсь, чтобы и он дерзал надувать госпожу Бенуа, — уж больно ценилась такая покупательница, уж больно она сама во всё входила, всё самолично проверяла. От Васильева закупленный товар присылался; из зеленной огромную корзину тащил прямо за нами один из мальчи-

ков и делал он это с удовольствием, ибо знал, что получит целый двугривенный на-чай.

Всего, впрочем, про Литовский рынок не перескажешь, хоть и соблазнительно было бы в воображении проникнуть в мучной лабаз, учреждение довольно унылое, где хозяин был неимоверной тучности, но где мне нравилось то, как медными совочками черпаются из мешков крупы для моих любимых каш: ячменной, смоленской, пшенной, гречневой, манной и ими заполняются с потрясающей сноровкой свернутые из бумаги «фунтики». Здесь опять-таки удивительно тонко, солидно и сдобно пахло, вызывая в представлении поля, мельницы, печи с хлебами и пирогами. Впрочем, больше всего из запахов я, пожалуй, любил те, которыми была напитана колбасная и самая простецкая из всех лавок — «мелочная». Но тут я уж отступаю от принятой топографической системы, ибо «наша» колбасная лежала на углу Екатерингофского и Вознесенского проспектов, тогда как «наша» мелочная, принадлежавшая торговцу Ключкину, занимала с незапамятных времен угловое помещение в первом этаже самого дома Бенуа. Запах колбасной интернационального характера. Так же вкусно пахнет всюду, где торгуют всякими наперцованными и копчеными изделиями из свинины — будь то в России, во Франции или в Германии. Но запах русской мелочной нечто, нигде больше не встречающееся, и получался он от комбинации массы только что выпеченных черных и ситных хлебов, с запахами простонародных солений — плававших в рассоле огурцов, груздей, рыжиков, а также кое-какой сушеной и вяленой рыбы. Замечательный, ни с чем не сравнимый, это был дух, да и какая же это была вообще полезная в разных смыслах лавочка; чего только нельзя было в ней найти, и как дешево, как аппетитно, в своей простоте, сервировано. Однако, закупать в мелочной лавке мамочке не нужно было — туда посылалась Степанида, которая в лавку проникала не с улицы, а со двора — по-домашнему.

Глава 10

МАМИНО ПАРАДНОЕ ПЛАТЬЕ

Насколько мама была бдительна в отношении сохранения декорума в нашем семейном обиходе, настолько же она была индиферентна к «личному декоруму». Меня даже иногда коробило от того, до чего скромно мамочка была одета. И я думаю так было и тогда, когда меня еще не было на свете, когда она была той стройной, совсем молодой женщиной, которая представлена на портрете Капкова. Ведь в этом изображении есть нечто «аскетическое», чуть ли не квакерское. Золотая лорнетка, которую она держит в руках, и венецианские кружева у ворота только подчеркивают эту скромность. У мамочки в спальне, как всегда тогда полагалось, стоял специальный туалетный стол работы Гамбса — с зеркалом в изогнутой раме и с десятками всяких ящиков для драгоценностей и косметики. Самых этих «бижу» у нее было не так мало, но кроме подаренной когда-то женихом эмалевой брошки в виде цветка Иван-да-Марья, она из этих сокровищ ничего не носила, а когда обе ее дочери вышли замуж, то девять десятых маминых драгоценностей перешло к ним, а самый туалетный стол оказался у сестры Камиши, после чего мама уже причесывалась перед своим маленьким зеркальцем, попросту стоявшем на комоде. Причесывалась она всегда на один манер, гладкими, разделенными пробором, прядями с шиньоном из ее же волос, пришпиленным на затылке.

Всего же замечательнее то, что у матери за всю ее жизнь было всего одно вечернее платье. Сшито оно было, как подвенечное, в 1848 году, но затем добротный без износу шелковый штоф выдержал целых сорок лет, подвергаясь бесконечным перешиваниям, чисткам, а то и

перекраске. Когда близилось какое-либо торжество, на которое «нельзя было не ехать», то на-дом приглашалась портниха, статная пожилая и очень скромная дама (в остальное время шитьем и перешиванием была занята жалкая смешная карлица синьора Тарони, которую мои братья дразнили, рифмуя ее фамилию с макарони) и тогда, сначала происходил так называемый Conseil de guerre[1], в котором участвовали и мои сестры и тетя Лиза Раевская. «Вечное платье» надлежало еще раз подогнать под моду дня и под изменившееся с годами сложение самой мамочки. Из преувеличенно длинного шлейфа выкраивались воланы, перехваты, буфы, приходилось раздать бывшую «рюмочкой» талью, изменить форму выреза. Сколько раз папа настаивал на том, чтобы мамочка сделала себе новое парадное платье, но она об этом и слышать не хотела. Впрочем, для полуторжественных обедов и для театра она себе сделала еще два платья, темного цвета — одно бархатное и одно канаусовое — но от форменно вечернего, бального она решительно отказывалась. В конце концов, от шлейфа остался лишь куцый кусочек, а в целом «вечное» платье из белого превратилось в светло-фиолетовое. Могло и так сойти.

И всё же среди моих воспоминаний о матери, вообще озаренных поэтичным, но ровным мирным светом, остается одно, в котором этот «сероватый» свет уступает более яркому и торжественному: у мамочки тоже был момент своего рода «апофеоза». Я и ее увидал dans toute sa gloire и чуть не захлебнулся от гордости, когда убедился, что и она может быть такой блестящей и нарядной дамой, как некоторые наши знакомые. Это был тот момент, длившийся не более четверти часа, когда мама, одетая в только что перешитое платье, с роскошной наколкой из бантов и серебряных кружев на голове, причесанная парикмахером, с веером в руках, обтянутых кремовыми перчатками, с букетом искусственной сирени на плече, надушенная и сосредоточенная, стояла в ярко освещенной зале в ожидании кареты. Особенно меня поразили нити жемчуга; толстые золотые браслеты и три рубиновые запонки, которые были на-

[1] Военный совет.

шиты на темно-лиловую бархатку, обхватывающую ее еще не отучневшую шею. Откуда только появились все эти Diamanten und Perlen? Мне казалось, что я вижу самое царицу, я прямо не узнавал мамы, тем более, что у нее и выражение в тот вечер было совсем особенное, не лишенное известной важности. Казалось, она говорила: вот я какая, вот какая я всегда могла бы быть — не хуже других и, несмотря на маленький рост, не менее величественная, нежели всякие знакомые модницы. Если же я только сегодня такая, а завтра и вообще никогда больше такой не буду, а снова приму свой образ Сандрильоны, то это потому, что мне так хочется, чтоб всем вам лучше жилось и чтоб моему бедному Николá не приходилось еще изнурять себя работой. Этот необычайный парад мамочки был тогда вызван приглашением на какой-то большой бал (кажется у Жюля Бруни) и бывшие на том знаменитом балу люди потом рассказывали о той сенсации, которую произвело появление Камиллы Альбертовны в таком необычайном виде.

В том же вечном платье мамочка положена в гроб и в могилу. Какой милой, спокойной, довольной казалась она, когда в последний раз я ее поцеловал в лоб, в любимое свое местечко — между двумя крошечными родимыми пятнышками — одним красным и одним синеватым...

Глава 11

ТЕТЯ ЛИЗА

Единственной подругой мамы была Елизавета Ильинишна Раевская. Ее все в семье звали тетей Лизой, хотя на самом деле никаких родственных связей между ею и нами не было, а была она товаркой мамы по Смольному институту, и нежнейшая дружба, завязавшаяся еще тогда между Лизой и Камилей, продлилась затем между ними на всю жизнь. Впрочем, и после смерти мамы, тетя Лиза продолжала у нас бывать каждый понедельник, и, кроме того, во всех особенно торжественных случаях. Вообще с товарками-смолянками мама, кроме тети Лизы и княгини Касаткиной-Ростовской, рожденной Норовой, знакомства в дальнейшей жизни не поддерживала, но княгиня умерла, если я не ошибаюсь, еще в семидесятых годах, тогда как тетя Лиза пережила маму на целых десять лет. Могла бы она прожить и дольше, если бы не несчастный случай — бедняжка обгорела, опрокинув на себя горящий бензин, «бензинкой» же она пользовалась потому, что была очень бедна и, снимая комнату в доме дешевых квартир на Лиговке, сама себе готовила еду. Средства ее состояли из пенсии, получавшейся ею со смерти отца — одного из героев Отечественной войны (я так и не удосужился узнать, какую роль играл в ней Илья Раевский), и из ничтожного жалованья, которое она получала, служа в Ведомстве императрицы Марии.

Эти биографические данные ничего не говорят о том, что за личность была тетя Лиза Раевская. Между тем это была, несомненно, очень особенная личность, не по своему общественному положению (о своих аристократических родственниках она не особенно любила говорить и считала себя несколько обиженной ими), не по

уму и талантам, а потому, что она была типичной представительницей отжившей и уже забытой эпохи. Мама успела за свои супружеские годы утратить всё «институтское», она, может быть, и вообще не была никогда типичной смолянкой. Напротив, Елизавета Ильинишна Раевская, несмотря на свой преклонный возраст, производила впечатление только что выпущенной из стен Смольного девицы, и даже не столько выпущенной, сколько «выпорхнувшей» — точно вчера только она исполняла экзаменационный «па де шаль»! И вся она была полна какого-то затаенного восторга, то и дело вырывавшегося наружу. Она и к Камилле питала именно такое институтское восторженное чувство, тогда как отношение мамы к ней не было лишено легкой и благодушной иронии. Еще можно так сказать: тетя Лиза была типичной старой девой, тогда как мама была типичной матерью семейства. Этот контраст не мешал им нежно любить друг друга и, если мама и посмеивалась иногда над ужимками своей подруги детства, то она и бесконечно ее уважала за кристаллическую ее чистоту душевную, за ее правдолюбие (правдолюбие у мамы доходило почти до мании), и в то же время маме было сердечно жаль ее Lise, жизнь которой в сущности сложилась очень и очень неудачно.

Сама тетя Лиза, впрочем, как будто не сознавала эту неудачливость или же умела скрывать такое свое сознание. Скорее она, действительно, не сознавала — и в этом была одна сторона ее типичного стародевичества. Она была старой девой «по призванию», у нее был талант быть старой девой. Мало того, это стародевичество сообщало ее жизни какую-то жеманную и чуть гротескную изящность. Она гордилась, что осталась барышней, гордилась даже тем, что вся ее наружность была столь «типичной». Она гордилась своим далеко выдававшимся вперед «римским» носом, своими черными, гладко-гладко причесанными волосами, своей худобой, своей прямой осанкой, своими костлявыми руками, своей длинной шеей — иначе говоря всем тем, что именно и слагалось в несколько карикатурный образ старой девы — в тот тип «спинстер», который был так использован английскими рисовальщиками и романистами. Да и поступки

тети Лизы соответствовали тем поступкам, которые приписывают старым девам Диккенс или Теккерей. Так в продолжение целой зимы (кажется 1879 г.) она забавляла нашу семью переживаемым ею «романом». В нее якобы влюбился какой-то отставной генерал, оказавшийся с ней рядом в конке и вступивший с ней в разговор, начав с заявления, что он еще никогда не встречал такого классического носа. Несомненно, старый хрыч вздумал потешиться над действительно поразившей его, казавшейся удивительно старомодной дамой. Но тетя Лиза, что называется, «клюнула» на эту удочку и в продолжение нескольких месяцев мы от понедельника до понедельника могли следить за развитием этой авантюры, которая после поднесения генералом нескольких букетов и двух коробок конфет (в чем тетушка уже усматривала «предложение») кончилось бесследным исчезновением героя. Не был ли то какой-нибудь бытописатель, заинтересовавшийся типом и вздумавший его вывести во всех подробностях в повести или в пьесе?

Тетя Лиза была страстной театралкой. Как ни скромны были ее средства, однако, при соблюдении ею систематической экономии, ей хватало их, чтобы абонироваться и в Мариинском театре на русскую оперу и в Михайловском театре на французскую драму, а в какой-то другой день недели она успевала еще посещать итальянскую оперу. Кроме того, она была непременной посетительницей и всяких гастрольных спектаклей: Сары Бернар, Коклэна, Дузэ, Росси, Сальвини и т. д. По понедельникам она у нас обедала именно перед тем, чтобы к 8 часам отправиться на свое обычное место в райке Мариинского театра и с замиранием сердца ждать момента, когда обожаемый ею Направник подымет свою дирижерскую палочку. По вторникам она обедала у своей племянницы, бар. Медем, и оттуда спешила на свой «балкон», чтобы апплодировать Гитри, Вальбелю, Андриё, Брендо, Томассэн и чтобы с негодованием, которое она считала искренним, слушать «ужасные сальности» Хиттеманса, Жумара и мадам Дарвиль... Настоящим горем было для нее, если два интересных спектакля совпадали и приходилось выбирать один из них. Но не могло возникать у нее ни малейших колебаний при таком вы-

боре, если один из спектаклей был украшен, «удостоен» участием Мазини. В таких случаях тетя Лиза отправлялась в Малый театр, в котором частная итальянская опера нашла себе приют после того, что перестала быть казенной, а ее абонементным местом в Мариинском на данный вечер пользовался кто-нибудь из нас. Таким образом и я познакомился с «райком», и должен сказать, что как раз воспоминания от спектаклей, которые я видел и слышал оттуда, с этой высоты (у тети Лизы было место в самом центре амфитеатра и в первом ряду) — принадлежат к лучшим, — то ли потому, что общий вид театра из райка особенно эффектен, то ли потому, что оттуда действительно хорошо слышно, то ли оттого, что вас со всех сторон окружают не какие-либо люди скучные, равнодушные, а самые пламенные энтузиасты. О, в какое неистовство впадали иные из этих поклонников, какой стоял там крик и какое происходило неистовое маханье платками и шарфами.

Случалось мне видеть такое неистовство и в лице самой тети Лизы. Это бывало, когда соседнее с ней место в Итальянской опере, принадлежавшее одной ее сослуживице оказывалось свободным, и она его предлагала мне. Во что превращалась в конце каждого акта, пропетого Мазини, обыкновенно столь чопорная и даже величественная тетя, отлично подходившая к роли какой-либо строжайшей обергофмейстерины! Она становилась разъяренной менадой! Да и в своих же рассказах об «ее» Анджело она выдавала всю силу накопившегося в ее сердце чувства: она краснела, путалась, недоговаривала — точно и впрямь между ней и знаменитым тенором, с которым она не была знакома, установился род романа. Впрочем, до знакомства всё же дошло. Для какого-то прощального спектакля тетя Лиза сшила и расшила орнаментами в русском стиле башлык и, выждав минуту, когда знаменитый певец, после всех артистов, вошел в вестибюль театра — по обыкновению своему с растегнутым воротом — она накинулась на него и, прикрикнув: «Mais vous êtes fou, Masini»[1] ловким движением обвила его шею своим подарком. Капризный

[1] Но вы с ума сошли, Мазини.

и балованный певец был в этот вечер (после бесконечных оваций) в благодушном настроении, а потому в ответ на столь бурный натиск он не только не реагировал какой-нибудь грубой выходкой, но промолвил: «Grazie, molto grazie» — и даже поцеловал ручку дарительнице. Я думаю, во всей жизни тети Лизы именно этот момент был самым светлым и торжественным. Во всяком случае, рассказывала она о нем по всякому поводу, причем даже и мимировала свой поступок: я вот та́к накинула башлык, быстро, быстро связала концы, а он вот та́к поцеловал мне руку. Она верила, что именно ее башлык спас ее любимцу не только голос, но и прямо жизнь. Действительно, морозы в тот год стояли жестокие и возможно, что башлык «в русском стиле» и впрямь пригодился Мазини... если только он в тот же вечер не отдал его своему слуге...

Еще необходимо упомянуть о двух черточках тети Лизы, иначе ее портрет не получился бы вполне схожим. Одна из этих черточек — патриотизм. При всем своем поклонении итальянской опере, при всей своей верности французскому театру, тетя Лиза была самой горячей патриоткой, и это не удивительно, если вспомнить, что она была дочерью Бородинского героя и воспитанницей Смольного института — в дни Николая Павловича. Как раз к последнему она питала настоящий культ, точно это была не политическая личность, а личность мистическая, нечто вроде какого-то святого, чудотворца. Напротив, Александра II она не любила, и совсем он ее огорчил своей открыто выразившейся супружеской неверностью. Когда тетю Лизу подразнивали (что вообще было у нас принято), уверяя, что и Николай I не подавал хорошего примера в этом отношении, она зажимала уши, закрывала глаза и кричала: «Неправда, это всё клевета!» Почти так же восторженно относилась она к Александру III, и все мероприятия Государя, имевшие целью поднять национальное самосознание, она приветствовала с энтузиазмом, а «чудесное спасение» 1887 года она от всего сердца считала именно за чудесное, и даже обзавелась по этому случаю какой-то хромолитографией, которая изображала событие с несомой ангелами иконой в облаках. Смерть императора в 1894 году тетя Лиза

пережила, как личное несчастье, тем более, что не питала никакого доверия к Николаю II, ни к цесаревичу Георгию. Напротив, она возлагала самые пламенные надежды на Михаила Александровича, считая его истинным русским человеком, и потому именно ожидала от него, что он будет прекрасным правителем. Надо, впрочем, сказать, что вообще у Михаила Александровича, даже при жизни его брата Георгия, была такая «негласная партия», скорее род какого-то ни на чем реальном не основанного культа. До рождения цесаревича Алексея, «оттеснившего» дядю от престола, тетя Лиза не дожила.

Патриотизм тети Лизы выразился и в том, что она одно время, в досужие часы, со страстью занималась рукоделием в русском стиле и даже, несмотря на скудость средств, отделала свою крошечную квартирку (до переезда на Лиговку) бесчисленными полотенцами и мебелью в русском стиле с петушками, рукавицами, дугами и прочими национальными элементами. Кроме простого вышивания крестиком, она выучилась более замысловатому способу, при котором орнаменты и фигуры получались сплошными силуэтами на прозрачном фоне. По этой системе она изготовила себе занавески к окнам, а затем попробовала даже продавать подобные изделия. Для этой цели она просила моего отца делать ей рисунки такого орнаментного шитья, от чего он, по своему добродушию, не отказывался. Запомнились мне такие занавески с фигуркой, пляшущей с платком девушки и с танцующим вприсядку парнем. И. А. Обер тоже изготовлял тете Лизе рисунки. По его композициям, была вышита серия басен Крылова с очень выразительными фигурами животных. К сожалению, в коммерческой пользе этих изделий, требовавших большой кропотливости, тетя Лиза через год или два разочаровалась.

Нельзя, наконец, не упомянуть и о том, что тетя Лиза была хранительницей стародавних заветов хорошего тона. Я уже говорил, что она внешне походила на какую-нибудь камерьеру-майор при испанском дворе, но в ней этой внешности отвечала и глубокая убежденность, неуступчивая приверженность разным правилам приличия. Увы, жизнь тети Лизы сложилась так, что вместо

участия на куртагах, она целые дни проводила в более чем скромной обстановке и среди людей невоспитанных и хамоватых (это столь ныне распространенное слово — тогда еще не употреблялось, но, если бы оно употреблялось, то тетя Лиза должна была бы его употреблять ежеминутно). Благодаря этому, милая и добрейшая тетя Лиза не выходила из каких-то историй с коллегами по службе, с соседями в доме дешевых квартир, а то и со встречными на улице. Она то и дело изливала «доброй Камилль» свое возмущение то грубостью своего начальника, то дерзостями каких-то старых дам, живших с ней рядом и пользовавшихся с ней общей плитой. Все эти истории неизменно возникали из-за какого либо невежливого поступка. Но и у нас в доме выходили иногда, если не истории, то забавные инциденты. Тетя Лиза считала, что поздороваться с дамой «известного возраста» и только пожать ей при этом руку, равносильно форменному оскорблению. А потому, когда кто-либо из моих гимназических или университетских товарищей являлся в комнату, где восседала тетя Лиза (один профиль, один величественный вид которой так и требовал, чтобы человек подтянулся), то она уже вся как-то настораживалась, готовясь произвести оценку этого новичка с точки зрения хорошей воспитанности. Если «новичок» ограничивался одним только «шекхендом» и не изъявлял намерения почтительно склониться для «безмэна», то она резко выдергивала руку, а иногда даже тут же читала ему нотацию. Такие случаи произошли и с Валечкой Нувелем, и с Бакстом, и со Скалоном и с Калиным; она сочла их всех за «нигилистов» и чуть ли не за людей опасных. Напротив, она исполнилась благоволения к Диме Философову и к Сереже Дягилеву за то, что они (предупрежденные мной) произвели церемонию лобзания руки по всем правилам и даже не без некоторой театральной подчеркнутости. «Сейчас видно, что это юноши из хорошей семьи», — заявила она. Поцелую же и я здесь, на прощание, сухую, белую с длинными пальцами ручку покойной маминой подруги, и да простит меня ее тень, если не всё то, что рассказал, оказалось в соотношении с ее вкусом. Впрочем, лично меня тетя Лиза так любила (уже за одно то, что я любил театр и музыку), что мне

(как и Леонтию и Николаю) она готова была простить и самые непростительные провинности.

Образ тети Лизы так сросся у меня с нашим домом, что я не могу себе представить некоторые наши комнаты, без того, чтобы сейчас же не возник ее строгий профиль и гордая осанка ее тощей фигуры. Особенно срослось это представление о ней с воспоминанием о столовой — и не со столовой парадных дней, где скорее «тронировала» бабушка Кавос, — как именно со столовой будней, точнее понедельника, когда ничего специального не готовилось, а скорее «доедались» вкусные вещи, подававшиеся накануне. Против папиного места, по левую руку от мамы, и восседала тогда эта наша «духовная родственница», не столько занятая едой, сколько сообщением того, что с ней за неделю произошло. Кстати сказать, она была крайне воздержана в еде, а вина выпивала, как и мама, всего несколько капель, подлитого — «для цвета» — в стакан воды. Невскую же воду почитала за самую превосходную на всем свете (воспоминания юности) и даже приписывала ей целебные свойства.

Глава 12

СЕСТРЫ И БРАТЬЯ

Сестра Камилла

Всего у моих родителей было девять детей но сестра моя Луиза умерла одного года а брат Юлий (Иша) четырнадцати лет, другие все, и я в том числе, достигли почтенного возраста... Все мы вышли очень разные, но и с некоторыми общими фамильными чертами. Если говорить о расовых особенностях, то одни из нас более отчетливо выдавали свою итальянскую породу, другие — французскую. Характерно немецкого, что могло быть унаследовано от бабушки Бенуа, пожалуй, ни в ком из нас не найти, но одни из нас относились к германскому началу с большей симпатией, другие с меньшей. Больше всего сознательно такая симпатия выразилась во мне, что не помешало мне как раз быть наиболее «космополитичным» из нас. В сущности у меня столько же нежности к англичанам и к их быту, к испанцам и даже к скандинавам, хотя уже ни одной капли ни английской, ни скандинавской крови во мне нет, а если и есть капля испанской (через Кавосов), то она за три века пребывания моих дедов в Италии, должна была дойти до меня в совершенно гомеопатической дозе.

Можно еще расположить братьев и сестер Бенуа по степени их «русскости». Русской крови, повторяю, в нас нет даже и в гомеопатической дозе, но это не помешало нам стать «вполне русскими», и не только по подданству и по языку (вот я и эти свои воспоминания предпочитаю писать по-русски — ибо это мой родной, наиболее мне свойственный язык), но и по бытовым особенностям и по некоторым свойствам нашего характера.

Тут замечаются известные вариации. Вполне естественно, что наиболее русским стал с годами, не изменяя нашему общему космополитизму, тот из моих братьев, который, благодаря своему браку, породнился с чисто русскими людьми — это брат Людовик, Луи, или, как его называли на более русский лад, Леонтий. Все остальные женились или выходили замуж за лиц иностранного происхождения, старшая сестра за англичанина, младшая за француза, трое братьев женились на немках, один женился на своей кузине — на итальянке, но с примесью русской крови.

Оба мужа моих сестер были католиками, три из жен братьев были православными, две лютеранками.

Я не стану здесь говорить о братьях, сестрах и о наших «свойственниках» с теми подробностями, которые они все заслуживают — я должен беречь место и держаться известной системы, — но как мог я в своих воспоминаниях не упомянуть о происхождении нашей семьи и дать хотя бы очень эскизные «портреты» моих родителей, так я никак не могу умолчать и о своих братьях, игравших в моем существовании очень большую роль. Однако, мое положение в семье было особенным. Явившись на свет после всех и без того, чтобы у родителей могла быть надежда, что за мной последуют и еще другие отпрыски, я занял положение несколько привилегированное, какого-то Веньямина. Я не только пользовался особенно нежной заботой со стороны моих родителей, но был как бы опекаем и всеми сестрами и братьями. Особенно нежны были со мной сестры, годившиеся мне по возрасту в матери (старшей был 21 год, когда я родился, а младшей 20 лет). Но и братья всячески меня баловали, заботились обо мне и каждый по своему старался влиять на мое воспитание. Всё это подчас не обходилось без маленьких драм и недоразумений, без ссор и обид; иные заботы и попечения принимали неприемлемый для меня оттенок, и тогда я всячески против таких посягательств на мою независимость восставал. Однако, в общем мы все жили дружно, и о каждом из братьев и сестер я храню добрую и благодарную память.

Переходя к отдельным членам нашей семьи, я начну по старшинству — с моей сестры Камиллы Николаевны, которой, как я упомянул, был 21 год, когда я родился и которая в 1875 году покинула родительский дом выйдя замуж за Матвея Яковлевича Эдвардса. В совершенно раннем детстве я ей, не отличавшейся красотой, с лицом чуть тронутым оспой, тихой, почти безмолвной, предпочитал сестру Екатерину — веселую и очень хорошенькую, стройную «розовую» Катю. Впоследствии же я сумел по должному оценить всю прелесть, всю мудрость сердца, весь «абсолют доброты» и даже полное самоотречение и самопожертвование «Камиши», и эта моя оценка приняла в конце концов форму известного обожания. Если кого я в нашей семье после матери и отца действительно обожал, так это именно ее, и если после смерти мамы, мне действительно кто-либо давал иллюзию, что она всё еще со мной, так это именно Камиша. Но только в маме было гораздо больше духовной крепости, того дара, который Гёте называет «des Lebens ernstes Führen», в Камише же доминировала венецианская, часто граничившая с пассивностью indolence и какая-то безграничная покорность обстоятельствам. Она как-то не совсем справлялась с трудностями жизни и не была способна влиять на близких людей так, как наша мать.

Свою Camille-darling, свою нежную и хрупкую подругу жизни «вполне оценил» и ее муж Матью Эдвардс — громадного роста, типичнейший «брит», появившийся на нашем горизонте в 1874 году в качестве преподавателя английского языка. Он сразу влюбился в свою ученицу и нашел с ее стороны полный (хотя едва ли в пылких формах выразившийся) ответ. Выход замуж барышни нашего круга за гувернера едва ли можно было считать выгодной партией, и, несомненно, родители мои призадумались, когда Камиша спросила их согласия. Но «Матью» так быстро, так верно завоевал симпатии и их и всех прочих членов семьи, что колебания эти продолжались недолго, чему способствовало то, что, по наведении справок на родине Матью, оказалось, что этот молодой человек принадлежит, если и не к очень зажиточной, то всё же к весьма уважаемой семье. Да и в гувернеры то он попал случайно, приехав в Петербург искать счастья

и заработка вообще и не зная наперед, куда приложить свои силы. Преподавательская деятельность не была ему вовсе по вкусу, вследствие чего, при первой же оказии (оказией оказался его брак, и событие это произошло необычайно скоро после его приезда в русскую столицу), он навсегда бросил педагогию, отдавшись всецело таким делам, которые ему лежали ближе к сердцу.

Ближе сердцу Матью были «дела» — всё равно какие, в какой области, лишь бы это были дела честные, но и доходные, сулившие быстрые, блестящие прибыли. Сначала он подбил мою мать и ее брата, моего дядю, богача Сезара Кавос построить завод, которого он и стал управляющим, но затем он этот завод у них выкупил, скупил и все земли вокруг, приобрел и многие другие предприятия и кончил Матвей Яковлевич Эдвардс богатым и притом необычайно уважаемым всеми человеком. Мало ли таких самородков расселилось по белу свету и очень многие среди них достигли несравненно более блестящих результатов, нежели мой зять. Однако, некоторые особенности Матвея Яковлевича заслуживают того, чтобы ему среди других самородков было отведено особенное место. Так, в нем не было ничего от парвеню: образ жизни его оставался на протяжении всего этого «восхождения» одним и тем же, таким же незатейливым, каким он был в начале, и в этом более всего выразилось какое-то, я бы сказал «изящество» его духовной натуры. Кроме того, в Мате совершенно отсутствовала жадность или какая-либо узко эгоистическая корысть. При его беспредельном благодушии, так чудесно гармонировавшем со «святой добротой» его жены, он и не был способен что-либо «урвать», лишив другого чего-то, тому нужного; в нем ничего не было от агрессора и профитера. Его «завоевания» были вполне мирного характера. Свои сделки он устраивал полюбовно посредством переговоров и убеждений иногда очень длительных и очень сложных, но доставлявших ему самому большое удовольствие. Самый процесс таких переговоров с бородатыми, мужиковатыми купцами и промышленниками в трактирах за бесконечными стаканами чая, имел для него какую-то притягательную силу и привел к тому, что этот очень образованный англичанин, дававший в России уроки анг-

лийского языка и английской литературы, в конце концов, если и не правильно, то бегло говорил по-русски и даже приобрел всякие характерные простонародные замашки.

Я нежно любил Мата. Мне импонировал его рост, его Геркулесово сложение и в то же время я совершенно не боялся его — столько было в его характерной голове, в его густой рыжей бороде и в его покрытых веснушками и золотистыми волосками могучих руках доброты при сознании исключительной своей силы. О том, какую любовь он снискал среди своих многочисленных служащих, может свидетельствовать то, что когда он скончался, то его гроб на руках пожелали нести рабочие от самого дома до самой могилы на Католическом кладбище, версты три, а происходило это в самый разгар революции 1917 года, и тогда, когда лозунгом рабочих (особенно в таком ультра-революционном квартале, как тот, где жили Эдвардсы) был — «смерть и разорение капиталистам-фабрикантам».

Я не прочь употребить слово «художественность» в приложении к финансово-промышленной деятельности Мата, однако это слово следовало бы понимать здесь в совершенно особенном смысле. «Художественность» эта заключалась в том, что Мат трудился, рисковал, падал, снова подымался, производя всё это — согласно принципу искусство для искусства. Вообще же ничего художественного в нем не было, если не считать его любви к Шекспиру, к Теннисону, к Муру, о чем, впрочем, он с годами всё реже и реже напоминал. Известная склонность к поэтичности сказывалась еще в том, что он любил дремать у камина, слушая старые английские романсы, которые ему играла на их расстроенном пианино Камиша. К художественному творчеству членов той семьи, в которую он вступил, он относился совершенно безразлично, в театр ездил только тогда, когда его туда «насильно» тащили, выставки и концерты его не интересовали. Меньше всего его интересовал декорум личной жизни, что, в связи с беспечностью Камишеньки, накладывало на их домашний быть отпечаток «богемы». Те, кто пытались оправдать неряшливость и даже некоторую неопрятность, царившие в их доме на Кушелевке, много-

численной семьей, добрая половина которой находилась в состоянии беспомощных беби, — были неправы. Мне известны дома, в которых маленьких ребят еще больше, но в которых всё содержится в порядке и в которых жизнь протекает в формах известного изящества. Да и средства Эдвардсов позволяли им вполне пользоваться нужным количеством нянек и бонн, чтоб не оставлять детей без присмотра. Но таков был именно стиль их дома и, как это ни странно, безалаберность составляла и своеобразный шарм его. Лет до двенадцати мне нигде так приятно не было гостить, как именно у Эдвардсов, и это не только потому, что я у них объедался самыми сочными ростбифами и самыми вкусными пирогами (Камишенька усвоила себе все тайны английской национальной кулинарии), но и потому, что весь этот быт и именно эта их простота, этот своеобразный уют в беспорядке (одно то, что кошки и собаки как-то распоряжались домом на равных правах с хозяевами) — всё это казалось мне после сравнительной чинности нашего дома чем-то даже завидным. И до чего были распущены дети Камиши и Мата. До чего шумно и бурно выражалась их радость жизни в просторных комнатах их прелестного, построенного по чертежам моего отца, дома на Кушелевке. Сколько портилось и ломалось вещей и до чего всё же эти их дети были добрые и милые дети, до чего мне предводителю этой шайки разбойников, было с ними весело. Изредка слышался окрик Матвея Яковлевича: «Have done. Ellen yon naughty girl, I will whip you Jommy»...[1] но, разумеется, никакого кнута, необходимого для исполнения последней угрозы, в доме не было, а скверная девочка через минуту после грозного выговора отца уже сидела у него на коленях и теребила его рыжую бороду. Камишенька, та и замечаний не делала, а только, глядя на шалости, скорбно вздыхала, — не переставая возиться с пеленками, из которых только что выволокла последнего беби; а вид розового тельца этого беби или его широкая улыбка, сразу рассеивали ее скорбь — впрочем чисто напускную.

Я упомянул только что о бороде Мата. Она была у не-

[1] Елена, скверная девочка, я выдеру тебя Джомми...

го рыжая и пропахла смолистым духом. Впрочем, такой же аромат исходил у него не только от бороды, но и от всего: одежды, белья, волос, малейших принадлежавших ему предметов. Когда ватага «Кушелевских» появлялась в нашей квартире, то и по ней распространялся этот дух, вовсе не противный и имевший в себе нечто здоровое, чуть ли не целебное. Получался же этот дух от канатной фабрики, стоявшей на расстоянии всего нескольких сажен от их дома. Сам Матвей Яковлевич проводил почти целые дни на своей фабрике и его массивная фигура показывалась то в кладовой, где находились гигантские весы, то в квартире, где писаря ведали гросбухами, то среди сверлящих ухо, визжащих машин. Смешной говор его, полный неисправимых «британизмов», слышался в самых неожиданных местах и это был всегда добродушный, подзадаривающий говор. Только в крайних случаях он повышался до величественно-грозных нот и тогда в нем вдруг неожиданно открывалось нечто зевсоподобное. Напротив, никогда Мат не унижался до раздражения, до нервного визга. За эти-то черты, за эту его какую-то товарищескую простоту, связанную с мудрым начальствованием, его особенно и любили рабочие.

К несчастью, смерть не пощадила и эту чудесную и милую пару — она разлучила Камишу и Мата... Он умер в Петербурге, в том же доме близ канатной фабрики, и его похоронили на католическом кладбище на Выборгской стороне. Камишенька через три года после его смерти эмигрировала и кончила жизнь в Англии в большой бедности, в скромном деревянном домике, предоставленном ее дочерям и внукам зажиточными английскими родственниками Мата. Но оба были верующими людьми (Матвей был ревностным католиком, несколько фанатического уклона), и надо думать, что для них вопрос о том, где суждено покоиться бренным останкам, едва ли имел большое значение. В одном они могли не сомневаться, а именно в том, что жизнь и после земного существования имеет продолжение и в этом продолжении они снова будут соединены.

Глава 13

СЕСТРА КАТЯ

Вторая моя сестра — Екатерина по семейному Катя или Катиш, была всего на год моложе Камиши, но казалась гораздо моложе своей несколько старообразной сестры. Она росла премиленькой девочкой-резвушкой и шалуньей, а сделавшись взрослой барышней, превратилась в очень хорошенькую особу с чудным цветом лица, с очень быстрыми и притом грациозными движениями (сестра Камиша, напротив, была скорее медлительна). Детей вообще привлекает изящное или яркое проявление жизни. В этом следует искать то несомненное, впоследствии изменившееся, предпочтение, которое я, будучи совсем маленьким, оказывал сестре Кате перед сестрой Камиллой. Но с годами отношение мое несколько изменилось; не то, чтобы я разлюбил Катечку, но я всё же стал определенно предпочитать ей Камишеньку.

Если искать причины этой «измены», то таковые скорее всего найдутся в некотором, правда очень незначительном, дефекте в характере Кати. Она была менее ровной в настроении, более вспыльчивой, а главное у Кати вечно женственное особенно сказывалось в некоторой склонности к судачеству. Она любила слушать сплетни, она их даже с самым невинным видом вызывала, и что уже хуже, она с тем же невинным видом передавала их кому не следовало, вследствие чего получались иногда разные осложнения. Тут не было и тени злого намерения, но всё же тут «Евино начало», которое совсем отсутствовало у Камиши или у мамы, заслоняло природную благожелательность Кати. Понять — простить — было одним из коренных убеждений и мамы и моей старшей сестры — и они почти никогда никем не

возмущались и никого не осуждали. Напротив, Катя любила в обществе близких и не близких людей поужасаться и понегодовать, а в связи с этим находилась и ее потребность вызывать поводы к таким ужасаниям и негодованиям.

Надо при этом иметь в виду, что судьба бедной Катиши была в общем куда менее счастливой и куда менее «ровной», нежели судьба старшей сестры. Она вышла замуж по любви за несколько месяцев до замужества Камиши, вышла за молодого, талантливейшего и вскоре ставшего знаменитым скульптора Евгения Александровича Лансере, и этот «роман Кати и Жени», начавшийся летом 1874 года, продолжался до самой гробовой доски Жени, случившейся в феврале 1886 г. Катя, которой в момент смерти мужа было всего 36 лет, и которая попрежнему была прелестной, осталась верной ему до конца своей жизни. Она отвергла несколько предложений, из коих одно во всяком случае представлялось для окружающих вполне желательным. Сказать однако же, чтобы роман Кати и Жени был счастливым, тоже нельзя. Евгений Лансере был с самого начала «обреченным человеком», в нем еще в конце семидесятых годов обнаружился туберкулез, и страшная эта болезнь вслед затем только ухудшалась и взяла, наконец, верх над его хрупким организмом. Самый характер Жени был тяжелым, и существование с ним было нелегким. Насколько я любил своего английского зятя Мата, настолько я недолюбливал своего «французского» зятя, настолько меня всё в нем коробило — и его едкая насмешливость, и его бурные вспышки, и его состояние непрерывной раздражительности. Иначе, как в каком-то ироническом тоне он ни к кому не обращался и даже в отношении горячо и нежно любимой жены он редко менял свой «хронически-злобный тон». Тут многое было от болезни, но многое и от того, что он сознавал, что он недостаточно оценен, как художник, что он по рукам связан заботой о благосостоянии своей семьи, что он находится в своего рода порабощении у бронзовщика Шопена, заставлявшего его пробавляться мелкими вещицами и не позволявшего ему развернуться.

Только постепенно, по мере роста своей известно-

сти, Лансере стал освобождаться от этой кабалы и в последние два-три года жизни он стал диктовать Шопену свою художественную волю. Но произошло это тогда, когда чувство обреченности уже ни на минуту не оставляло его и исчезла всякая надежда, что он еще успеет себя показать вполне достойным образом.

Можно считать, что Лансере, внук застрявшего во время похода 1812 г. в русском плену француза и его жены, балтийской немки (баронессы Таубе), был таким же полноправным гражданином «Немецкой слободы», какими были мы, Бенуа, однако существенной разницей между нами и им был его пламенный русский национализм. От своего французского происхождения он не отказывался и даже ценил его, однако, эта кровная симпатия к Франции была ничтожной в сравнении с боготворением России. И это боготворение России, распространенное на всё славянство, являлось основой закадычной дружбы его с В. С. Россоловским, в котором, как в племяннике знаменитых славянофилов Аксаковых, эти чувства можно было считать вполне естественными. Лансере не скрывал в вопросах религии своего предпочтения православию и на этой почве возникали между ним и нашим другом дома Бианки — лютые споры, начинавшиеся обыкновенно с поддразнивания Женей бедного старика-фанатика и кончавшиеся прямо-таки своего рода проповедями, посредством которых оба оппонента, не щадя голоса и в состоянии крайнего раздражения, старались друг друга перекричать. И эти споры не могли меня, мальчика в общем религиозного и слепо веровавшего в спасительность католической церкви, расположить к моему зятю. Я помню, как я старался бедного Бианки после таких стычек утешать изъявлением моей с ним полной солидарности.

В общем я видел в Жене Лансере врага, но года за два до смерти его мое отношение к нему стало меняться — впрочем, в связи с изменением и его отношения ко мне. Пока он во мне видел одного из многочисленных ребят, бывавших у них в доме, я был для него незначительной величиной, и скорее предметом той же ненависти, которую он питал к детям вообще, за исключением своих собственных. Не раз он разражался против меня

криком и бранью и это меня, пользовавшегося со стороны всех близких особой лаской и снисходительностью, не могло не возмущать. Но во время моего гощения в имении Лансере в 1884 г. (я считал, что я гощу у своей сестры Кати, а вовсе не у «моего врага Жени»), стала намечаться какая-то перемена в его отношении ко мне. Он попрежнему придерживался иронического тона и даже, в связи с моими тогдашними четырнадцатилетними романами, — этот тон приобретал моментами и очень колючий саркастический характер, однако под этой иронией и под этим сарказмом стало обнаруживаться что-то вроде «любопытства», а затем, к концу этого моего пребывания, появилась даже и известная доля «симпатичного интереса». В течение же нашего следующего сожительства в том же Нескучном в 1885 г. это любопытство и этот интерес Жени ко мне обозначились в гораздо более отчетливой форме, да и с моей стороны лед начал таять, а при расставании с Женей, в конце августа 1885 г., я был «почти в него влюблен». Я расставался с собеседником, который «понимал меня», а ведь в том возрасте такое внимание обуславливает всякие «виды влюбленности». Незаметно для себя и у меня стал меняться мой тон с Женей. Это теперь был тон «излияний и признаний» и, если даже Женя еще над чем-либо иногда подтрунивал, то в общем всё же этот мой новый «тон» трогал его, человека крайне любопытного до всяких человеческих чувств.

Когда я хочу вызвать в своей памяти образ Матвея Яковлевича, то он сразу предстает передо мною — здоровый, громадный, с расплывшейся в рыжей бороде улыбкой; я его вижу или шагающим по фабрике или танцующим джигу на фоне ярко горящей всеми свечами елки. Свой национальный танец этот массивный колосс танцовал с балетной легкостью. Напротив, когда я вызываю в памяти образ Жени Лансере, то я неизменно вижу его в зале дома в Нескучном, сидящим в глубоком кресле у самого окна и занятого отделкой очередной статуэтки, которую он ворочает в своей руке, то и дело протягивая к горящей маленькой стеклянной спиртовке металлический шпатель с кусочками воска на нем. У него, еще совсем молодого человека, на носу очки, да и весь

он, исхудалый и согбенный, с совершенно прозрачными пальцами, казался глубоким стариком. Работал он часами без перерыва, не выпуская из рук очередной фигурки лошади или человека. Изредка его кашель приобретал раздирающий характер, и тогда Женя прерывал работу и прогуливался несколько минут по комнате, борясь изо всех сил с новыми приступами. И не странно ли, что тот же человек даже в этом своем последнем году жизни чувствовал себя днями настолько хорошо, что ходил купаться в студеной речке, протекавшей неподалеку от их имения и мог совершать далекие объезды верхом своих поместий. Приказав подвести к крыльцу свою любимую кобылу Кабарду, он попрежнему ловко вскакивал на нее и выезжал за ворота с видом лихого черкеса. На черкеса он вообще походил потому, что неизменно и дома и в гостях носил полувосточный костюм, род застегивавшейся на боку поддевки серого цвета, бархатные шаровары и татарские сапоги.

Наездником Е. А. Лансере был изумительным. Он буквально сростался с лошадью и от этого соединения человека с лошадью получалось впечатление кентавра... Он и знал лошадь так, как никто. В малейших подробностях он знал, как тело ее, ее костяк и ее мускулатуру, так и все ее повадки, самую душу лошади. Зато и лошадь в его присутствии становилась точно более осмысленной и какой-то наэлектризованной. Страстью к лошади объясняется и постоянное возвращение Лансере к конским сюжетам. Он превосходно знал и человеческую фигуру и без особенного труда, как бы налету примечал всякую характерную особенность других животных: верблюдов, овец, коз, но «вполне по себе» чувствовал он себя, когда изображал лошадь, то одинокую, то в групповом соединении... Его большие группы, вроде араба, гонящего табун или казаков у водопоя, быть может, сейчас не встретили бы прежнего восторга; ведь обязательным для скульптора считается теперь статичная ясность и простота очертаний. Однако, если когда-либо эти требования будут, как всё в области человеческих вкусов, изжиты, то я убежден, что именно эти группы Лансере будут почитаться своего рода художественными чудесами. Тогда будет понята та труднейшая задача, которую ста-

вил себе художник, и восторг будет вызывать то, с какой легкостью, с каким знанием и вкусом эта задача бывала им решена. Лансере-отец еще ждет своей настоящей оценки.

После смерти бедного Жени, который скончался у себя в Нескучном в 1886 году, в самое глухое зимнее время и который был похоронен у церкви, стоявшей насупротив барского дома, жизнь моей сестры получила совершенно иной характер. Со своими шестью детьми, из которых младшей дочери было около двух лет, она осенью того же 1886 года переехала в Петербург и поселилась с нами в родительской квартире. Всем пришлось потесниться, однако квартира была достаточно просторной, чтобы это стало кому-либо в тягость. Более всего, разумеется добровольно, «пострадали» наши родители, которые перевели свою спальню в последнюю в ряду амфилады узкую комнату, в которой стояла ванна. В ней было так тесно, что двухспальную кровать пришлось поставить вдоль стены. Но едва ли папа и мама, действительно, страдали от этого. Они к тому же были как бы приучены к такому уплотнению, так как во время периодических вселений к нам внуков из-за разных детских болезней и для изоляции «еще не больных» — папа и мама то и дело переезжали из одной спальни в другую. Что же касается меня, то я только мог радоваться такому прибавлению наших сожителей тем более что моя прелестная комната продолжала оставаться в полном моем распоряжении. Я особенно был доволен тем, что под одной крышей со мной теперь оказался мой любимый племянник Женя или Женяка Лансере, очень рано начавший обнаруживать необычайное художественное дарование. Беседы с этим очаровательным, нежным и в то же время исполненным внутреннего горения отроком постепенно стало превращаться для меня из мимолетных развлечений в какую-то необходимость. Когда я возвращался из гимназии или с прогулки, мне было приятно, что я сейчас увижу Женяку, что мы что-нибудь будем с ним вместе читать, о чем либо рассуждать, что либо рассматривать. Большое удовлетворение мне доставляло и то, что я при этом мог давать волю своим педагогическим наклонностям, что я как бы могу «вос-

питывать» своего племянника, помогать ему стать художником. Вероятно, художественное поприще Женя выбрал бы и без моей помощи, просто в силу дарованного ему Богом таланта, но в чем-то я всё же, думается, ему помог. Постепенно, с годами в наши беседы стал втягиваться и младший брат Жени — Коля, мальчик совершенно исключительной доброты и усердия. Он больше всего был похож на своего деда, на моего отца, и как-то совершенно естественно вышло так, что именно он избрал деятельность Николая Леонтьевича — архитектуру, в которой он выказал впоследствии и определенное дарование, и исключительную культурность. Эти «ученики» мои делают и продолжают делать мне, как их вдохновителю и первому руководителю, много чести.

Но не только этими двумя членами семьи Лансере обогатилось русское искусство; младшая из дочерей Кати — Зина оказалась обладательницей совершенно исключительного дара. Однако, ее я уже не имею права считать своей ученицей. Прибыв к нам в младенческом возрасте (двух лет), она росла с сестрами, как-то «вдали от моего кабинета», где происходили наши собеседования и всякие наши затеи с Женей, с Колей и с моими друзьями. Росла Зина, к тому же, болезненным и довольно нелюдимым ребенком, в чем она напоминала отца и вовсе не напоминала матери, ни братьев и сестер, которые все отличались веселым и общительным нравом. И всё же несомненно, что Зина была взращена той атмосферой, которая, вообще, царила в нашем доме и настоящими творцами которой были наши родители — ее дед и ее бабушка. Впрочем, отголоски того, что происходило или что «назревало» у дяди Шуры в кабинете и куда она изредка заглядывала, должны были доходить и до нее, будить ее любопытство. Во всяком случае, когда двадцать лет спустя описываемого времени, Зинаида Серебрякова неожиданно для всех, предстала уже готовой художницей, она оказалась «одного с нами лагеря, одних направлений и вкуса», и ее причисление к группе «Мир искусства» произошло само собой. Нам же, художникам «Мира искусства», было лестно получить в свои ряды еще один и столь пленительный талант.

Судьба Кати, и сначала-то не вполне благополучная, приняла к концу жизни драматический оттенок, в силу всех, почти стихийных обстоятельств, которые были вызваны войной и революцией. До этих злополучных дней она, окруженная детьми и внуками, не знала нужды и, если ее дом и отличался большей скромностью, нежели дома ее родственников, то это исключительно в силу как раз ее личного тяготения к какой-то тени. Но большевистская революция, застигшая ее во время ее пребывания в деревне, заставила ее покинуть Нескучное, а вскоре после того, как отвоевали обратно Украйну, самая эта прекрасная усадьба была вместе с ее вековым парком сожжена. У Кати, как и у всех нас, не оказалось ни гроша, и она погибла бы, если бы не спасли ее дети и особенно не расстававшаяся с матерью и после своего замужества, во время революции овдовевшая, Зина Серебрякова.

В 1920 году общими стараниями родственников удалось их обеих и малолетних детей Зины переправить обратно из Харькова в Петербург, а в Петербурге поселить в той самой квартире нашего прародительского дома, в котором Катя родилась и провела первые двадцать четыре года своей жизни. Здесь, на улице Глинки, она и кончила свой век — но, Боже, в каких печальных условиях. Сначала ей была предоставлена вся квартира с ее 12 окнами на улицу. Это было возможно, пока население Петербурга, рассеевшееся в острые годы разрухи по провинции, не вернулось во-свояси. Когда же стала ощущаться нужда в помещениях, то и квартиру Кати стали постепенно заселять. Первые такие уплотнения произошли еще по инициативе и по выбору ее самой: менее нужные ей комнаты были предоставлены знакомым и приятным людям, но затем (и особенно после переселения в Париж Зинаиды Серебряковой и двух ее детей), в пустующие комнаты въехали совершенно чужие и уже вовсе неприятные люди «новейшей формации». Бедная наша родительская квартира, свидетельница столь счастливых былых времен, превратилась в какое-то дикое сожительство разнородных элементов. В одной из комнат доживала свой век полуслепая, а в последние месяцы и вовсе ослепшая, Катенька, при этом кухня и

«удобства» были общими, а духовная атмосфера квартиры была отравлена всякими доносами и интригами. То самое существо, которое резвушкой-девочкой носилось по этим комнатам, которая в подвенечном платье принимала в 1875 году поздравления бесчисленных родственников и знакомых, кончала в этой атмосфере свой долгий век. Напрасно Зина предпринимала из Парижа всякие меры, чтобы вывезти сюда свою мать и двух оставшихся с нею детей, советская власть, по совершенно необъяснимым причинам, отказывала ей в этом. Спрашивается, какие соображения, какие опасения могли ее заставлять насильно держать безобидную, никогда ни в чем политическом не участвовавшую восьмидесятилетнюю больную старуху? Смерть, наконец, избавила бедную Катеньку от дальнейшего мучительства, и надо думать, что, освободившись от рая, уготовленного русским людям фанатиками-утопистами, она теперь отдыхает в подлинном раю, который она вполне заслужила.

Глава 14

БРАТ АЛЬБЕР

Старший из моих братьев родился за восемнадцать лет до моего рождения, иначе говоря он почти годился мне в отцы. И однако, несмотря на такую разницу в годах, это не сказывалось на наших отношениях. Я так и не исполнился к нему чувством, похожим на сыновье почтение. Сложилось это так еще в моем раннем детстве, да так и осталось на всю жизнь. Альбер до самой гробовой доски оставался для меня тем самым Бертой или Бертушей или Альбертюсом, каким я его когда-то «осознал» и полюбил. Надо при этом заметить, что этот удивительный человек сохранил и в восемдесят четыре года абсолютную свежесть и юность души. В значительной степени это получалось от его органической (в сущности завидной) неспособности проникать в сущность вещей и положений. Не будь такой частичной несознательности, состояние, в которое впал Альбер, когда лет семидесяти он лишился ног, потерял всё свое имущество и вынужден был доживать свой век, пользуясь милостью зятя, человека не злого, но сумасбродного, — состояние это могло бы ему казаться просто невыносимым. Однако и безногий и жалкий, прикованный к месту, забытый как художник, копейки за душой не имевший, брат мой все эти беды принимал легко и нисколько не терял своей жизнерадостности. Он никогда не скорбел и не жаловался и это не потому, что он умел скрывать свои чувства, а потому, что его натура была насквозь пропитана оптимизмом и он так и не утратил чисто детской способности жить только данной минутой, ни над чем не задумываясь, не заглядывая вперед и даже не оглядываясь назад. Довольно безразлично он относился и ко всем тем не-

приятностям, которые в силу одного своего положения калеки, он причинял другим. Его дочь, М. А. Черепнина, была настоящей мученицей. Муж ее Н. Н. Черепнин отчасти потому и относился к тестю с нескрываемой неприязнью, что страдал за жену, убивавшуюся в ухаживании за бессильным и беспомощным стариком. Альбер же эту жертву дочери едва ли оценивал по-должному и оставался таким же требовательным (по-детски требовательным), каким был, когда он был хозяином своего дома и главой семьи. Происходило это не от какой-либо сердечной черствости, а всё по той же неспособности схватывать сущность вещей, отдавать себе в них отчет.

Сразу надо прибавить, что Альбер был величайшим шармёром. В этой природной пленительности надо искать как бы его жизненное назначение, весь смысл его пребывания на земле. Он как будто для того именно и явился на свет, чтобы пленить. Всю жизнь он всех и всячески пленял, притом он сам нуждался в том, чтобы эту свою сущность «эманировать». Эманация эта ему не стоила ни малейших усилий. Он был в разных смыслах поразительно одаренным человеком, но главный из этих даров Альбера—был именно le don de plaire[1], который, как известно, действует тем сильнее, чем меньше проявляется намерение, основанное на самовлюбленности. Будучи абсолютно эгоцентричной натурой, Альбер сам этого не сознавал и уже во всяком случае в этом не каялся. Вообще нельзя себе представить Альбера кающимся и раскаивающимся. Он без устали «срывал цветы жизни», и нередко при этом ломал хрупкие их стебли или топтал их, но ему самому казалось, что в каждом случае он поступает вполне правильно, и он никогда не задумывался над тем, дозволено ли то, что ему показалось соблазнительным. Он с упоением лакомился наиболее лакомым из того, что предоставляла жизнь и приступал к удовлетворению этой непоборимой потребности в лакомстве, не успев сообразить, соответствует ли это каким-либо божеским или человеческим законам. И еще черта: отведав того или иного запретного плода, он не сохранял ни малейшей памяти об этом проступке. Он был вообще

[1] Способность нравиться.

индиферентен к прошлому — стоило повернуть страницу, как он уже забывал то, что на ней стояло. Я, впрочем, имею ввиду только живую книгу жизни; ее он и читал с упоением. Напротив, он почти никогда не касался книг, сочиненных и напечатанных. Я не припомню Альбера читающим, если не считать утреннего беглого просмотра газет.

Альбер был шармёром — это была его основная черта, но не менее важной чертой его было то, что он был в самом своем существе импровизатором. Впрочем, одно находилось в связи с другим. В импровизационном начале едва ли не сказалась кровная связь Альбера с Италией и с Венецией. Ведь уже прадед наш, Катарино Кавос, собирал в Скуола ди Сан Марко избранную и просвещенную публику, приходившую наслаждаться его мгновенно возникавшими и чудесно сплетавшимися музыкальными импровизациями. Этот дар прадеда, перескочив через два поколения, достался затем двум правнукам — Альберу в большей степени, и в меньшей степени — мне. Как раз именно потому, что я обладаю тем же даром, но обладаю им в меньшей степени, я могу судить (а начал я судить об этом чуть ли не с пеленок) о высоком качестве Альберовской импровизации. К сожалению, этот дар ныне вообще не ценится. Самый близкий к Альберу человек — его жена, будучи превосходной музыкантшей, питая какой-то трепетный культ к «настоящей», к серьезной музыке, занятая музыкой профессиональным образом, относилась без малейшего уважения и даже с некоторой иронией к музыке, рождавшейся из-под пальцев мужа. Между тем, одна манера играть Альбера на рояле (или на скрипке), его неподражаемое тушэ, его своеобразная, но по-своему блестящая техника — всё было чудесным. Когда на Альбера «накатывало», когда Аполлон удостаивал не столько призвать его на серьезное творчество, а как бы «полушутя» поманить его к инструменту, он весь преображался, являя все признаки такой «охваченности». В такие минуты, в годы своей юности, он становился поразительно красив. Его аристократически длинные и сильные пальцы (такие пальцы любил изображать Себастьяно дель Пиомбо) приобретали беглость, а музыкальная

мысль мелодии, гармонические соединения и модуляции возникали в безупречной связанности, обогащаясь всё новыми и новыми находками. Звуки у Альбера лились непрерывным потоком, точно это всё давным давно было сочинено и крепко заучено. В то же время музыкальные эти фантазии были только какой-то «фата-морганой», способной очаровать в ту минуту, когда она возникала, на самом же деле эта музыка была лишена подлинной прочности и внутреннего смысла. Замечательно, что уже через минуту после того, как это волшебство кончалось, сам Альбер не мог вспомнить то, во что он сам только что с упоением вслушивался. Обладая некоторыми теоретическими познаниями, он мог бы вполне записывать свои импровизации, однако он пренебрегал этим; ему было достаточно того, что он и себя и других потешил.

Нередко Альбер прибегал к музыке и в качестве тайного любовного языка. Надо было видеть, как та или иная девушка или дама замирала, стоя у рояля, как всё ее существо начинало трепетать перед обольщением этих пламенных любовных «деклараций». Не одну Евину дочку Альбер соблазнил именно тем, что он вкладывал в свои эти музыкальные «объяснения в любви». Нередко такие сцены обольщения происходили среди какой-либо самой что ни на есть светской гостиной, наполненной людьми, на глазах у матерей и у мужей мимолетных жертв, и однако «объяснение» Альбера было понятно только той, к которой оно обращалось.

Здесь будет уместно сказать, что эти же импровизации Альбера сыграли не малую роль в истории «моей балетомании». В сущности, всё с них и началось. С осени 1882 года Альбер поселился в нашем прародительском доме — в квартире, находившейся как раз над нашей, и вот с тех пор я сделался постоянным слушателем его игры. Из своей «красной комнаты» — благодаря каминной трубе, я отчетливо слышал как гаммы и экзерсисы Маши, как вокализы и арии ее сестры Сони, готовившейся стать оперной певицей, так и сменявшую эти «скучные вещи» игру Альбера. Гаммы, экзерсисы и вокализы скорее раздражали меня, отвлекая от занятий. Напротив, стоило мне услышать бодрые, звучные, «вкусные», заман-

чивые аккорды Альбера, как я, не будучи в состоянии противостоять их призыву, уже летел наверх. В миг оказывался я в Альберовской зале и уже начинал производить ногами, руками, всем телом, всеми чертами лица то самое, что мне повелевала музыка брата. Я «действовал», я «творил», я находился в трансе, я был одновременно и балетмейстером и танцовщиком и целой балетной труппой. Мои маленькие племянницы вторили, как могли, моим танцам и мимическим сценам, а старшая из них, очаровательная Машенька, та и улавливала то, что я на ходу ей предписывал делать и послушно исполняла это. Нередко присоединялся к нам брат Марии Карловны, ставший моим закадычным другом, Володя и «маленький Петя», и тогда уже можно было наладить целое «действо», в котором эпизоды возникали, развивались и сменялись с удивительной быстротой всё по прихоти нашего общего вдохновителя, которого, впрочем, и мы подстрекали своим всё растущим энтузиазмом.

Нередко эти импровизированные балеты (длившиеся минут двадцать), принимали драматический уклон; не обходилось без убийств, дуэлей, похищений, проклятий. Главному действующему лицу грозили ужаснейшие беды. В нужный момент все актеры оказывались поверженными на паркете, что выражало ужас перед близящейся катастрофой. Но и лежа бездыханными, мы знали, что всё кончится ликованием и радостью; после самых грозных и гнетущих аккордов — музыка вдруг снова как-то озарится и всё завершится каким-то неистовым галопом или бешеной тарантеллой. Но сколько бы после того финала мы ни просили Альбера продолжать, он всё же, мило улыбаясь, захлопывал крышку Шредера и нашему балетному экстазу наступал решительный конец. Впрочем, лично я, более чутко воспринимавший ход музыкальных импровизаций брата, в этих случаях не настаивал на продолжении. Что было кончено, то было кончено — и всякое продолжение было бы бессмыслицей.

Из некоторых, чаще других возвращавшихся, мотивов Альбера получилась, наконец, своего рода сюита. Это облегчало мою «балетмейстерскую» задачу. Там, где среди всего произвольного и только что рожденного, появлялись уже знакомые «номера», в их установленном

порядке, там я лучше знал, что делать, и мог заботиться о совершенствовании моей «постановки». Еще более облегчало мою задачу участие Володи, который был всего на три года старше меня, но беспрекословно подчинялся моим указаниям. Он к тому же был таким же энтузиастом танца, как и я. При этом он владел и кое-какими (им же самим выработанными и высмотренными в настоящем балете) хореографическими приемами. Он даже мог свободно ходить на носках, задирать ноги выше головы, становиться на арабеск. С Володей у нас выходили настоящие «по всем правилам» па-де-де, причем балериной был он, а я «поддерживал». Когда же Володя, наоборот, становился первым танцором, то он, обладавший необычайной для своих лет силой, подымал меня и носил по всей зале, что доставляло мне огромное удовольствие, вероятно, то самое, что испытывают заправские танцовщицы в подобных случаях. Однажды на каком-то званом вечере Володя даже выступил в образе настоящей балерины. В те времена это был хорошенький розовый мальчик (ему было лет четырнадцать и ему так пошел традиционный костюм с газовой юбкой и с трико телесного цвета на ногах, с венком роз в светлых волосах, к которым был пришпилен шиньон), он так виртуозно подражал Вазем или Соколовой, он был до того гибок и делал такие воздушные антраша, а в конце номера «Баядерки» он до того головокружительно пронесся вертушкой два раза по зале, что многие гости поверили, что перед ними настоящая танцовщица и сконфуженный Володя подвергся даже ухаживаниям со стороны наиболее воспламенившихся поклонников.

Эти импровизационные танцы под музыку Альбера продолжались — смешно сказать — до самых моих студенческих лет. Начавшаяся пробиваться борода была еще не так заметна и наспех надетые всякие тряпки и повязки «дополняли» иллюзию, что я Жукова, что я Никитина, что я сама Цукки. В то же время я вовсе не считаю эти свои танцовальные упражнения за одно ребяческое баловство. Подзадариваемый музыкой, я чувствовал, что творю что-то вовсе не вздорное, мне даже казалось, что я готовлюсь к чему-то весьма значительному. Когда же через много лет после того я, на настоящей сцене,

на той самой сцене, на которой порхали действительные, настоящие балетные звезды, приступил к постановке своего «Павильона Армиды», то я как бы продолжил когда-то начатое и лишь временно прерванное дело — «мое дело». Я вернулся в тот с детства знакомый мир «музыкально выливающегося в танцах вдохновения», в который меня ввели импровизации моего брата.

Импровизационный дар Альбера оказал услуги и в его художественной карьере. В 1883 г. акварели Альбера, через посредство нашего свойственника, английского воспитателя царских детей, мистера Чарльза Хиса, который сам очень ловко и талантливо акварелировал, были показаны Государю и до того понравились его величеству и императрице, что Альбер был приглашен принять участие в ближайшей царской экскурсии по Финляндским шхерам, что являлось из года в год летним развлечением императорской фамилии. Боже мой, сколько волнений было пережито по этому поводу, с каким тщанием, точно невесту к венцу, снаряжали Альбера, когда ему выдалась честь в первый раз явиться перед государевы очи в Александрии (в те времена и хотя бы среди палящего солнечного дня, надлежало являться ко двору во фраке), как ожидалось нами его возвращение, сколько было рассказов. Сошла аудиенция как нельзя более благополучно. Императрица Мария Федоровна очаровала Альбера своим ласковым приемом, Государь живо заинтересовался каждой подробностью в тех пейзажах, которые Альбер им повез показать. Во время же последовавшей затем croisière, Альбер не только изумлял всех своим блестящим мастерством в передаче на бумаге самых мгновенных эффектов освещения (особенно ему удавались закаты), но и тем еще, что он с беспредельной точностью воспроизводил конструкцию каждого из судов той миниатюрной эскадры, которая сопровождала царскую чету. Надо сознаться, что в чисто художественном отношении эти шхерные акварели Альбера скорее страдали как раз от обилия таких «технических» деталей, зато они привлекали к нему сердца моряков, среди которых он вскоре приобрел бесчисленных друзей и поклонников.

Вот в первую же такую поездку по шхерам Александр III и Мария Федоровна оценили и музыкальный та-

лант Альбера, и уже с тех пор не обходилось ни одной царской поездки без того, чтобы Альбер не сопровождал императорскую чету, не проводил целые дни на пловучей царской резиденции «Царевне», где в атмосфере полной непринужденности он и обедал, а после обеда услаждал общество своей игрой. Когда Альбер был в ударе, то ему удавались и комические, тут же импровизированные, номера. Так Александр III, вообще охотник до шуток, а за ним все приближенные, смеялись до слез, когда мой брат в одном своем лице представлял типичную итальянскую оперу, выставляя в карикатурном виде и нелепость сюжета и те трафаретные приемы, которыми композиторы пользовались для изображения встречи трагических любовников или для «сбора заговорщиков», или для бегства «на месте» спасающихся от преследований, со вторжением в самый патетический момент балета и т. п. Не он один в те времена глумился над «итальянщиной», это издевательство выразилось в знаменитой «Вампуке». Но пародии Альбера отличались не одним только юмором, но и вкусом; особенно они пленили тем исключительным брио, с которым всё это тут же созидалось. Шутки могут быть прекрасны, когда они заранее продуманы, отшлифованы и затвержены (ведь всё еще хороши пьесы Мольера), но они действуют еще более неотразимым образом, когда они тут же внезапно возникают, когда они являются прелестной неожиданностью даже для самого автора.

Эти поездки по шхерам повторялись ежегодно и Альбер кажется не пропустил ни одной. Однако, и кроме того ему удавалось нередко по разным поводам видеть — и царя и царицу, и неоднократно он получал приглашения посещать их в интимной обстановке, то в Аничковом дворце, то в Гатчине, то в Петергофе.

Импровизаторский дар Альбера вдохновеннее всего выражался на рояле, но сплошной импровизацией была и вся его художественная деятельность. Импровизациями были в сущности и бесчисленные любовные похождения «нашего семейного Казановы». Правда, в жизни Альбера было и несколько серьезных увлечений и три раза таковые кончались браком, но вперемежку с этими главными романами сколько было еще мелких, мимолет-

ных, случайных, в полном смысле импровизированных. Надо при этом сказать, что он совершенно не интересовался ни тем разрядом любовных похождений, который носит название le genre ancillaire, ни теми представительницами прекрасного пола, которые являются жрицами Венеры.

По своему художественному воспитанию Альбер был архитектором и не случись так, что его работа над конкурсным проектом, сулившая ему почти наверняка золотую медаль и связанную с ней посылку заграницу, совпала с самым пламенным периодом его увлечения Марией Кинд, ставшей затем его (первой) женой, он, вероятно, получил бы и медаль и поездку, а это предопределило бы и всю дальнейшую его карьеру. Но вот роман помешал Альберу представить проект в законченном виде, медали он не получил и хотя, по окончании Академии, он и занимался строительством, однако занимался он им как-то «между прочим», нехотя, тогда как его тянуло к чему-то иному, более соответствующему его натуре. Из Альбера, несомненно, мог бы выйти не менее блестящий мастер архитектуры, нежели те, какими были наш отец и брат Леонтий; несколько построенных им особняков и вилл служат тому свидетельством. Однако, архитектура — искусство, требующее усидчивости, расчетов, возни с цифрами, а также руководства целыми полчищами рабочих и подрядчиков. Всё это давалось без труда Альберу, однако это ему «не нравилось», и натура его требовала большей свободы. Он годами находился на службе в одном из главных наших Страховых обществ, в дальнейшем же он принял должность старшего хранителя Музея Александра III и состоял действительным членом Академии Художеств, заведуя в то же время всеми художественно-ремесленными училищами России, подчиненными министерству финансов, но все эти посты и занятия отнимали у Альбера сравнительно мало времени, тогда как главным образом оно было заполнено живописным творчеством — почти исключительно акварельными работами с натуры.

В этой области, столь подходившей ко всему его «вечноспешащему» и «быстрому» темпераменту и к че-

му-то легковесному, что было в нем, он в несколько лет достиг положения, не знавшего себе соперников в России. В 1880-х и в 1890-х годах Альбер Бенуа стал одним из любимейших русских художников; его акварели раскупались на расхват, он был награжден званием академика, ему был поручен акварельный класс в Академии, члены Общества акварелистов избрали его своим председателем и, наконец, акварель, как я уже сказал, открыла ему доступ ко двору, точнее к особам Государя и Государыни. Альберу акварельные выставки обязаны тем, что они стали одним из самых выдающихся событий Петербургского сезона и ему же — тем, что эти выставки ежегодно удостаивались посещения, как императорской четы, так и большинства членов императорской фамилии. Через Альбера наша семья лучше знакомилась с жизнью при дворе — и не столько с тамошними сплетнями и интригами (к ним Альбер никогда не чувствовал ни малейшей склонности), сколько с духом и с настроениями, которые царили в непосредственном окружении Александра III. И нужно признать, что эта придворная жизнь, имевшая столь мало общего с традиционным представлением о всяком дворе, представлялась нам, как нечто весьма привлекательное в своей простоте.

Живописные способности Альбера проявились еще тогда, когда он готовился быть архитектором; самое исполнение программ обязывало к преодолению специфических трудностей акварельной техники. Недаром и брат Леонтий был превосходным акварелистом. На счастье Альбера в те времена жил и работал в России один из самых изумительных мастеров акварельной техники миланец Луиджи Премацци (1814-1891). Лучшего учителя Альбер не мог бы отыскать себе и на западе. Теперь акварели этого миланца должны казаться старомодными. Чрезвычайная выписанность деталей (особенно архитектурных) и известные формулы, унаследованные им еще от Милиары и Корроди, придают его произведениям некоторую сухость. Но как всё это сделано! Сколько во всем этом глубокого знания, какое богатство накопленного опыта! Особенно витруозно исполнены интерьеры Премацци (русские родовые и финансовые аристократы

требовали наперерыв, чтобы он увековечил их роскошные хоромы во всех подробностях). Однако, и пейзажи Премацци, и то, как он передавал солнечность, синеву небес, скалы, море, каменные и деревянные постройки, свидетельствуют об его талантливости и об его исключительных знаниях.

Вот с этими знаниями, со всеми «секретами», со всей «кухней акварели», Премацци и успел поделиться со своим лучшим учеником, с Альбером Бенуа, но ученик, преодолев трудности ученья, всё же почти сразу отошел от заветов учителя, дав свободу своему темпераменту. И с каким же упоением работал Альбер! Не проходило дня весной, летом и осенью, чтобы он не делал по этюду или даже по несколько в день. И чем эти этюды были свободнее и проще, тем они были прекраснее. При этом твердые знания, приобретенные от Премацци, помогли Альберу справляться и с труднейшими задачами. Наслаждением было глядеть, как у него сразу на бумаге намечался пленивший его эффект, с какой быстротой вырисовывались предметы, как ловко, где нужно, он пользовался не успевшим еще высохнуть местом, а где нужно работал по сухому. Всё становилось на свои места и расцвечивалось красками, и это с такой быстротой, что в полчаса, в час самое большее, главное было готово, намечено, и Альбер уже складывал свои «орудия труда» и летел дальше в поисках другого мотива. При этом расположении к быстрому схватыванию, Альберу особенно удавались скоро меняющиеся эффекты. Бывало, он приедет усталый на дачу из города со службы или с какой-либо постройки, и едва успеет утолить голод, как уже его тянет изобразить то, что творится в небе или отражается в водах Финского залива. И многие из этих прославленных «закатов Альбера Бенуа», созданные в каком-то припадке восторга, были действительно настоящими перлами. К сожалению, явившийся успех, несколько повредил художественной стороне альберовского творчества. Альбер до конца жизни оставался в полном смысле слова мастером, но уже к концу первого периода его творчества — стал намечаться в его работе некоторый поворот от свежести и непосредственности к излишней законченности, а то и к вымученности. Если

бы в те дни Петербургский художественный мир был лучше знаком с тем, что творилось на западе, если бы художественный вкус был развит настолько, чтобы оценить по-должному то, что в творчестве Альбера означало подлинное завоевание, если бы Альбер при своем положении «вождя в данной области» сам лучше отдавал бы себе отчет в том, что он из себя представляет и куда следовало бы ему стремиться, то, при его изумительном даровании, история русского пейзажа обогатилась бы совершенно первоклассным мастером. Но вкус нашего общества в лучшем случае не шел дальше поклонения Айвазовскому или Орловскому, а самому Альберу в его «органической беспечности» — было просто не до того, чтобы остановиться на каких-либо эстетических проблемах. Пока он творил непритязательно, ободряемый похвалами родных и товарищей — он оставался «очаровательным виртуозом», не дававшим себе отчета в своей виртуозности (Гварди самый яркий и блестящий пример подобного же явления), но когда Альбера стали оценивать широкие массы русской публики и он стал вкушать отраву исключительного успеха, когда, идя навстречу этой, всё растущей славе, он стал себя «усовершенствовать», стал искать большую «законченность», то и случилось, что лучшие природные качества его начали постепенно стушевываться. Бывшая в нем живая струя стала иссякать. Странным делом, еще раз блеснул подлинный альберовский дар в тех акварелях, которые он создал, участвуя в 1922 году в ученой экспедиции в Мурманск, но с момента его поселения во Франции в 1924 г., куда его выписала его старшая дочь, начался упадок. Несколько отличных акварелей он создал и в этот последний период, но они были исключениями. В своем роде даже — удивительными исключениями, если принять в соображение, что это произведения глубокого, старика, у которого отнялись ноги, которого выводили под руки «в природу» и который в течение зимних месяцев вообще не покидал своей комнаты.

Печальная судьба, постигшая на старости лет моих сестер, не миновала и моих братьев — и едва ли не самая печальная досталась именно на долю Альбера. До самого своего отбытия за границу он всё еще жил

в своей квартире, в своем собственном доме, окруженный портретами предков, доставшимися ему по наследству, среди шкафов, ломившихся от тех его работ, которые у него накопились за его долгую жизнь. И вот всё это он бросил на произвол судьбы, покинув родину буквально ни с чем, кроме кое-какого гардероба. В это время у него были иллюзии, что он «за границей» сможет еще завоевать себе то почетное место, которое, даже в годы революционной разрухи, он не вполне утратил на родине. Но эти иллюзии вскоре исчезли. Устроенная им выставка (у Жоржа Пти в том же помещении, в котором он когда-то с блеском выставлял), прошла незамеченной, а на какое-либо меценатство среди эмиграции нечего было и рассчитывать. И вот создалось положение, которое даже беспечному, ребячески-несознательному Альберу постепенно стало мучительным. При стесненных обстоятельствах, общих почти всему эмигрантскому миру, его мучило, что он живет в тягость своей обожаемой дочери и ее мужу. Попрежнему этот прикованный к креслу старик очаровывал всех тех, кто попадал в его орбиту; мало того, у этого древнего Казановы попрежнему находились поклонницы. Попрежнему при встречах с ними глаза Альбера зажигались резвым огоньком, всё так же восторженно он целовал им руки и с бурной радостью встречал «друзей», причем друзьями он величал людей, которых даже и по имени иногда не знал. Однако, всё это прикрывало грустную драму — драму унизительной беспомощности. Если что и тут «пригодилось» Альберу из всех его природных качеств, так это его неугасаемая жизнерадостность, а также всё то же «блестящее легкомыслие» его импровизаторской натуры...

Альбер был на редкость хлебосольным хозяином и в этом с ним вполне сходилась его первая жена. Гости у них буквально не переводились, а летом не только завтракали и обедали, но зачастую и ночевали. Бывало, что останется после какого-нибудь праздника (например, после именин Марии Карловны 22 июля) человек десять, и тогда они располагались кто как мог — одни на диванах, другие и на тюфяках, разложенных на полу, третьи в сарае на сеновале. Эти импровизированные ночевки до-

ставляли большие хлопоты прислуге, но у Альбера прислуги было не мало и она не роптала, так как ночевки сопровождались щедрыми «на-чаями». И какие же тогда бывали весьма забавные «коллективные авантюры». Сколько тут получалось комических недоразумений, сколько неожиданных сближений, сколько смеха, сколько остроумных шалостей. Не менее многолюдными и веселыми бывали обеды, музыкальные вечеринки и балы у Альбера и Маши в городской их квартире. Особенно памятным остался маскарад, устроенный ими в 1883 году, когда их зала во время недолгого перерыва в танцах была внезапно превращена в ярмарку, с лавками, с трельяжами, с гирляндами зажженных фонариков. Альбер был вообще великий мастер на организацию всякого такого «вздора» и сам более всего при этом веселился (именно в течение этих празднеств он мог с особенным успехом предаваться своему любимому занятию — «флирту»). Великим мастером он был также на устройство летних пикников, сопровождавшихся фейерверками, спуском воздушного шара, ристалищами на ослах или на деревенских клячах и т. д. Немудрено, что при баснословном количестве бывавших у Альбера и Маши гостей, при постоянной смене одних «групп» другими, Альбер не слишком разбирался в том, кто такие эти его «новые друзья». Тем не менее, представляя их, он неизменно повторял фразу: «позвольте вас познакомить с моим лучшим другом». Бывало, не успеет он от такого лучшего друга отойти, как уже шепчет мне на ухо: «Si seulement je connaissais son nom?»[2]. Можно себе вообразить, как должен был страдать этот человек, когда он оказался на положении нахлебника своего зятя и не только не мог принимать «друзей» подобающим образом, но принужден был есть горький хлеб из рук человека, его недолюбливавшего.

Кончился, угас, Альбер в небольшом пансионе для больных под Парижем, в местечке, носящем поэтичное название: Hay-les-Roses. Из окон его комнаты был виден типичный пейзаж Иль де Франс, лишь слегка изуродованный «прогрессом». Это был, вероятно, почти такой

---

[2] Если б я только знал его имя?

же пейзаж, в котором жили и умирали наши прадеды. Стояли весенние дни, природа только что стала распускаться, но уже Альбер, который всего лишь несколько недель до того с наслаждением рисовал и акварелировал, глядел на всю эту красоту с тускнеющим взором приговоренного. Особенно драматично показалось мне то, что когда, по моей просьбе, он попробовал записать ноты одной из своих очаровательных песенок — носившей у него название «мельницы», он после мучительных усилий так и не смог, кроме самого начала затейливой мелодии, ее вспомнить... Через два дня после того он уже лежал в гробу. Так кончилась жизнь этого «принца жизни», этого любимца петербургского общества, этого баловня счастья, моего милого, радость сеявшего и никогда не унывавшего Альбертюса.

Глава 15

БРАТ ЛЕОНТИЙ

Настоящее имя моего второго брата было Людовик, но так как это имя казалось слишком необычайным для русских людей (Лудвиг звучало слишком по-немецки, а Луи звучало как-то претенциозно), то наш Людовик был превращен в Леонтия — по примеру того переименования, которому уже подвергся, вступив на русскую почву, наш дед. В детстве «Леонтия» звали Лулу или Люля, а в последующие времена взяло верх прозвище Левушка. В раннем детстве я помню, как Бертушу, так и Лулу уже взрослыми людьми, помню последнего, когда на щеках стал пробиваться курчавый пушок, а затем очень скоро он оброс настоящей, густой, всегда по моде остриженной бородой. Ростом он был ниже Альбера, а склонность к полноте доставила ему еще одно прозвище Грогро. Нрава он был спокойного, рассудительного, отнюдь не буйного и мятежного, но темперамент у него всё же был пылкий, что особенно наглядно выражалось в его восторгах от итальянской оперы. Я живо помню, что на столах и на комодах в общей спальне Альбера и Леонтия стояли полчища фотографий итальянских певцов и певиц, а часто произносимые им имена мне были хорошо знакомы: Марио, Вольпини, Тамберлик, Лукка, Богаджоло и др. О Патти же говорилось, как о каком-то сверхестественном и прямо-таки божественном явлении тогда, как к Нильсон Леонтий, если и относился с уважением, то всё же без увлечения, ему казалось, что «школа» ее не так хороша, как у подлинных итальянцев. Вообще же то и дело слышались его рассуждения насчет emissione della voce, манере петь французской, немецкой и итальянской, о том, что надо петь грудью, а не горлом

и т. п. Я постепенно выучился этой специальной терминологии и в подражание старшим не прочь был пощеголять ею, на самом деле ничего в ней не смысля.

Основной чертой Левушки — было благодушие. Он был в полной мере «славным малым». Это значит, что он не только был добряком, честным и хорошим человеком, но что и производил он впечатление на всех такого «славного» человека, и тем самым сразу располагал к себе. И в нем был большой шарм, но совершенно иного характера, нежели шарм Альбера. При этом в Леонтии не было и тени лицемерия, двуличия, коварства. Он мог быть грубоватым, а подчас и несправедливым, он легко вспыхивал, но любое проявление чувства у него неизменно шло от сердца и он так же быстро «отходил», как сердился. При этом Леонтием в жизни управляли настоящие принципы — не очень быть может обоснованные теоретически, но всё же неукоснительно прочные. Говорят, он в раннем детстве всегда заступался за обижаемых, он как-то органически не переносил, чтобы при нем совершалась какая-то несправедливость; он ненавидел ложь во всех ее проявлениях и на всю жизнь сохранил «способность возмущаться», как разными событиями мира, так особенно некоторыми специфическими безобразиями русской жизни или бессмысленными мерами, принимаемыми правительством. Возмущало его в сильнейшей степени всё то, в чем он усматривал «безвкусие». Особенно же он негодовал на немцев — будь то в политике или в художестве. Объясняется это отчасти тем, что ему было уже 14 лет, когда грянула франко-прусская война 1870 г. и в оценке ее он, типичный француз, всецело стал на сторону французов, против немцев. Когда я подрос и стал несколько сам разбираться в том, что слышу вокруг, то частенько я удостоверялся, что Левушка слишком охотно верит слухам, что он не слишком задумывается над разными вопросами жизни, словом, что вся его манера быть отличается некоторой простоватостью. Но и в тех случаях, когда я не был в состоянии с ним соглашаться, я всегда любовался теми «хорошими чувствами», которые руководили его «возмущением» и «приговорами».

Трое из нас братьев унаследовали от отца художе-

ственное дарование и любовь к искусству: Альбер, Леонтий и я, но едва ли не самый даровитый из нас был именно Леонтий, который однако в качестве «чистого» художника менее всех из нас выдвинулся. Дело в том, что Леонтию, при всей одаренности, недоставало способности «задаваться темами» и выявлять в образах мысли и настроения. Альбер был большим виртуозом техники, но всё же «ловкость руки» не была основной чертой в его творчестве и развивалась его виртуозность как-то попутно, на непрестанной практике и на восхищении от природы. У Леонтия же «ловкость руки» была чем-то «родовым» и «основным», какой-то чертой его характера. Он не был в состоянии провести линию или нарисовать малейший завиток, не обнаружив эту виртуозность. Когда он доводил рисунок до законченности, то всегда получалось нечто блестящее, «аппетитное», «вкусное» и искрящееся. Мне кажется, что именно эта «природная» виртуозность и предопределила художественное развитие Левушки и наметила то место, которое ему суждено было занять в русском искусстве — и именно в архитектуре. Самый факт, что этот виртуоз рисунка и кисти (акварельной), избрал своим поприщем зодчество, находится в некоторой зависимости от этой его черты. При изготовлении проектов он мог ею щеголять — как во «вкусном» вычерчивании деталей, так и в «аппетитной» заливке водяными красками, тушью или сепией. Его чертежами можно было любоваться, как картинами и это тем более, что он (по примеру папы) их населял сотнями человеческих фигурок самого разнообразного характера, причем ему, великому любителю скачек и бегов, особенно удавались лошади.

Иногда «Левушка» работал и не в качестве архитектора, а в качестве как бы «случайного живописца», и такие вещи в момент их возникновения приводили меня в восторг. Они пленяют меня и теперь, как пленяют некоторые произведения Изабэ, Жюля Дюпрэ или Гильдебрандта. Но такие неархитектурные произведения, редкость в обширном творении моего брата и самые значительные из них были созданы в начале его карьеры — в 1877 году, когда он гостил в Курской губернии у наших свойственников Бэр и мог вдоволь насладиться,

как сочной растительностью Украины, так и лошадьми и собаками, которых Беры держали для охоты. В этой украинской серии имеются и пейзажи, и этюды животных, и интерьеры. Всё это сделано с исключительным, подкупающим, почти даже «чрезмерным» мастерством. Однако в них же удивляет отсутствие всяких красочных задач. Большинство этих (очень разработанных) этюдов — сепии или рисунки пером, лишь слегка и условно подкрашеные.

Как архитектор-строитель Леонтий подавал блестящие надежды и началась его карьера с исключительного триумфа. Он окончил курс Акамедии Художеств за год до положенного срока, получив большую золотую медаль не в очередь. Такой же академический триумф выдался полвека до того нашему отцу — вообще же это редчайшие случаи в жизни Академии. Однако, правом на заграничное путешествие, сопряженное с получением медали, Леонтий не воспользовался, так как предпочел, не откладывая, жениться на той девушке, которую он полюбил. Влюбленность эта, к тому же, была обоюдная. Та, которая затем стала верной спутницей Левушки на всю жизнь, принадлежала к очень богатой купеческой семье, однако весь их роман случился как раз в тот год, когда состояние Сапожниковых был осовершенно расшатано. Во всяком случае, в домогательстве Леонтием руки Марии Александровны — не играли какие-либо корыстные побуждения. Считалось даже qu'il faisait sinon une mesalliance du moins un parti très peu avantageux[1]. Но в дальнейшем этот брак повлек за собой и необычайное благосостояние. После нескольких лет дела Сапожниковых (колоссальные рыбные промыслы в Астрахани и по Волге) поправились, а так как к тому времени и личные доходы Леонтия, как архитектора, повысились, то он и Маша стали в полном смысле богатыми людьми. Через год после свадьбы и после рождения старшей дочери — молодые отправились в путешествие по Италии. Оттуда посыпались восторженные письма, писанные типичным для Леонтия очень уверенным и калиграфическим

[1] Если он и не вступал в неравный брак, то, по крайней мере, делал невыгодную партию.

(и всё же неразборчивым) почерком и усеянные рисунками. Однако, вернулись молодожены уже через полтора месяца — путешествия не были в характере ни того, ни другого из них. Левушка привез с собой целый сундук фотографий, разглядывание и изучение коих стало с тех пор моим главным развлечением, когда я бывал у него в гостях.

Первое публичное выступление Леонтия связано с цареубийством 1 марта 1881 года. Городская дума поручила ему построить на месте гибели Александра II временную деревянную часовенку, которая, при всей своей незатейливости, обладала какой-то особой грацией, что и вызвало общее одобрение. Через год Леонтий принял участие в конкурсе на сооружение того Храма, который должен был быть воздвигнут на месте убиения Государя. Проект он сочинил эффектный и красивый (едва ли не лучшее, что им было сочинено за всю жизнь), в котором он, из уважения к стилю Петербурга, пожелал вдохновиться произведениями Растрелли. Однако, жюри присудило ему всего 3-ю премию тогда, как первые две были даны архитектурным композициям, сочиненным в более национальном вкусе: мания национализма всё более и более начинала тогда давать себя чувствовать. Однако и проект Томишко, удостоенный первой премии на этом конкурсе, не был приведен в исполнение, так как к Государю проник со своим проектом (пользуясь связями с духовенством и низшими служащими) архитектор Парланд, и его чудовищное измышление, поднесенное в очень эффектной раскраске, нашло себе высочайшее одобрение. Уже во время постройки «Храма на Крови» Академия Художеств настояла на том, чтобы были исправлены слишком явные нелепости и недочеты проекта Парланда, но, увы, и в этом исправленном, окончательном виде это жалкое подражание Василию Блаженному поражает своим уродством, являясь в то же время настоящим пятном в ансамбле Петербургского пейзажа.

Из дальнейшего архитектурного творчества Леонтия Бенуа следует выделить постройку двух банков на Невском, здание Страхового общества на Морской улице, собор-базилику в фабричном поселке Гусь (Мальцевские заводы) и, наконец, грандиозный и необычйно роскош-

ный православный собор в Варшаве, который был разрушен сразу, как только польское государство получило независимость. Увы, из всех этих зданий, я не мог бы назвать ни одного в качестве архитектурного образца или хотя бы просто как настоящую удачу. Леонтий, для своего времени, был передовым архитектором, он не прочь был поискать новых путей, он старался освежить старые формы, заставить их лучше служить новым требованиям. Его планы остроумно сочинены, его детали отлично прорисованы — но всему, что он создал, недостает какого-то «художественного обоснования». Всё носит характер чего-то случайного, всё лишено убедительной гармонии. И вот спрашивается, не вредила ли моему брату больше всего та же легкость и ловкость — нечто такое, что ему мешало вдуматься, что заставляло его довольствоваться первой попавшейся комбинацией форм — раз таковая казалась складной и эффектной. Не давал он и подсознательному началу выявить внутри созревшее решение — он сразу начинал устанавливать свою композицию. При этом, обладая и хорошей памятью и значительной эрудицией, он завершал свой проект в фантастически короткий срок, тогда как у других художников-архитекторов только еще начинала созревать мысль. Зато все произведения Леонтия и носили отпечаток подобной скороспелости. А кроме того, Левушка попал в особенно скверное для зодчества время. Его воспитание было лишено уже тех строго классических основ, которые составляли самый фундамент воспитания архитекторов первой половины XIX века и которые еще действовали облагораживающим образом на архитектуру эпохи романтизма. Эпоха же более позднего архитектурного воспитания (1860 и 1870-е годы), отличалась беспринципным дилетантизмом, а подражание всевозможным стилям (при очень поверхностном ознакомлении с каждым из них), дошло до известного «разврата». Это кидание из стороны в сторону, из одного мира идей и форм в другой, стало еще более путанным, когда вдруг ни с того ни с сего возникли требования создания во что бы то ни стало чего-то нового, когда на сознание архитекторов стали давить разнообразные теории, ставившие непременным условием подчинение требованиям

«конструктивности». Принципы соблазняли своей логикой, но сами по себе они не создавали солидной почвы: они витали где-то в воздухе, им недоставало того, что может быть дает только время и накопление традиций.

Но была и еще одна причина, благодаря которой наш славный и милый и исключительно одаренный Левушка всё же таки и не сделался большим или хотя бы хорошим художником. Этой причиной был... его слишком счастливый брак — самый счастливый из всех мне знакомых браков, если не считать моего отца и меня самого. Для сложения художественной личности моего брата этот «счастливый» брак был, пожалуй, роковым. Мария Александровна была маленькой пухленькой женщиной с приветливой улыбкой, не сходившей с полных губ, с ласково хитроватым взглядом своих серых глаз. Она физически очень подходила к мужу, который тоже был невысокого роста и отличался известной полнотой. Оба представляли собой отлично подобранную пару. Но и в смысле темперамента, в своем отношении к жизни, Левушка и Маша вполне друг с другом гармонировали. Между ними за все сорок пять лет супружества не возникало даже тех мелких ссор или не «более суток» длящегося раздражения, которых не удается избежать и при самых образцовых подборах. И всё же Мария Александровна Сапожникова принадлежала, по своей породе, по своему воспитанию и образу жизни, к совершенно иной людской категории, нежели та, которая была подлинно нашей, а следовательно категорией ее мужа. Ее среда была характерно купеческая, совершенно земная. Естественно, что она никак не чувствовала искусства и, мало того, совершенно в нем не разбиралась, не замечала его. Для нее, типичной дочери торгового мира, искусство было средством добывать деньги, достижения почета в обществе, средством сделать жизнь удобной для себя и завидной для других, но чтобы художественное творчество было каким-то духовным подвигом, чтобы можно было выражать посредством него устремления и мысли более возвышенного порядка — это было вне ее помыслов и желаний. Любопытно, что, воспитываясь вместе со своей сестрой Ольгой в Швейцарии, она близко сошлась с Марией Башкирцевой, которая была одних с ними лет

и чуть ли не приходилась им сродни. Сохранились фотографии, на которых сестры Сапожниковы сняты вместе с автором знаменитого дневника. Но я сомневаюсь, что Мария Башкирцева, действительно, считала этих девушек за своих сердечных подруг; упоминает она о них как-то вскользь и без какой-либо теплоты.

При довольно остром уме, при вовсе не злом сердце меня лично Машенька огорчала именно отсутствием всякого «взлета». И особенно мне было как-то досадно за брата, которого я любил и уважал и который, как мне казалось, именно благодаря ей всё более и более погружался в житейскую прозаическую тину... Мне всегда было не по себе в их доме, в детские же годы (лет до 13-ти) меня даже трудно было туда затащить, а когда попадал, мне сразу становилось у них невыносимо скучно. Чем роскошнее были обеды, которыми они угощали, чем деликатнее вина, чем оживленнее беседы в их очень теплой, но мне абсолютно неинтересной компании, тем мне становилось тяжелее на душе. Позже именно в доме Левушки и Машеньки я научился быть в каком-то особенном смысле «циничным»: я наедался вкуснейших и драгоценнейших вещей, запивая их винами из роскошного их погреба, но наевшись и напившись, я спешил поскорее убраться — что и удавалось без особенного труда, так как после обеда и гости и хозяева садились за карты и сразу же до такой степени бывали увлечены игрой, что ничего другого вокруг себя не замечали. Полюбуешься на картины, доставшиеся Леонтию из Кавосского и Сапожниковского наследства (среди последнего красовалась и знаменитая «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи, проданная впоследствии в Эрмитаж), полистаешь фотографии или какую-нибудь французскую edition de luxe, до чего Леонтий был большим охотником, а там, под шумок разговоров и карточных споров — удастся пробраться в переднюю и на лестницу. На их даче в Петергофе, прелестном коттедже, построенном Леонтием на самом берегу моря, имелось и другое: пойдешь в смежный с дачей царский парк, понюхаешь цветов, обильно рассаженных на клумбах, полюбуешься закатом над Финским заливом, поиграешь с собаками и с кошками, побеседуешь с попугаем, но и это всё, в специфической

атмосфере дома брата, теряло для меня свой соблазнительный характер. Я пробирался к калитке, а оттуда бежал на поезд или на пароход, чтобы скорее снова очутиться у себя, в нашей атмосфере, в атмосфере нашего дома и моих родителей.

Нашу чуждость, классовую и расовую, я особенно ощутил в тот день, когда к нам впервые пожаловали для знакомства родители Марии Александровны — тогда только что ставшей невестой моего брата. Александр Александрович Сапожников (мне уже самая фамилия не нравилась: фи — сапожник!) был необычайно ласковым человеком, с «манерами английского аристократа». Раз в неделю он составлял партию виста с великим князем Николаем Николаевичем, и это ему давало ощущение, что он какой-то вельможа. В то же время у Александра Александровича было достаточно такта, чтобы не обнаруживать вследствие этого какой-то спеси. Меня поразил его необычайно маленький, почти карликовый рост и при этом поседевшая, прелестно надушенная борода, спускавшаяся до полгруди. Ногти у него были длиннейшие и тщательно выхоленные, а одет А. А. Сапожников был с иголочки. Он отлично говорил по-французски и по-английски, щеголял даже тонкостью произношения, которая поражала наши уши, привыкшие к более простому разговору. И всё же он оставался типичнейшим российским «купцом», что, впрочем, не без некоторого кокетства, он сам и подчеркивал, употребляя иногда простонародные, бывшие еще в ходу у его родителей, выражения и называя непременно свою жену, женщину тогда вовсе не старую, «своей старухой». Что же касается до последней, то Нина Александровна Сапожникова была одной из тех сумасбродных русских барынь, которая без толку и без смысла сорила деньгами по всей Европе, польщенная, что ее в отелях и в курортах величают «прэнсесс». Нелепая во всем, она претендовала на очень высокий ранг в обществе, на нестареющую молодость и на неотразимую прельстительность. Как следствие того, за ней волочился целый хвост разных авантюристов, непрестанно куривших вокруг нее фимиам лести и клянчивших у нее всякие подачки. Этот ее специфический образ жизни и был причиной того, что

Сапожниковы несколько раз оказывались на самом краю разорения и спасало их лишь то, что каждый раз на их дело накладывалась «администрация». Держала себя Нина Александровна несколько надменно, а это я уже никак не мог выносить, а тем паче со стороны «какой-то купчихи», хотя бы она была миллионершей и щеголяла бриллиантами и жемчугами невиданной величины[2].

Нина Александровна, после смерти мужа (в конце восьмидесятых годов), получившая полную свободу, пошла так дурить, что ее от времени до времени приходилось брать под опеку. Окружив себя штатом фаворитов и приживалок, она металась из Парижа в Астрахань, из Петербурга в Ниццу, слывя всюду за русскую богачку, проигрывая десятки тысяч рублей в Монте-Карло, заказывая себе, дочерям и внучкам бесчисленные платья у самых дорогих парижских портных. У своих родственников, Альбрехтов, она приобрела их имение под Ямбургом Котлы с великолепным барским домом и необъятным лесом, в Париже она купила на Шан Элизэ роскошно обставленный особняк одной из львиц Второй Империи — маркизы Паивы, в Ницце она заново отделала свою роскошную виллу и расширила сады, в Астрахани в почтенном родовом доме, она принялась всё переиначивать на новый лад. Если бы она прожила еще год или два, то состояние Сапожниковых пошло бы окончательно прахом, — но тут она и окончила свою бесшабашную и безвкусную жизнь, далеко еще не будучи дряхлой старухой. Года два ушли затем на то, чтобы снова привести дела в порядок, расплатиться с долгами и ликвидировать всё ненужное — (в том числе и особняк Паивы), после чего обе семьи ее дочерей Марии Бенуа и Ольги Мейснер зажили в довольстве и в спокойствии.

Последние годы жизни Леонтий занимал должность ректора Академии художеств. Смутное время уже приближалось. Среди учащейся молодежи назревало поголовное фрондирование начальства и постепенно оно перешло (во всех слоях общества) в открытое возмуще-

---

[2] Ей между прочим принадлежали два колоссальной величины (но, увы, желтой воды) бриллианта, которые были выставлены в Париже на Всемирной Выставке 1900 г. (уже после ее смерти) ювелиром Бушерон в отдельной витрине.

ние режимом. Но деятельность ректора Бенуа не подвергалась общей критике, ученический состав не выносил ему порицаний, его не собирались «вывезти на тачке». Уважение, которым Леонтий пользовался, даже у молодежи, оставалось до конца непоколебимым. Уважали же ученики Академии своего профессора и ректора и как безупречно хорошего человека (вне всякого вопроса о принадлежности его к какому-либо «классу») и как толкового и внимательного руководителя. Он не был словоохотлив, он ненавидел пустое разглагольствование, у него была манера просто, спокойно делиться своими знаниями, не навязывая советов; свою же критику он высказывал до того искренне и просто, что это не могло ни обидеть, ни озлобить. В чисто художественных вопросах он опять-таки искренно интересовался всякими «поисками нового», предлагаемыми современными теоретиками и, если не давал особенно убедительных ответов на эти вопросы, то умел в других возбудить к ним внимание. Наконец, покоряюще продолжала действовать и вся талантливость его натуры, всё та же изумительная легкость карандаша, та же аппетитная сноровка «заливать акварелью и тушью». Ныне характерные для него приемы могли бы показаться устарелыми, но кому давалось видеть самое применение этих приемов, получали огромное удовольствие с примесью большого уважения к подобному мастерству. Даже после воцарения большевиков Леонтий, бывший любимец в. к. Владимира Александровича и в. к. Марии Павловны, бывший Архитектор Высочайшего Двора, продолжал профессорствовать, хотя уже ректором он не состоял (да и самая эта должность как будто была упразднена). Популярность же Леонтия в академической среде получила особенно внушительное выражение в момент его кончины, в 1928 году. Ему были устроены от Академии такие похороны, которые вообще не допускались для «пережитков буржуазии» в пролетарском государстве. Его тело было выставлено в круглом Конференц-зале, в котором он когда-то был чествуем, как самый талантливый из учеников, у гроба его дежурили академисты, а до кладбища его провожала тысячная толпа.

В профессорской деятельности Леонтия и во время

революции всё оставалось по-старому. Его преподавания не коснулись те бредовые реформы всяких полоумных ораторов, которые внесли полную неразбериху в академическое обучение. Но не так счастливо обстояло в его интимной жизни. Свое разорение после октябрьского переворота он пережил легко — как это было почти со всеми тогда. Когда гибнет целый корабль, то мысль об утрате каких-то личных ценностей почти теряет свою значительность. Более чувствительным ударом было то, что сгорела от несчастного случая та прелестная дача, которую он себе построил в Петергофе и которая каким-то чудом оставалась в его пользовании первое время при большевиках. Еще печальнее было то, что большую часть своей уютной квартиры в собственном доме (на 3-й линии Васильевского острова), ему пришлось отдать совершенно чужим людям, и этот насильственный симбиоз повлек за собой для моего бедного, избалованного роскошью и комфортом брата ряд величайших неудобств. Затем начались болезни и более тяжелые горести. Дважды за последние десять лет ему пришлось подвергаться операции, и это отозвалось на всем его мироощущении. Он как-то поник, завял, утратил в значительной степени свою жизнерадостность. Но, разумеется, всего трагичнее было то, что трое из его детей, спасаясь от нужды и всяких угроз, покинули Петербург и Россию[3]. Младший же сын, милейший юноша и блестящий гвардейский офицер, Шура, бежавший как и старший брат во Францию, поступил затем в Добровольческую армию и был заколот штыками под Киевом, — сам Леонтий едва не сделался жертвой большевистского террора. Осенью 1921 года, в разгаре арестов по делу профессора Таганцева, он вместе с женой и детьми был арестован и посажен в тюрьму. Жена и

---

[3] Одна из его дочерей Надежда — ныне известная в Англии, как художница Надя Бенуа, сохранившая для выставок свою девичью фамилию, хотя ее настоящая фамилия по мужу — Устинова. Переселилась она заграницу не вследствие нужды, голода и опасности для жизни, а потому что вышла замуж по любви за одного молодого человека, приехавшего в Россию в поисках своей матери. Единственный сын их, Питер Устинов, ныне приобрел мировую славу, как автор необычайно остроумных комедий и как первоклассный актер.

дети через несколько дней были отпущены, но Леонтий оставался в заточении месяцев шесть и никакие хлопоты не могли освободить его, ни выяснить на каком основании его, человека абсолютно далекого от всякой политики, арестовали. Мы все дрожали за его жизнь, ибо то и дело распространялись слухи, что его судят, как шпиона, что его осудили, что его на днях расстреляют. Когда же, благодаря заступничеству первой жены Горького и Н. Д. Соколова, он был освобожден, то на его вопрос, в чем он провинился, следователь ему ответил: «Тут вышло недоразумение».

Что касается духовного облика Леонтия за эти последние неблагополучные годы, то он представлял собой нечто удивительно просветленное. Одно за другим разваливалось и стиралось с земли то, что он почитал, чему служил, что любил — однако, ко всем этим катастрофам он относился со стоическим спокойствием или, вернее, с какой-то всепрощающей покорностью, которую я назвал бы христианской, если бы таковая была исключительной принадлежностью христианства. К религии же Леонтий относился, если и с глубоким почитанием, то всё же без особенного рвения. Оставаясь добрым католиком, он унаследовал от отца и полную веротерпимость — в частности в отношении православия, со служителями которого он непрестанно, как строитель церквей и соборов, находился в общении. Я и многие из нашей семьи даже считали, что он втайне обратился к религии своей горячо любимой жены и своих детей, однако на смертном одре он всё же предпочел подтвердить свою верность церкви дедов и, следуя настойчивым убеждениям своего старого друга Э. К. Липгардта, пригласил остававшегося в единственном числе в Петербурге французского священника, отца Амодрю, который его и соборовал. Кончил жизнь Леонтий, как благочестивый праведник.

Глава 16

БРАТ НИКОЛАЙ

Из всех братьев я менее всего был близок с Николаем, носившим уменьшительные имена Коли и Николаши. Причиной того, что мы не особенно сходились, была не столько разница в годах (он был на двенадцать лет старше меня) и не то, что он меньше бывал в доме, нежели другие и не тот факт, что он был военным — сначала кадетом, потом юнкером, потом офицером. Ведь в детстве я питал большую слабость именно к «людям в форме». Скорее всего причиной нашей разобщенности было то самое, что и позволило Коле не только выбрать военную карьеру, но и остаться в ней на всю жизнь. Коля был военным по природе, до мозга костей — по призванию. Он был насквозь пропитан воинским духом, точнее «духом военщины», а вот это мне и не нравилось; мне инстинктивно претило это даже в такие времена, когда я ровно ничего в этом не сознавал, а красивыми формами «солдатиков» очень увлекался. Отталкивал меня от Коли весь его особый «стиль», вплоть до его чуть сиплого, грубоватого голоса, до манеры лаконически изъясняться отрывистыми фразами и вплоть до его слишком шумливого нрава. Пожалуй, мне даже не очень нравилась его наружность, хотя, говорят, я одно время особенно сильно походил именно на него. Я и в детстве то не часто видел Колю, ибо он воспитывался интерном в кадетском корпусе и даже на лето уходил в лагери, с момента же его поступления в лейб-гвардии его величества Уланский полк, он совершенно переселился в Варшаву, где имел постоянное местожительство, дослужившись там до чина полковника. Уланская форма была одна из самых эффектных, и она не утратила своей

традиционной декоративности даже после того, как Александр III ввел новую очень уродливую, якобы национального характера, обмундировку для почти всего российского воинства. Уланы же сохранили на бекрень надетую шапочку из черной лакированной кожи со странно прилаженным к ней квадратным донышком и с белым султаном, и свой темносиний мундир с желто-оранжевым околышком и красной грудью, и рейтузы и сапоги и серебряные аксельбанты, а зимой — распашистую серую шинель с бобровым воротником. В таком виде Николай представлял в нашей семье элемент какой-то особой аристократической парадности, да и самое его состояние в гвардейском полку давало ему в глазах общества особый «ореол». В известные дни он имел вход во дворец и фигурировал в качестве танцора на придворных балах. Постепенно он обзавелся обширным кругом светских знакомых, среди которых многие были титулованными и служили в таких же «эффектных» полках, как и он сам.

Но вот, что замечательно. Эта светскость атмосферы, в которой вращался Николай, совершенно не меняла его духовного облика. Каким он был в корпусе — простым, чуть грубоватым, «славным-парнем», таким он и остался в полку, вследствие чего он и пользовался, несмотря на свою неуступчивую строгость, искренним расположением солдат и самой теплой дружбой со своими товарищами. Он даже приобрел известную популярность, и не только благодаря своим неоспоримым моральным качествам — отзывчивости, абсолютной правдивости и тому тяготению к справедливости, которая его особенно сближала с братом Леонтием, но и своими чудачествами. Никаких художественных способностей или склонностей он не проявлял. Его варшавская квартира, сначала в полку, а затем в городе, была самая банальная, «пустая» и «голая»; он лично даже не нуждался в элементарном комфорте; однако какая-то художественная нотка всё же проходила через его существование, и она именно выразилась в его чудачествах, впрочем не всегда отмеченных хорошим вкусом. Для примера приведу два случая — один характеризует Николая в качестве какого-то паладина в духе... дон Кихо-

та, другой в качестве строгого начальника; однако оба едва ли могут показаться достойными подражания. В первом случае особенно неприятно поражает его явно юдофобский оттенок, что, впрочем, входило в обычаи стоявшего в Варшаве гарнизона.

Как-то, когда он возвращался с ученья, где-то довольно далеко от города, в дождливый осенний день, Николаю, ехавшему со своим эскадроном, повстречалась типичная длинная-предлинная польская телега, в которой сидело человек двадцать сильно подвыпивших на свадьбе евреев, мужчин и женщин. Тащила же эту галдевшую и шумливую компанию дряхлая, совершенно выбившаяся из сил лошаденка, еле ступавшая по липкой глубокой грязи. Николай не смог вынести такого издевательства над несчастным животным. Он остановил своего коня перед телегой и гаркнул: «Слезай». Все пассажиры не сошли, а слетели на землю... «Распрягай», — было вторым приказом, а третьим: «Привязать лошадь сзади, а самим впречься и тащить». Перечить уланскому офицеру никому и в голову не могло прийти, всё было исполнено с величайшей поспешностью, но дабы убедиться в том, что и в дальнейшем его распоряжение будет исполнено, Николай со своими уланами проводил спешившуюся свадьбу до самой той деревни, куда она возвращалась.

Второй, не менее живописный, случай был мне рассказан с возмущением самим пострадавшим, но, признаюсь, я в данном случае не мог отказать в доле симпатии моему свирепому братцу. Жертвой на сей раз был богатейший купеческий сынок, эстет и самодур, который из соображений элегантности постарался для отбывания воинской повинности попасть в уланы. Таких господ Николай еще менее долюбливал, нежели польских иудеев, а потому жизнь бедного Н. П. оказалась в полку далеко не сладкой. Вящую же неприятность ему пришлось испытать перед самым концом своей службы. Желая вернуться в Москву прежним красавчиком, очень гордившимся своими светлыми кудрями, Н. П. дал взятку кому следует и залег за полтора месяца до выхода на волю в госпиталь, где волосы у него снова успели отрасти вдали от глаз начальства. Но проделка эта дошла до Николая,

и вот, не без доли садизма, он дождался предпоследнего перед выходом на волю дня и только тогда предстал перед своей жертвой. Сорвав с головы «больного» колпак, он увидал уже заготовленную прическу и тотчас же позвал полкового цирульника, который при нем наголо обрил онемевшего от ужаса и стыда юного миллионера.

Эти два случая достаточно характеризуют моего брата с «юмористической» стороны, но достойны внимания все остальные стороны его личности, как образцового служаки, как «отца своих солдат», как трогательно преданного товарища и, наконец, как семьянина, помещика и полкового командира. И тут было бы о чем порассказать, ибо, несомненно, мой брат был в полном смысле слова очень оригинальной из ряда вон выдающейся личностью. Леонтий тот после смерти Николая даже собирался издать о нем целую монографию. Среди материалов к ней он мог бы использовать ценнейшую исповедь Николая, не всегда складную по форме, но всегда правдивую. В ней он рассказывал свою не особенно радостную жизнь, в частности те глубокие недоразумения, что выросли между ним и его женой, а также все те мытарства, через которые приходилось ему пройти раз задавшись целью спасти от ростовщиков колоссальное имение-майорат, принадлежавшее его пасынку. В этой исповеди он кается в своих безудержных проявлениях гнева, подчас походивших на припадки безумия. Однако, всё это лежит как-то вне моей основной задачи, ибо всё это происходило где-то в стороне — частью в Варшаве, частью в средневековом замке Межибоже, служившем резиденцией полкового командира Ахтырских гусар, которыми командовал брат в течение нескольких лет. Гораздо раньше я получил возможность изучить Николая в непосредственной близи и с этим мне хочется здесь поделиться.

Когда Коля приезжал в отпуск и останавливался у родителей, ему каждый раз отводилась большая комната, бывшая папиной чертежной. Не успеет брат в ней расположиться, как по всей квартире поползет типичный офицерский дух — особая, довольно приятная, смесь из духов, табака и кожи. Вот этот-то запах стал неотделим от нашего обиталища в течение целых двух лет, кото-

рые Коля провел (в конце 1880-х годов)[1] в Петербурге, решив, что ему необходимо пополнить свое специальное образование посещением курсов Кавалерийской школы. На это время была перевезена к нам часть его личной обстановки, стены чертежной украсились фехтовальными рапирами и масками, саблями и шашками, а рядом в коридоре был поселен его деньщик Степан, рослый и красивый, но необычайно тупой и нелепый парень. Впрочем, сугубая нелепость Степана была скорее всего вызываема тем страхом, который этот несчастный мужик, «взятый прямо от сохи в полк», испытывал перед его высокородием и в частности перед теми уроками русской грамоты, которым Николай, желая просветить Степана, отдавал несколько утренних часов. Как было не дрожать Степану, когда за малейшей ошибкой следовала грозная распечка, причем не жалелись бранные, произносимые с неистовством, слова, дико звучавшие в нашем респектабельном доме, вообще иных криков не слыхавшем, кроме тех, что во время игр издавала возившаяся детвора. Особенно же трудно давалось Степану вытверживать наизусть все многочисленные имена великих князей, княгинь и княжен, что в представлении Николая должно было возбуждать особенно лойяльные чувства, приличествующие русскому воину. Тут-то, в случае ошибок, и раздавались особенные свирепые окрики, а два или три раза — за ним последовало физическое воздействие, за что затем сильно попадало Николаю от мамы.

В начале пребывания брата меня его присутствие тяготило и особенно мучительно я переносил его шумливость, а также то, что он моментами, когда случайно Степан отсутствовал, требовал от меня всякие специальные услуги — например, чтобы я помог ему стащить сапоги или чтобы я продел в надлежащей системе аксельбанты, что никогда мне не удавалось сразу — откуда нетерпеливые ноты, которые я ощущал, как очень обидные. Но постепенно я стал привыкать к брату и постепенно стал оценивать всё то благодушие, которое скрывалось под оболочкой его «военной грубости» и всякого чудачества. Стал я оценивать и ненавистное сна-

[1] С осени 1888 г. по осень 1890 года.

чала общество его друзей, среди которых были отставные военные. Особенно со мной был ласков Ермолай Николаевич Чаплин (выговаривалась его чисто русская фамилия точь-в-точь, как выговаривается фамилия Шарло) — очень крупный, очень полный господин с усами и бакенбардами на широком типично русском лице. Он был великий мастер на всякие пикантные анекдоты, при этом он был тем, что немцы называют «Ein feiner Konditor»[2]. Кончил он свою карьеру, начатую в Уланском полку — Петербургским почт-директором, и жил он одно время в прелестном классическом здании Таможни, где у него была зала с колоннами и где он меня неоднократно кормил вкусными обедами. Другим моим другом был царскосельский гусар Ратч, очаровательно крошечный офицерик-куколка, который являл в своих разнообразных формах (то красной, то темносиней, то белой) необычайно кокетливый вид — точно он только что прибыл с балетной сцены, на которой откалывал мазурку. Ратч был большим весельчаком, и он очень оценил тот непринужденный стиль, который царил у нас в доме. Он вскоре стал приходить не столько к Коле, сколько к моим родителям, запросто и без приглашения, являясь то к обеду, то к вечернему чаю, занимая всех неистовым своим хвастаньем, а то и просто враньем. За последнее ему часто доставалось от товарищей, но наших домашних, и даже мою правдолюбивую мамочку, он именно этой чертой пленил. Она заливалась при его рассказах своим бесшумным смехом до слез, и даже строгая тетя Лиза Раевская млела перед гусариком тем более, что он был с нею изысканно вежлив и по всем правилам прикладывался к ручке. Рассказывать же Ратч был действительно мастер. Рядом с приземистым Николаем и с громадным Чаплиным он был настоящей фитюлькой, но когда, в парадные дни, он во всей своей гусарской красоте приезжал к нам за Николаем, чтобы вместе ехать во дворец, он являл поразительно эффектный вид, особенно когда одевал свою меховую шапку с превысоким белым султаном.

Двое из друзей Николая имели своего рода абоне-

[2] Хорошим кондитером.

мент на наши воскресные завтраки — то был барон Карл Деллингсгаузен и граф Николай Ферзен, тот самый, который в последующие времена был адъютантом вел. кн. Владимира. Оба тогда были варшавскими уланами и оба проходили тот же курс в офицерской школе, как и Коля. Оба были притом типичными «остзейцами», оба сильно белокуры, оба говорили по-русски правильно, но с легким немецким акцентом, оба были отлично воспитаны и изысканно вежливы. Мама ценила этих молодых людей и угощала разными «spécialités de la maison»[3], среди которых особенно славился воскресный традиционный пирог с вязигой. Но между бароном и графом была и большая разница. Деллингсгаузен был само добродушие; я очень скоро выпил с ним на брудершафт, после чего стал по примеру его товарищей фамильярно называть его Карлушей. Напротив, граф Ферзен строго сохранял всегда дистанцию, что и соответствовало его характерно германской абсолютно прямой осанке, его высокому росту и «аполлоническому» сложению. Деллингсгаузен поминутно смеялся, наслаждаясь шутками Николая, подчас довольно рискованными, Ферзен же довольствовался одними улыбками. Родители наши принимали малое участие в разговорах этих господ-офицеров, обыкновенно делившихся своими наблюдениями о скачках, о лошадях, о приемах седлания и т. д. или же обсуждавших разные полковые дела, никогда при этом не впадая в сплетни (напротив, Ратч был великим сплетником). Бывали, однако, случаи, когда папа что-либо расскажет о временах Николая Павловича, и это всегда было встречаемо с большим интересом, ибо рассказы отца отличались живописной яркостью.

Женился Коля, сравнительно с прочими братьями, поздно, в Варшаве, и взял он себе в жены даму тоже не самой первой молодости, вдову с двумя детьми — госпожу Слезкину, урожденную баронессу Бремзен. До того у него в течение нескольких лет был роман с цирковой наездницей, на которую он извел не мало (родительских) денег: мама долгое время пребывала в ужасе, как бы он еще не женился на этой «акробатке». Женитьба на даме

[3] Любимыми блюдами.

из лучшего общества гарантировала от повторения подобных авантюр, а так как в распоряжении г-жи Слезкиной и ее матери находилось очень крупное имение-майорат сына и внука, оцениваемое в несколько миллионов рублей, то можно было считать, что этот брак будет и в материальном отношении выгодным. Правда, имение было заложено и перезаложено, но Николай считал, что, благодаря более толковому ведению дел, ему удастся в несколько лет освободить его от задолженности. Имение своего пасынка он, в конце концов, действительно очистил от долгов, что и послужило к упрочению особенно нежных чувств между ними, но как раз к тому же времени супружеские отношения между Николаем и Констанс приобрели невыносимый для обоих характер, — и им пришлось разъехаться.

Эти семейные нелады приобрели особенную остроту в бытность Николая командиром Ахтырских гусар и его пребывания в Межибоже, где стоял его полк. Возможно, что самая обстановка послужила обострению драмы. Командиру полка и некоторым офицерам был отведен обширный и мрачный древний польский замок, стоящий на самом слиянии двух рек, и вот крепостные его стены и своды, темные его переходы, унылые его башни и терассы сделались свидетелями почти ежедневных сцен, происходивших на глазах всего полкового штаба между супругами Бенуа. Однажды Николай, совершенно озверев, даже погнался с ножом за Констанс; насилу его удержали и нож вырвали. Кто был прав, кто виноват в каждом случае, решить было трудно, но несомненно, что главным образом здесь действовало полное несоответствие характеров. Насколько Николай был прям и абсолютно не выносил даже самой невинной лжи, настолько бедная Констанс была лишена простоты и естественности. Эту манеру она всосала с молоком матери — дамы, кстати сказать, довольно-таки склонной к интригантству. Остается удивляться, как этой черты Николай не заметил еще до того, чтобы остановить свой выбор, как мог он сделать подругой жизни особу, если и обладавшую всевозможными качествами, то отличавшуюся и такой чертой, которая должна была его коробить, более чем что-либо. Плодом этого плохо налаженного бра-

ка были три дочери, которых оба родителя сердечно любили, однако и на почве воспитания их также возникали всевозможные недоразумения, следствием которых было то, что в момент, когда Констанс разъехалась с мужем — все три девицы последовали за матерью.

Годы, непосредственно предшествующие войне 1914 года, Николай уже был в отставке — считается даже, что вечные скандалы в Межибоже были поводом к тому, что недолюбливавший его министр Сухомлинов дал ему понять, что ему пора уходить. Николай переехал тогда в Петербург к своему любимому брату Леонтию — и очень тяжко переносил свое одиночество, особенно же свое безделие. Зато он с необычайным рвением вернулся к исполнению своих обязанностей, когда с началом военных действий он снова был призван на службу (в чине генерала) и был отправлен в Сибирские губернии с ответственным поручением собирать ополчение... Но не долго продолжалась эта служба, которую он, кстати сказать, всячески старался переменить на службу на фронте. В декабре 1915 года Николая постиг удар, как раз в момент, когда он что-то вносил в свой дневник. Тело его затем было перевезено в Петербург и заботой Леонтия похоронено рядом с тем местом, которое Леонтий уготовил на кладбище в Новодевичьем монастыре себе и своим близким. Последний раз я видел лицо Николая очень потемневшим, но всё еще «вполне на себя похожим» через застекленное отверстие в крышке гроба. Вдова же его и дочери, прожив войну в Киеве, эмигрировали в Берлин, где Констанс скончалась, а ее дочери вышли замуж и обзавелись семьями.

Глава 17

БРАТ ЮЛИЙ

Еще не мало людей на свете, которые хорошо знали моих братьев Альбера, Леонтия, Николая и Михаила; нередко ко мне обращаются особы преклонного возраста, от которых я слышу такие фразы: «я был сослуживцем вашего брата», «я очень любил вашего брата», «я храню благодарную память о вашем брате». И это не мудрено каждый из моих братьев имел обширный круг знакомых и многие из них живы до сих пор. Не так обстоит дело с моим братом Юлием, которого из всех живущих на свете — и после смерти наших родителей и всех моих близких родственников — кроме меня, наверное никто не помнит. Он и не оставил никакого следа о своем земном пребывании, если не считать его бренных останков, да и те, опущенные в наш семейный склеп осенью 1874 года, может быть подверглись уничтожению. Между тем я обязан рассказать здесь про этого отрока, покинувшего нас, будучи всего четырнадцати лет отроду. Впрочем я не стану рассказывать здесь про те события семейной жизни, в которых он участвовал (об этих событиях будет сказано в моей личной летописи), но постараюсь описать его самого. Это уже потому необходимо, что я храню до сих пор самую нежную память об Ише и потому еще, что эта моя нежность была вызвана той необычайной для мальчика заботой, которой он, будучи на десять лет старше меня, окружал мою крошечную персону. Я имею основания думать, что если бы Иша остался в живых, я бы именно в нем имел того брата-друга, какой мне вообще недоставал, ибо сколько бы я не любил моих других братьев и сколько бы они не вызывали во мне братских чувств, я всё же никого из них

другом не могу назвать — у меня не было с ними определенной духовной связи. Напротив, меня влекла к Ише какая-то духовная общность. Будучи ребенком, едва только начинающим сознавать окружающее я уже резко отличал Ишу от других братьев и это отличие было явным предпочтением. Выражаясь словами в те времена мне неизвестными, я чувствовал, что Иша понимает меня. Его одобрение и его порицание значило для меня больше, нежели одобрение или порицание других «старших». Да я и не видел в нем старшего — он был моим товарищем, причем он и тени «обидного снисхождения» не выказывал в отношении меня.

Большую роль тут играло то, что в нем было масса детского ребяческого, и в то же время он был я сказал бы, более «интеллектуален», нежели прочие мои братья. Он был тоньше их, внимательнее к другим, более страстно заинтересован всевозможными явлениями, людьми, вещами, природой. Под его руководством я развивался с быстротой не совсем нормальной, и, вероятно, именно благодаря этому я сохранил в памяти с такой абсолютной отчетливостью всякие тогдашние происшествия, да и самые обстановки, вид комнат и вид той Петергофской дачи, в которой прошли последние прожитые с ним летние месяцы. Его смерть оставила меня, среди массы людей, и людей самых близких, в некотором как бы одиночестве. И мне думается, что всё мое развитие тогда вдруг замедлилось, что, быть может, было мне и в пользу.

Наружностью Иша очень походил на меня — точнее я походил на своего старшего брата. Когда впоследствии я глядел на себя в зеркало, мне казалось, что я снова вижу брата и в такие минуты я как-то утешался и более снисходительно относился к своей наружности, она не казалась мне столь обидно «несоответствующей моему идеалу». Особенно, когда мне сшили гимназический мундир — я стал себе напоминать Ишу, которого я как раз помнил в таком же мундире. Но и волосы, несколько широко раздавшийся нос, постав глаз — всё это было похоже на Ишу... Что же касается до сторон духовной и художественной, то тут я узнавал в себе именно Ишу. Меня тянуло, как и его, к изображению разных странных, а подчас и жестоких вещей, я обожал сказки

и истории, в которых рассказываются жуткие вещи, в моих мечтах меня тянуло к авантюрам. Правда, я никогда не предавался с таким фанатизмом разным видам спорта, с каким предавался Иша, который был образцовым конькобежцем, бесстрашным мореплавателем и посвящал значительную часть каждого утра упражнениям на турникете, трапеции или развитию мускулов посредством манипуляций с гирями. Но я любил смотреть как он вихрем летал на коньках по прудам Юсупова сада, я замирал от восторга, когда, управляя парусом, Иша производил всякие эволюции у казенной Петергофской пристани, и я ликовал, когда он, разгоряченный и упоенный победой, являлся первым в каком-нибудь беге или выигрывал приз на каком либо ином состязании. Не эти ли спортивные «излишества», против которых иногда восставала мама, и свели его к ранней могиле? Быть может, он испортил свое здоровье и разными экспериментами, вроде длительного поста или съедания каких-либо особенно горьких или отвратительнаго вкуса вещей, — в чем он старался проявить свое поклонение спартанским нравам.

Наконец, и его отношение к учению, к самообразованию как бы предвещало мое отношение к тому же самому. Он был по отзыву всех совершенно исключительно одарен во всех науках, однако он плохо учился в гимназии и не лучше стал учиться, когда его перевели, в самую ту осень, когда он умер, из классической гимназии в реальное училище. В зимние месяцы Иша никогда не сидел без дела, но если он и зачитывался книгой, то эта книга не была каким-либо учебником, если он часами что-либо выводил пером или карандашом на бумаге, то это не было приготовлением школьных уроков. Единственные два предмета, которые его интересовали, была география и история, особенно древняя... К моим очень ранним воспоминаниям принадлежит такая сцена. Я стою на коленях на стуле рядом с Ишей и через локоть его левой руки с захватывающим волнением слежу за тем, что появляется из-под его карандаша. А получались у него высокие пирамиды, по склонам которых копошатся над постройкой сотни фигурок и работают подъемные машины. Вот колоссальный камень сорвался с крюка и

летит вниз, укладывая на пути несчастных и кровь струями сбегает со ступени на ступень. Или еще — стройными рядами выступают гоплиты в золотых (желтых) касках, украшенных конской гривой. Они отражают натиск других воинов, что мчатся верхом или на колесницах им навстречу. И снова кровь бежит ручьями или капает с мечей и льется струями из израненных тел, колеса подпрыгивают по кучам поверженных на землю. Иногда изображались и римские легионы и полчища Атиллы, а то и наполеоновские солдаты. Леонтий был тоже великий охотник до изображения военных сцен, и у меня в Петербурге хранились его юношеские, мастерски сделанные рисунки, изображающие сцены войны 1870 г., которая в его представлении и при его ненависти к немцам представлялась вся сплошным торжеством французской доблести. Но в этих рисунках у Леонтия всё выглядело как-то уж очень парадно и складно, всё это даже носило нарядный характер. Не то у Иши. У него доминировала трагедия, ужас, да он и сам во время рисования впадал в какой-то транс, принимался шипеть от ярости или издавать призывы, стоны, проклятия. Я же прижимался к его локтю ближе и ближе и в конце концов чуть ли не ложился на бумагу.

На подобие нашего отца Иша был большим мастером на всякие изделия из бумаги. Особенно мне запомнился «конверт» с историей солдата. Из большого листа бумаги Иша складывал конверт, имевший вид обыкновенного письма, однако по мере того, что вскрывались хитро один за другим заложенные углы — открывались разные похождения отслужившего срок солдата, который, после всяких безчинств, попадает, наконец, в преисподнюю. Это ужасное место было нарисовано во всю ширину открывавшегося в самом конце листа и служило чем-то вроде апофеоза. Я наизусть знал, что за чем последует, однако ждал каждый новый эпизод, с замиранием сердца, а перед вскрытием ада приходил в такой ужас (сладкий ужас), что даже принимался визжать и умолять Ишу, чтобы он мне не показывал этой страшной картинки. И, действительно, картинка могла хоть кого привести в ужас. Огненные вихри извивались ввысь, клубы дыма валили во все стороны, а языки лизали ко-

тел, в котором «варился» провинившийся солдат. В нижнем же правом углу восседал сам Сатана, косматый, черномазый, с трезубцом в руке и короной между рогами. По его приказу черти и чертенята, прыгая и кувыркаясь, поддавали жару, мешали вилами в котле и всячески издевались над своей жертвой.

По нынешним понятиям, такие рисунки мало педагогичны; они должны были воспитывать в ребенке особую свирепость. Однако никаких следов особенной свирепости ни эти рисунки, ни все те фантазии, которым я предавался уже по собственному почину в отроческие годы, во мне не оставили. Из последующего читатель увидит, что я самый миролюбивый человек, с сердцем, очень склонным к жалости, и таким же наверное вышел бы и Иша, если бы Бог дал ему жизни. Но в каком-то возрасте в людях живет известное тяготение к этим выявлениям кровожадного инстинкта и, пожалуй, следует приветствовать, когда этот инстинкт выявляется в форме ребяческих безобидных рисунков и вообще всяческого художества. Вспоминать же мне сейчас об этих наших забавах приятно. Ведь в них совершенно отсутствовало настоящее осознание страдания. А разве не тот же инстинкт сказывается в нас, когда мы на сцене или на экране видим сердце раздирающую трагедию, хотя бы например последнее действие «Гамлета», когда все гибнут от меча или яда?

Глава 18

БРАТ МИХАИЛ

Брат Михаил — Миша мне не заменил покойного Ишу, хотя между мной и Мишей разница в годах была меньшая (на два года), нежели между мной и Ишей. В те дни Миша был очень хорошеньким мальчишкой, типичным школьником, но я его помню несравненно менее отчетливо, нежели Ишу. Часть фокусов, в которых отличался Иша, и он умел показывать; он умел складывать и «конверт с историей солдата», одно время и он возился с каким-то театриком, добиваясь воспроизвести в нем все ужасы «Волчьей долины». Иногда он с кузинами и товарищами носился по квартире, изображая калабрийских бандитов или краснокожих. Однако, всё это выходило у него не так потешно, как у покойного брата. А кроме того у Миши не было таланта общаться с малышами; он их либо не замечал, либо сторонился. Между тем меня к нему притягивала его необыкновенная красота. Тип у него был какой-то «сарацынский» (уж не какой-либо предок с острова Майорки, откуда Кавосы были родом, откликнулся в нем?) Пухлые, как у негра губы, слегка кудрявые, черные, как смоль волосы и смуглый цвет кожи. Ни на кого из братьев он в детстве не походил и лишь к старости в нем более определился общий тип нашей семьи и особенно он приблизился к Леонтию.

Учился Мишенька еще хуже, нежели Иша, и в конце концов его пришлось из 4-го класса взять (из 5-й классической гимназии), после чего и его стали готовить в реальное училище. Однако из этого ничего не вышло, и тогда-то в нем вдруг определенно заговорило призвание. Он пожелал стать моряком. Мамочку это сильно

встревожило из-за тех опасностей, которым подвергается моряк, но отец, вообще питавший уважение ко всем видам военного ремесла, дал свое благословение. Пробыв в Морском училище положенный срок, он оттуда был благополучно выпущен в гардемарины. Еще не дождавшись этого, он и его друзья заделались настоящими «морскими волками» и заходили в морской одежде, с ленточками на шапке, с синим воротом, из-под которого виднелась нательная полосатая фуфайка. До той поры никогда не певший, Миша теперь выучился всяким солдатским песенкам вроде — «Царь Ляксандра в поход поехал» или «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваши жены» или «Друзья, подагрой изнуренный» — и эти песенки он со своим другом, бароном Клюпфелем, распевал целыми часами. Выучился Мишенька и всяким веревочным плетениям и даже однажды смастерил себе очень искусно из тонкого каната фуражку, в которой я потом щеголял по своей склонности к необычайным одеждам и уборам. Ярким воспоминанием осталось у меня, как оба этих морских молокососа, сидя на «бельведере» нашей кушелевской дачи, грызут для вящего стиля «семечки», курят трубки (Мишу от курения тошнило, но он всё же продолжал курить), пьют пиво и задирают прохожих на улице, свесившись через забор, к которому бельведер был прислонен. Во всем надлежало выражать военную удаль, и это выражение удали чуть не стоило однажды ему (и мне) жизни — в тот день, когда он вздумал со мной в неистовую бурю переехать на лодке через Неву, о чем я расскажу в своем месте. В другой раз его чуть не изувечило, когда у него под руками взорвались те снадобья, которыми он набивал трубки ракет: элементарная пиротехника входила в программу морского воспитания.

Этот период мишенькиного «приготовления к службе», представляется, как очень беспечная, бестолковая, чуть нелепая и чуть шутовская эпоха. Но время шло, и настал, наконец, тот день, когда пришлось всерьез зажить жизнью моряка. Гардемарина Бенуа определили на клипер «Пластун», а «Пластуну» вышел приказ присоединиться к какой-то отбывавшей в дальнее плаванье эскадре. И начались сборы, Мишенька получил новенькую с иголочки обмундировку и особенно ему пошел па-

радный черный сюртук с черным галстуком, при поясе с львиными головами, на котором болтался кортик из слоновой кости; на голове же в парадных случаях полагалась треуголка с кокардой. Мишеньку родственники стали наперерыв чествовать прощальными обедами, а там, в какой-то июньский день 1880 года, настал момент отплытия. Поехали мы, т. е. папа, мама и я, провожать Мишеньку в Кронштадт, в котором ни мама, ни я раньше никогда не бывали. Насилу разузнали, на каком рейде «Пластун» находится, а до него добрались на лодочке, причем пришлось пробираться между разными судами. Папа вез с собой для украшения каюты Миши (он разделял ее со своим товарищем, благодушным близоруким Виноградовым), вставленные в рамки литографированные портреты Государя и (почему то?) супруги наследника престола Марии Федоровны, и они тут же были торжественно повешены на стену. А затем всё молодое офицерство (да и тучный, сонливого вида старший офицер) как следует выпили; сильно, после розданной водки, повеселел и прочий экипаж. Когда же наступил вечер, то все провожающие перебрались на специально нанятый пароход, якоря были подняты, дым повалил из трубы клипера (мне было обидно, что у «мишиного» корабля всего одна труба — «зато» три мачты) и мы на своем пароходе неравной парой поплыли рядом с «Пластуном», мимо грозных гранитных фортов в «открытое море». Версты две-три наше пыхтевшее, сильно качавшееся суденышко старалось не отставать, но расстояние между нами и клипером всё росло и, наконец, наступила минунута, когда наш пароход повернул в обратный путь. При этом произошло традиционное заключение проводов. По команде, все реи «Пластуна» были в один миг засыпаны белыми фигурами матросов, и в то же время, при дружных криках ура, какие-то белые хлопья полетели в воду — то, по древнему обычаю, офицеры бросали летние чехлы своих фуражек. Через несколько минут «Пластун», на пылающем фоне заката, превратился в беззвучный, далекий, как-то вытянувшийся в высоту силуэт, а через еще несколько мгновений он точно нырнул за горизонт. В это время, взглянув на мать, я увидал, что она украдкой утирает слезы, тогда как до этого она крепилась,

чтобы не «испортить всем настроения». Другие дамы, матери, жены или невесты те просто рыдали, продолжая махать платками и косынками. Поздно ночью, но в белую северную ночь, мы добрались до дому, в наше опустевшее родное гнездо...

Потянулись месяцы и годы плаванья нашего Мишеньки. Родители подписались на «Кронштадтский вестник», в котором вообще интересного для не моряков было мало, но по которому можно было следить за передвижением судов российского флота по земному шару. Когда сообщалось, что клипер «Пластун» в составе такой-то эскадры пришел туда-то, то в доме наступало успокоение. Когда же долго не приходило таких известий, то нарастала тревога. Особенно долгий перерыв получился во время перехода «Пластуна» от Сингапура через весь, славившийся своими бурями Индийский океан, до Капштадта. Я себе живо воображал как десятисаженные (такие нарисованы в одной из книг Жюля Верна), волны накидываются на судно, на котором плыл Мишенька и которое превращалось среди разъяренной стихии в «жалкую скорлупку». Но совершенно иные видения рисовали письма брата, приходившие из Шанхая, Гонг-Конга, Нагасаки, с Сахалина («Пластуну» было предписано произвести проверочные обмеры какого-то залива), из Гонолулу, из Сан-Франциско, с Таити, из Мельбурна и из Сиднея. Описания Миши были правдивы, просты, точны, но не обладали особенной красочностью и не вызывали ярких образов. Этот дефект до известной степени восполнялся путевыми записками Гончарова, совершившаго кругосветное плаванье на фрегате «Паллада», которые мы с мамой читали по вечерам. Еще более возбуждали мою фантазию почтовые марки, отштемпелеванные на местах отправки, а также целые серии совершенно чистеньких, вложенных Мишей внутри письма. Эти последние специально предназначались не для моей коллекции, а для более серьезного собирателя, для городского садовника г-на Визе, но кое-что перепадало и мне.

После Капштадта началось Мишенькино определенное «приближение к дому». В сущности, на пути возвращения он был уже целый год после отплытия от крайнего

пункта путешествия — Сан-Франциско, но пока он не обогнул мыса Доброй Надежды, это возвращение не представлялось вполне реальным. Тут же стало ясным, что он скоро снова будет среди нас. Еще успело прийти письмо из Амстердама, где Миша посетил тогдашнюю всемирную выставку, а затем он и совсем замолк. И вдруг телеграмма из Кронштадта: «Благополучно приехал». Боже, какое тут поднялось у нас волнение. Легкая на слезы Степанида (когда-то нанятая в кормилицы именно к Мишеньке и с тех пор служившая у нас в горничных), та даже стала от радости причитывать, как над покойником, причем ее очень тревожил вопрос, не женился ли ее любимец на японке, чем мы всё время ее дразнили. Папа тот сразу приступил к приведению в порядок «Чертежной», предназначавшейся под Мишин кабинет.

Это был июнь 1883 года. Как раз случилось так, что я поехал с нашими английскими свойственниками — сестрой Мата Эдвардса — Эллен и ее мужем Реджинальдом Ливесей, совершавшим экскурсию в Петергоф, и было решено, что, по осмотре дворцов и парков, мы заедем передохнуть на дачу дяди Сезара, а затем, захватив моих кузин, отправимся все вместе через Ораниенбаум, в Кронштадт. Однако, программа не удалась вполне: до Кронштадта и до «Пластуна» мы добрались, но когда шумливой компанией мы вступили на палубу клипера, то Миши уже там не оказалось, он не утерпел и отпросился на землю в Петербург. Это не помешало оставшемуся на корабле офицерству нас принять с честью и меня особенно польстило, что Мишин друг который особенно ласково меня угощал, был князь Путятин. Я тут же с ним выпил брудершафт, заедая шампанское особенно мне понравившимся закусочным блюдом — редькой в сметане. Осушив бокала два, я так охмелел, что, желая отличиться перед кузиной Инной, слетел с лестницы, ведущей к капитанскому мостику. Очень меня тронуло, что в Мишиной каюте на тех же местах, куда их повесил папочка, попрежнему висели овалы с портретами Александра II и Марии Федоровны, но теперь царствовавший в 1881 году Государь, убитый нигилистами, лежал в Петропавловской крепости, а эта миловидная

дама со смеющимися глазками и с высокой прической, стала нашей императрицей.

Достигли мы (всё в той же компании) Петербурга на последнем пароходе уже в сумерки. Входя в нашу квартиру, я громко восклицал: «Где Миша, где Миша?» Но папа и мама замахали на меня руками: Миша спит и его не надо будить! Мне только разрешили посмотреть на спящего путешественника. Пробравшись на цыпочках к кровати, я... обомлел от удивления. Вместо прежнего нежного юноши, я увидал «большущего», мощного, но всё-таки такого же красивого мужчину, почти черного от загара. И как странно пахло в этой комнате: пряными духами, чем-то далеким, «восточным», чужим. Запах этот шел от раскрытых и частью уже опорожненных чемоданов. Повсюду на столах, стульях, на комоде лежали пакеты, и я уже спрашивал, что из всех сокровищ предназначается именно мне — ведь в каждом письме Миша сулил мне какой-то сюрприз.

Увы, в этом отношении меня ожидало разочарование. Когда на следующее утро, после кофе, все пошли в Мишин кабинет и началась раскладка содержимого больших сундуков, — то я вскоре получил свой подарок. Миша, очевидно, представлял себе на расстоянии своего маленького брата — вовсе не тем «жёномом» с ухватками молодого щеголя, какого я из себя теперь, в тринадцать лет, корчил, а всё еще ребенком, для которого вполне подходящим подарком мог служить механический лаявший и скакавший пудель. Поняв свой промах, Миша смутился, мне же стало так его жалко, что я представился будто я в восторге от этой игрушки, но на следующий же день я ее уступил одному из своих маленьких племянников. Остальное же, что предстало в то утро, вынутое из Мишиных сундуков, было до того занимательно, что разглядывание этих диковинок вполне отвлекло и поглотило мое внимание.

Тут был и зубчатый клюв пилы-рыбы и ожерелье из ракушек и птичьих яиц с Таити, и волшебное японское зеркало, и индусский ларец, выложенный тончайшей мозаикой, упоительно пахнувший внутри, и роскошный японский алый платок, с вышитым на нем желтыми шелками павлином, и чашечки с завода Сатсумы и какие-то,

издававшие дикие звуки, музыкальные инструменты, и черепаховая модель рикши, и масса альбомов с фотографиями, и яркие шали, и невиданные раньше большие раковины, отливавшие цветной радугой. И от всего этого шел тот сладкий, пряный дух, который меня поразил накануне и который теперь распространялся на всю квартиру. А из большого деревянного ящика вытаскивались бесчисленные банки с консервами заморских фруктов и прелестные полубутылочки со сладким Капским вином. Его я затем пивал частенько или даже с гордостью потчевал им своих товарищей-гимназистов.

Меня только огорчала Мишенькина несловоохотливость; он почти ничего не рассказывал и еле отвечал на мои вопросы, отделываясь двумя-тремя фразами. А мне так хотелось услыхать что-нибудь более подробное, и особенно про то, как он проводил время в Японии, где, говорят, все офицеры, на время своей побывки на суше обзаводились прелестными женами-японочками. Да и таитянки меня интересовали чрезвычайно. О них уже тогда шла по свету молва, которая была одной из причин, побудивших несколько позже Гогена покинуть старую Европу и поселиться в Океании. Но от Миши, кроме отрывистых фраз, ничего, касающегося подобных тем, я не мог добиться. Да я и сейчас уверен, что целомудренный наш брат вернулся после трехлетнего путешествия совсем таким же чистым и девственным, каким он уехал. Для него a maiden in every port[1] не существовала.

Зато его сердце сохранило во всей своей свежести способность любить, и это сказалось через несколько же недель после его прибытия, когда всем стало ясно, что возник роман между ним и его кузиной Олей Кавос, тоже за эти три года, из «институтки-бакфиша», превратившейся в девушку, если и не отличавшуюся красотой, то всё же в своем роде привлекательную. «Cousinage dangereux voisinage»[2], — говорит пословица и в данном случае она могла найти себе тем большее подтверждение, что Оля с отцом и теткой, служившей ей матерью, заместо умершей родной, жила в двух шагах

[1] Девушка в каждом порту.
[2] Двоюродные братья-сестры — опасное соседство.

от нас, а парадная дверь их квартиры выходила на ту же площадку, как и наша. Оля, впрочем, предпочитала приходить к нам, и тогда оба влюбленных засаживались в Мишином кабинете, где они то читали, то целыми часами шушукались и ворковали. К весне 1884 г. этот роман принял официальный характер. Миша и Оля были объявлены женихом и невестой, а те препятствия, которые могли помешать браку между столь близкими родственниками, удалось, благодаря связям дяди Кости в Св. Синоде, преодолеть.

Летом Миша и Оля отправились к Лансере в их Нескучное, но там Мишенька чуть было не сделался виновным в гибели своей невесты... По морским законам он не мог жениться, не достигнув какого-то положенного числа лет (двадцати четырех), но обоим молодым людям не терпелось «отведать предельного счастья». Поэтому Миша, наш морской волк, вынужден был выйти из флота. Однако, свою страсть к лодке, к парусу, ему не так легко было затушить. Уже зимой в Петербурге Миша принялся катать Олю на буере по льду, а когда Нева вскрылась, то и на парусной яхте. Оказавшись же в имении сестры на Украйне, откуда до моря не доскачешь, он вздумал продолжать такие же спортивные упражнения, прикрепив к беговым дрожкам громадный парус. Первый эксперимент прошел благополучно, они прокатились по мягкой от пыли дороге версты две, но на следующий день произошла катастрофа. Внезапно поднявшийся ветер понес Мишин сухопутный корабль по кочкам вспаханного поля, дрожки опрокинулись, а когда, наконец, Миша справился с парусом, то увидал Олю далеко позади себя, лежащей бездыханным телом в глубоком обмороке, с лицом, испачканным кровью и землей. Еще не успели Олю донести до дома, как, очнувшись, она стала кричать: «Я изуродована», и лишь когда ее обмыли и она увидала в зеркале израненное, но всё же похожее на прежнее лицо, бедняжка успокоилась. Миша же, стоя на коленях у ее ложа, обливался слезами, целовал ее ноги и молил простить его.

Свадьба была сыграна в середине сентября того же 1884 года. И какая же это была блестящая свадьба! Благословение брачующихся происходило в верхней

«летней» церкви великолепного собора Св. Николы Морского. Наш дядя Костя a bien fait les choses[3]. Густо раззолоченная церковь, более походящая на бальный зал, сверкала тысячами свечей; духовенство и певчие облачились в свои праздничные ризы; всюду стояли лавры и пальмы, среди толпы съехавшихся гостей алели ленты, сияли звезды и эффектно на фоне фраков выделялись военные мундиры и светлые вечерние платья дам. Со двора перед церковью, запруженного экипажами, была постлана дорожка красного сукна вверх по лестнице. В качестве посаженного отца невесту ввел товарищ обер-прокурора Св. Синода (иначе говоря, правая рука самого Победоносцева) Смирнов. Это был высокого роста, уже пожилой человек, с темным и на редкость некрасивым лицом, но этот контраст между разбойничьей физиономией, как определила Мария Александровна наружность Смирнова, с золотым шитьем придворного мундира, пересеченного синей лентой Белого Орла, так меня поразил, и он был, действительно, до того эффектен, что я именно это запомнил с совершенной отчетливостью. Очень эффектна была, среди прочих дам, бабушка Кавос — в своей горностаевой сорти-де-баль, с убором из венецианских кружев, свешивавшимся с головы на плечи. Впрочем, я и сам себя чувствовал в этот вечер каким-то «празднично прекрасным», и с особым упоением отдавался этому чувству потому, что как раз переживал тогда некое возвращение к жизни после своего неудачного романа — о чем речь впереди. На мне к тому же был новый парадный гимназический мундир с серебряным шитьем на воротнике и мне казалось, что в нем я произвожу неотразимое впечатление на бледненькую, тихонькую Аршеневскую, за которой я в тот вечер немного «приударил».

Начавшаяся столь блестяще супружеская жизнь Миши и Оли представляла затем, в течение первых десяти лет, картину полного лада и счастья. Двое прелестных детей, Константин и Ксения, придавали особую прелесть их дому. Мишенька, выйдя в отставку, поступил на государственную службу, которая не отнимала у него

---

[3] Всё отлично сделал.

много времени. Жили они в полном довольстве, на отпускаемые дядей Костей средства, в просторной и изящно меблированной квартире на Английском проспекте. Весной же 1890 г. умер дядя Костя и всё его большое состояние перешло к единственной дочери. Образ жизни Миши и Оли меняется. Они переезжают в квартиру дяди Кости и сразу начинают ее переиначивать на новый и более модный лад. Мало того, большая эта квартира в 12 комнат представляется Оле тесной (надо же было куда то поместить и весь штат прислуги, бонну, гувернантку, гувернера для детей) и поэтому к квартире, занимавшейся дядей, присоединяется квартира над ней. На видных местах в бывшем кабинете дяди Кости и в зале повешены старинные картины (среди них небольшая овальная «Похищение Елены» Тиеполо и две большущие венецианские перспективы из дедушкиного палаццо), особенно же удачной получилась столовая с ее орнаментами на золотом фоне и ее потолком, имитирующим деревянную резьбу. Какие чудесные обеды мы едали именно в этой приятной комнате. Да и вообще традиции, учрежденные дядей Костей, продолжали жить вплоть до того, что Миша, ни в какой степени не готовившийся стать промышленником и финансистом, унаследовал от своего дяди и тестя, как директорство пароходного общества «Кавказ и Меркурий», так и директорство в разных банках... По отзыву его сослуживцев, он во всех этих делах, если и не обнаруживал настоящего призвания (того призвания, которое так ярко сказывалось в дяде Косте), то, во всяком случае, выказывал большой толк и чрезвычайную добросовестность.

Большой радостью для Миши и его семьи была жизнь летом на собственной даче в Петергофе. Участок этот с одной стороны упирался в смежный парк «Собственной его величества дачи», а с другой он прилегал к коттеджам, построенным, в английском вкусе, Леонтием для себя и для своего зятя А. Э. Мейснера. Мишину виллу, самую большую из трех, трудно было счесть за архитектурный шедевр, но удобное расположение многочисленных, не особенно больших, но уютных комнат, искупало то, что ей не хватало в смысле внешней декоративности. Совершенно прелестен был сад, разбитый

вдоль самого берега моря. Мостки с перилами на тоненьких столбиках вели от него к собственной купальне и к маленькой пристани, где всегда ждал хозяина «тузик», на котором и переправлялись к яхте, стоявшей в море на более глубоком месте. На этой яхте Миша, став членом Яхт-клуба, почти ежедневно предпринимал далекие прогулки, доказывая, что он не забыл своего основного ремесла. Было наслаждением видеть моего брата в его настоящей стихии — уверенность его маневров, спокойствие и тихую радость, которой он весь исполнялся носясь чайкой на просторе.

А затем всё это благополучие пошло прахом. Между когда-то влюбленными друг в друга Мишей и Олей пошли нелады, поведшие к тому, что они разъехались, поделив между собой детей, дочь перешла к матери, сын остался с отцом. Они бросили свою прекрасную двухэтажную квартиру в родительском доме и каждый поселился особо. Еще через несколько лет моя бедная кузина и бэль-сёр, уже годами страдавшая неизлечимой болезнью, скончалась в каком-то австрийском курорте. В последний раз я ее увидел лежащей в гробу среди той же раззолоченной Церкви Никольского Собора, в которой происходило ее венчание. Сначала Костя, а затем Кика — оба обзавелись собственными очагами, собственными семьями, а там началась трагедия войны, вызвавшая еще более страшную трагедию — революцию. Из некогда богатых людей и Миша и его дети превратились в «неимущих». Мой брат попрежнему продолжал жить в той обширной квартире на Екатерингофском проспекте, в которую переехал после развода, но вместо того, чтобы занимать ее целиком, он, по примеру всех своих сограждан «сократился» и поселился на собственной кухне, тогда как в остальных апартаментах жили чужие люди. К отцу переехал сын, но и он устроился с женой и сыном в бывших комнатах для прислуги. Дочь же, Ксения, вышедшая замуж за талантливого архитектора В. фон Баумгартена, следуя за мужем, оказалась в эмиграции в Югославии, в столице которой Баумгартен построил несколько значительных государственных зданий. Последние годы жизни Михаила в дни большевистского режима, были омрачены не столько болезнями, и

стесненными обстоятельствами, которые было сравнительно легче переносить раз нужда стала общей, сколько чувством горькой незаслуженной обиды, которой не избег и этот благородный, и идеально чистый человек. В один день с Леонтием он был арестован и посажен в тюрьму. Леонтий перенес испытание со свойственной ему «благодушной покорностью», в характере же Миши, при всей его доброте и мягкости жила известная доля горечи и потому это бессмысленное, абсолютно произвольное шестимесячное заключение оказало разрушительное действие на всю его психологию... Он стал мрачным и раздражительным, тяжело переносил свою никчемность, его прекрасное лицо осунулось. Хотя Миша до конца дней сохранил почти все волосы и первоначальный черный их цвет, однако он выглядел более понурым и усталым, нежели Леонтий и даже Альбер. В последний раз, что я посетил его, я застал его в комнате рядом с кухней за клеением крошечной кукольной мебели. В эту минуту он мне очень напомнил нашего отца, который тоже был большим мастером на такие дела и отдавался им со всем рвением своей души, оставшейся детской до глубокой старости. Но папочка создавал свои перлы — для своей забавы и особенно для забавы детей и внуков. Для Миши же это был единственный заработок. Он, подобно отцу, раз взявшись за что-либо, предавался весь работе, однако всё же для него больного, усталого — эта работа не была каким-то отдохновением. Смерть, наконец, сжалилась над ним и он умер, через три года после Леонтия и за четыре года до Альбера в Петербурге... Известие о том достигло нас уже в эмиграции.

Глава 19

ДЯДИ И ТЕТИ

Попробую охарактеризовать еще тех лиц, которые составляли наш ближайший круг. К ним бесспорно принадлежали оба брата моего отца — дядя Лулу (на русский лад Леонтий Леонтьевич) и дядя Жюль (Юлий Леонтьевич). Однако, я несколько затрудняюсь представить именно их «потреты». При всей их нежности к папе и при всей его любви к ним, они вели образ жизни, уже очень непохожий на наш. Главное отличие заключалось в том, что оба они были совершенно чужды искусству, тогда как папа был целиком отдан ему, и в нашей семье искусство было вообще чем-то даже «обыденным» и «насущным». Немудрено поэтому, что мне становилось убийственно скучно, когда я бывал в гостях у моих дядей с отцовской стороны, хотя всё же мне нравился весь старосветский уклад дома дяди Лулу и его жены Августы, да и сами эти старички, дожившие в трогательном единении до золотой свадьбы, были удивительно милы. Дядя Лулу представлял собой типичнейшего француза эпохи Луи Филиппа, а его жена, в своих широких кринолиновых платьях, очаровательно пахла увядшими осенними листьями.

Дядя Лулу был на целых тринадцать лет старше папы (он родился вместе с веком) и это одно уже отодвигало его в глубь прошлого. Напротив, дядя Жюль был на девять лет моложе отца. Однако, общество этого веселого, необычайно подвижного и бодрого сухенького старика, так же как и общество его величественно молчаливой супруги — тети Луизы, я еще менее ценил, нежели общество дяди Лулу. Попадая в дом последнего, я оказывался в каком-то ином мире, в эпохе, когда царил Александр I, когда еще в Петербурге памятны были заветы Екатерины. В самой атмосфере их дома жила какая-то поэзия прошлого. Этому способствовали и ме-

бель, и картины, и даже посуда, и лампы. Напротив, у дяди Жюля всё отдавало жестокой прозой. Скопив себе порядочное состояние (он был значительно богаче своих братьев), дядя Жюль, однако, ничего не предпринимал, чтобы придать своему обиталищу приятную изящность. Всё у него было голо, чопорно и банально. Ни ему, ни тете Луизе не было никакого дела до того, что я почитал самым важным в жизни. И как обстановка, так и беседа в доме дяди Жюля, была тоскливо-банальной и бесцветной. Старший сын его — Юлий Юльевич (владелец знаменитой на весь Петербург «Лесной фермы»), был совершенной копией отца, как по наружности, так и в смысле своих интересов. Правда, он был архитектором, но такая как бы причастность «к художеству» не отражалось на его образе жизни. Из трех дочерей дяди Жюля две старшие — Женя была замужем за шотландцем Бертоном, а Аля за швейцарцем Массэ. Они были очень похожи на моих двух сестер и уже потому были мне дороги, но я их видел редко и ни разу не посетил их. Третья дочь — Эля была всего на три года старше меня и росла довольно миленькой девочкой, однако, если я и питал к ней те чувства, которые подобает питать к своим родным, то всё же это не привело к большому сближению. Зато ее брата, своего кузена Франца, бывшего на два года моложе меня, я прямо ненавидел. Уж из-за него одного я неохотно бывал у дяди Жюля и всячески топорщился, когда, раза два-три в году меня силком тащили туда, по случаю каких-либо именин или рождений. Находясь же в гостях у дяди, я старался не отходить от мамы, и всё же Францу удавалось каждый раз совершать в отношении меня какие-либо проделки, нелепая жестокость которых наполняла меня бешеной злобой и возбуждала мысли о «кровавой мести». Это были самые обыкновенные мальчишеские шалости, однако вид, с которым Франц их проделывал, его сжатые губы, его тупо злое выражение лица, выдавали его «черные» намерения. Такую злость я вообще редко встречал и впоследствии в детях. Я был уверен, что из него неминуемо выйдет разбойник и душегуб. Однако, ничего подобного не получилось. Франц, став также архитектором, архитектурой почти не занимался, а превратился

в помещика, образцового пчеловода, засел где-то под Лугой в деревне, и поэтому окончательно исчез с нашего горизонта. Недобрые же чувства, проснувшиеся у меня к нему, когда мне было восемь, а ему шесть лет, так с годами и не исчезли.

Весьма вероятно, что к третьему брату папы я бы исполнился более горячих чувств, если бы он жил в Петербурге, но он жил почти безвыездно заграницей и умер там сравнительно не старым человеком. Кончина брата необычайно огорчила папу, питавшего к нему особую нежность. Дядя Александр (Саша) был очень похож на моего отца не только чертами и выражением лица, но и всем своим духовным складом, художественной жилкой, жившей в нем, и тем, что дядя Саша был большой затейник, тративший не мало времени на всякие забавные вещи, в которых художественный элемент так или иначе проявлялся. Рассказы об этих затеях, в особенности о замечательном кукольном театре, устроенном дядей Сашей у себя в гамбургском доме, возбуждали мое любопытство в высшей степени. Но кроме того, моя к нему «нежность на расстоянии» поддерживалась тем, что почти в каждое письмо, приходившее от дяди, было вложено специально для меня несколько листиков рельефных картинок, носивших в те времена название «облатэн». И вот получение этих «облаток» исполняло меня восторженной благодарностью. Дядя Саша представлялся мне издалека каким-то добрым волшебником, владевшим несметными сокровищами, которыми он щедро одаривал своего племянника. На самом же деле жизнь дяди сложилась вовсе не блестяще. Женившись в Петербурге на дочери богатых коммерсантов Фиксен, он последовал за ней и за ее родителями, когда вся семья переселилась в свой родной Гамбург, но тут почти сразу произошла катастрофа. Родители разорились и вскоре после того умерли, а дяде Саше (тоже готовившемуся когда-то стать архитектором) пришлось кое-как зарабатывать себе на жизнь, обзаведясь небольшим магазином канцелярских принадлежностей. К счастью еще, ему удалось сохранить один из домов, принадлежавших Фиксенам, и в этом доме на Бургфельдер-пассаж он и прожил до своей, слишком рано наступившей смерти. Единствен-

ный сын дяди Саши, называвшийся также Сашей, но с прибавкой Бог знает почему прозвища — Конский, вернулся, при жизни отца, в Петербург, женился на своей троюродной сестре, Густе Эбергардт, и основал свою собственную многочисленную семью. Он был сверстником и ближайшим другом моего брата Альбера и сам очень даровитым пейзажистом, с успехом участвовавшим на наших акварельных выставках. К этому Саше «Конскому» я питал всегда сердечную любовь, но не без нежности относился я и к его трем сестрам, также впоследствии переселившимся вместе с матерью в Петербург и носившим у нас в семье прозвище «Гамбургских».

Следовало бы дольше остановиться на двух сестрах моего отца, (остальные пять скончались еще до моего рождения), но я могу сказать только то, что обеих этих тетушек я искренне любил, а они меня усердно баловали. Особенно, как это и полагается, баловала меня крестная мама, тетя Маша, я же ей за это платил бессовестной эксплоатацией. Боже, какой испуг рисовался на ее увядших чертах, каким отчаянием наполнялись ее серые, много горя и мало радости видевшие глаза, когда оказывалось, что почему-либо мою очередную прихоть исполнить невозможно. Я же, бессовестный, не щадил доброй тети Маши и мне даже нравилось мучить ее, сознавая свою власть над ней.

Что же касается до старшей сестры моего отца Жаннет Робер, родившейся еще в XVIII веке, то мое представление об этой крошечной, в комочек съежившейся старушке, нераздельно связано с той квартирой в доме ее дочери, Катеньки Романовской, у Покрова, в которой она жила до своей кончины в 1881 году. У папы вошло в обычай каждое воскресенье после службы в церкви Св. Станислава, заходить к своей старшей сестре, где его (и меня, когда я его сопровождал), ожидал вкусный завтрак с замечательным пирогом. Но в те годы не пирогами можно было меня заманить к тете Жаннет и к тете Катиш (последняя была на пятьдесят лет старше меня и всё же приходилась мне кузиной), а тем, что их квартира была полна котов, кошек и котят, кошачью же породу я буквально обожал. Мне тем более приятно было ласкать здесь этих очаровательных

зверюг и играть с ними, что у нас дома таковые не водились. Изредка, сдаваясь на мои просьбы, мне дарили то черненького, то серенького котенка, с которым я тогда и возился до совершенного исступления, в ущерб всем прочим занятиям — но затем наша прислуга, ненавидевшая кошек, к великому моему отчаянию, моего очередного любимчика куда-то спроваживала.

Вместе с тетей Катей жил и ее единственный сын, моей племянник (бывший лет на двадцать старше своего дяди), Евгений Осипович. Этот «Женя Романовский» был человеком унылым и печальным, и особенно стал он таковым, когда после смерти матери остался один, как перст. Напрасно наши семейные свахи, в особенности моя невестка Мария Александровна, старались подыскать для этого, довольно состоятельного «жениха», подходящую невесту. Он не поддавался их уговорам — мне думается потому, что абсолютно не знал, что с женой делать и как с ней поступать. Несмотря на свою унылость, Женя был непременным участником наших семейных сборищ, не внося, впрочем, в них ни малейшей доли веселья или приятности. Я не очень жаловал его, а однажды даже крепко с ним поссорился из-за того, что этот хмурый человек ни с того, ни с сего позволил себе сыграть со мной довольно глупую шутку. За большим обедом у моей сестры на Кушелевке он запустил мне за шиворот кусочек льда. Однако позже наши отношения приняли более дружественный оттенок, произошло это в период моей разыгравшейся страсти к книгам, когда Женя, к большому моему удивлению, стал выказывать интерес к моим новым приобретениям. Интерес этот впрочем был чисто внешний. Он покрутит в руках книжку, вскроет ее, прочтет заглавие и оглавление, объявит, что ему данное сочинение уже известно (по заглавию или оглавлению) и затем отложит, чтобы приняться за другую. И у него и самого была порядочная библиотека, но состояла она почти исключительно из книг по естественным наукам. Сам Женя состоял кем-то при Академии наук, даже издал какие-то брошюры, быть может и очень ученые, не то по минералогии, не то по геологии, но, признаюсь, я их не читал, хотя он мне их и подносил.

Глава 20

РОДСТВЕННИКИ С МАТЕРИНСКОЙ СТОРОНЫ

Дядя Сезар

Несравненно более, чем родственники с отцовской стороны, меня интересовали и притягивали родственники со стороны матери. За исключением бабушки Кавос, о которой я уже рассказывал, и тети Кати Кампиони, о которой речь впереди, тут были только одни мужчины. Единственная же единокровная сестра моей матери, хорошенькая тетя Соня Зарудная, скончалась за несколько лет до моего появления на свет, в родах своего единственного сына Сережи, и точно также жены дяди Сезара и дяди Кости умерли до моего рождения, дядя Миша остался холостяком, вдова же дяди Вани жила на Кавказе. И вот относительно этих «дядей Кавосов» я могу сказать, что они именно все, но каждый по-разному, меня пленили. Объединяла же их в моим представлении одна черта, нечто такое, что теперь я бы назвал стилем, но что тогда в детстве я не мог сознавать и что тем не менее оказывало на меня особое притяжение. Этот их стиль действовал на меня тем сильнее, что он был чем-то заключенным в самой их природе; тут не было ничего напускного, перенятого, никакой позы, никакой гримасы — просто в этих людях жила известная «изящная манера быть» и с нею они родились. Прибавлю, что контраст между этой группой лиц и родственниками Бенуа подчеркивался тем, что мне, мальчугану, не нравилось в последних. Рядом с дядей Сезарем, дядей Костей и прочими Кавосами, дядя Жюль и его дети, всё потомство дяди Лулу, дяди Мишеля и других дядей и теток с папиной стороны представлялось мне несколько

простоватыми. Все они были людьми вполне воспитанными, но одно дело «уметь быть приличными», а другое производить впечатление каким-то своеобразным, во всем сказывающимся прирожденным стилем.

Дядя Сезар — Цезарь Альбертович Кавос был старший мамин брат[1]. Мне было всего тринадцать лет, когда он скончался, но помню я его с совершенной отчетливостью, а в то время мне казалось, что я уже «давным-давно живу на свете», и в этом прожитом периоде дядя Сезар занимал безусловно очень значительное место. Как всякого другого родственника мне надлежало его любить и я старался исполнять этот долг по мере своих сил, но удалось это мне не вполне, так как то чувство, которое он мне внушал, не было лишено известного трепета. Уж если говорить про стиль, то дядя Сезар был самый стильный из братьев, но его стиль (как мне казалось тогда), выражался главным образом в высокомерии. Он мне казался ужасно важным и малодоступным. К тому же меня смущало его специфическое обращение с детьми, несколько свысока, покровительственное. Возможно, что это было вовсе не так, но я был мальчик преувеличенно обидчивый, избалованный всем тем, что я встречал со стороны своих близких, и малейшее отклонение от этого я принимал за нечто оскорбительное. Я даже избегал попадаться на глаза дяди Сезара — что было не так легко, когда я с родителями целыми месяцами живал на его даче и мог каждую минуту его встретить. Было бы однако ошибкой представить себе Цезаря Альбертовича в виде какой-то величественной фигуры. Подобно большинству Кавосов ростом он был ниже среднего, ходил он отнюдь не задрав голову, голос у него был не громкий, он редко сердился и никогда не кричал. Однажды он всё же сломал зонтик об спину своего зятя Митрофана Ивановича Зарудного, но случилось это при столь исключительных обстоятельствах, что человек с натурой и самой покорной мог бы выйти из себя. А именно дядя Митрофан, в обычном для него нетрезвом состоянии, так погнал своего рысака по

[1] Возможно, что старшим из братьев был полоумный калека дядя Станислав, о котором говорю ниже. У меня здесь нет данных, которые позволили бы мне это проверить.

Петергофской Самсониевской аллее, что угодил шарабаном в тянущийся вдоль этой аллеи канал. И вот, когда дядя Сезар с большим трудом вылез из воды, то ему показалось, что сын его, Женя, продолжавший лежать без движения на берегу, мертв. Тут-то дядей Сезаром овладело такое бешенство, что он принялся бить незадачливого возницу, причем бил так крепко, что, действительно, сломал хороший, привезенный из Парижа, зонтик. Повторяю, то был казус исключительный, потому и попавший в семейные анналы, что был слишком необычайный для моего дяденьки.

Оставшись с незначительными средствами после смерти своего отца, Цезарь Альбертович, хотя по профессии и был, подобно дедушке, архитектором, однако зодчество он постепенно запустил, предпочитая заниматься «делами» и главным образом спекулируя на покупке и продаже домов, что в шестидесятых годах приобрело в Петербурге прямо-таки азартный характер. На этих «аферах» он и составил в несколько лет очень крупное состояние, исчислявшееся в момент его кончины в три миллиона тогдашних рублей. К сожалению, скончался дядя, не успев привести дела в должный порядок, и после разных операций наследников и опекунов капитал этот съежился. Тем не менее, мои кузины оставались богатыми невестами, а единственный сын дяди, мой двоюродный брат Женя Кавос, мог всю жизнь существовать в условиях вполне барских.

Представление о дяде Сезаре сплетено во мне наитеснейшим образом с представлением об его обиталищах. Так я уже создан. Я и Господа Бога ощущаю вполне только в его «домах» — в церквах. Да и самых близких людей я представляю себе не иначе, как на каком-либо фоне, будь то комната или целая квартира или дача, усадьба. Возможно, что это во мне сказывается черта художественная, живописная... Так и дядю Сезара я вижу, или в его Петербургском доме или в саду его роскошной дачи. Дом дяди Сезара представлялся мне чуть ли не самым изящным во всем Петербурге. Стоял же он на Кирочной, насупротив того места, где начинается Надеждинская.

Самый дом был полуособняком, в два этажа над

высоким подвалом, но можно было с натяжкой за третий счесть мансарды (в Петербурге явление в те времена чуть ли не единственное). Как раз слуховые окна (люкарны барочного стиля) этого мансардного этажа, придавали дому дяди заграничный, парижский характер. Сам дядя с семейством занимал весь первый этаж (по русскому счету), а во втором, в комнатах очень высоких с закругленными окнами, жили Сабуровы, Андрей Александрович, бывший одно время министром народного просвещения, и любезнейшая супруга его, которую почему-то весь Петербург называл «тетей Лёлей». Их две дочери Мария и Александра, девочки лет восьми, девяти бывали иногда приглашаемы вниз к Кавосам и принимали участие в наших играх. Позже в этой бывшей Сабуровской квартире жила в течение многих лет другая знаменитая Петербургская дама, баронесса Варвара И. Икскуль. В последний раз я побывал в доме дяди Сезара (к тому времени уже переставшем принадлежать его наследникам) весной 1918 года, когда всё еще прелестная, несмотря на восемьдесят лет, баронесса, собравшись покинуть навсегда большевистский Петербург, позвала меня, чтобы помочь ей выбрать то, что стоило бы взять с собой в эмиграцию. И в последний раз я тогда вошел в монументальный подъезд, поднялся по занимавшей всю ширину вестибюля, лестнице и, минуя знакомые с детских лет стеклянные двери бывшей квартиры дяди, поднялся в верхний этаж, держась за перила кованого железа. Этот визит потому мне так и запомнился, что во время него, с удивительной отчетливостью встало передо мной всё то, что в этом же доме мне когда-то импонировало и так мне нравилось.

Особенно мне импонировала именно эта лестница. Она была поистине парадной и неизменно производила на меня впечатление какой-то своей торжественностью. Уже одно то, что на ней чудесно пахло (дядя Сезар был большим любителем душистых цветов и «благовонных» курений), придавало ей в моем представлении особенно «знатный» характер. У нас в прародительском доме была тоже весьма замечательная лестница — одна из немногих в Петербурге уцелевшая в своем первоначальном виде со времен Павла I, но, по обычаю тех патриархаль-

ных времен, у нас не было швейцара и лестница была холодная (она не отапливалась), а ее довольно стертые ступени пудожского камня не были покрыты ковром. Здесь же у дяди Сезара, прямо с мороза, я вступал в тропическую атмосферу, а ноги топтали густой алый ворс. По уступам с обеих сторон «марша» стояли горшки и вазы с пальмами, лаврами и другими вечно зелеными растениями.

Однако, было время, когда лестница дяди Сезара таила для меня и известную жуть. Дело в том, что насупротив швейцарской, в полуподвальном помещении, доживал свой век несчастный полоумный брат моей матери и дяди Сезара — Станислав Альбертович Кавос, известный в семье под прозвищем «дяденьки Фа». Он родился калекой[2], — одна рука и одна нога была у него короче другой, в течение же своей печальной жизни дяденька Фа успел себе еще раза два поломать и здоровую руку и здоровую ногу. Вид у дяди Фа был страшноватый. Его толстенный выгнутый нос свешивался над непрестанно чмокавшими губами, а в темных его глазах то и дело вспыхивал тревожный огонек. Нрава он был вообще кроткого, но терпеть не мог, чтобы над ним подшучивали. В те годы, когда и меня к нему стали водить на поклон, дяденька Фа уже был совершенной развалиной. Он не вставал со своего высокого ложа (мне, маленькому, казалось, что он лежит на каком-то катафалке) и почти не говорил а больше мычал. Но в прежние годы, рассказывали мне, дядя Фа бывал иногда и опасен. Раз он чуть было не задушил нежно его любившую сестру — нашу обожаемую мамочку, ее насилу отняли, а за своими юными кузенами (сыновьями Ивана Катариновича Кавоса) он гонялся с ножом, приведенный

[2] Считалось, что причиной такого несчастья было то, что бабушка до полусмерти испугалась, когда во время одной заграничной поездки, остановившись по дороге в Неаполь в гостинице какого-то захолустного местечка, она ночью увидала, что лезут в окно бандиты. Бабушка бросилась из кровати и упала, а была она на последнем месяце беременности. Кстати сказать у меня в детстве представление об Италии и в особенности о Неаполе и его окрестностях было неразрывно связано с представлением о бандитах, в частности я был уверен, что они грабят всех путешественников на большой дороге и уводят их к себе в гроты в качестве заложников.

в ярость их шутками. Особенно выводили его из себя намеки на некоторую его нечистоплотность, что было выражено и в особой, дарованной ему кличке. Услыхав свое имя с присовокуплением (вместо обычного дяденька Фа — «Фафалифафёнок»), он начинал скрежетать зубами, брызгать пеной и, сорвавшись с места, долго носился за своими мучителями, натыкаясь на мебель и разрушая всё, что попадалось ему под руку. Во время таких преследований он и ломал себе руки и ноги...

Каждый раз, когда мы, братья Бенуа, бывали у дяди Сезара, надлежало сделать визит и дяденьке Фа. Я боялся этого, но любопытство брало верх, и я без особого протеста следовал за другими. С высоты своих подушек и перин он, немедленно повертывал голову, взором окидывал пришедших и необычайно громко, почти крича, произносил протяжное: «а а а...» В этот момент дяденька совершенно напоминал мне людоеда из сказки о Мальчике-с-пальчике. Затем начинался всегда один и тот же опрос, причем он всех и всё путал, мешая наши имена и не вполне разбираясь в родственных связях. «А, — говорил он, уставившись в кого-нибудь из нас, — это Бертуша», и тут же поправлялся: «Нет — это Люля, нет — это Женя, нет — Сережа». «Как поживает папа?» «Как твоя мама?» «Как, она померла? Когда?» «А это кто? Шура? Какой такой Шура? (мое имя он произносил как-то по-итальянски Сшиура). Дай-ка я посмотрю на тебя поближе». Меня тащили к дяденьке, поднимали до его лица, а он чмокал меня своими мясистыми губами, причем больно колола его небритая борода. Тут я не выдерживал, пускался в рев и меня спешно уносили.

Кажется, в 1875 году дяденька Фа скончался. Для всех это явилось облегчением, но мне его стало ужасно жалко. Я устыдился своих капризов и понял, что обижал его своим нежеланием к нему приближаться. С этого же момента лестница в доме дяди Сезара и получила для меня свою «мистическую атмосферу». Дух дяди Фа для меня не переставал обитать в его подвальной квартире... Ни за что я не остался бы здесь один. Мне непременно почудилось бы, что дверь к дяденьке отворяется и что он, в виде мертвеца, выступает из нее, точнее всползает вверх по ступенькам. Каждый раз, когда мы входили в

вестибюль, надлежало пройти мимо этой двери и, хотя я знал, что она теперь ведет в приятную квартиру (гарсоньер) кузена Жени, я всё же взглядывал на нее не без трепета.

Еще два слова о парадной лестнице дяди Сезара. Памятна она мне еще тем, что иногда на ней (несмотря на запрет) происходили наши игры с кузинами Кавос и другими детьми. Очень удобно было на ней устраивать засады при игре в «Казаки — разбойники». Но особенно запомнились мне те заседания, которые, по какой-то традиции, устраивались здесь при разъезде гостей. Обыкновенно их «открывала» бабушка Кавос, которая, пока слуга или швейцар надевали ей зимние ботики (вешалка для верхней одежды находилась на лестнице), опускалась на тут же стоявший ларь-диван. Рядом садилась мама и начинался разговор. Давно уже и бабушка, и мама, и я, и все были готовы к отбытию, однако оказывалось, что так приятно сидеть в этом просторном и теплом помещении, так неприятна перспектива выйти на стужу, что беседа затягивалась. Постепенно к ней присоединялись и другие гости, одни за другими покидавшие квартиру дяди Сезара. И все то рассаживались вокруг кто на фарфоровых тумбах-боченках, служивших стульями, а кто просто на ступенях. Вот это подобие импровизированного табора и нравилось мне чрезвычайно. Я едва ли понимал что-либо из тех пересудов, которым предавались дамы; к тому же то и дело беседа переходила на французский или на итальянский языки и как раз это случалось тогда, когда надлежало, чтобы я чего-либо не понимал, чему неизменно предшествовал наказ: «Pas devaut les enfants»[3]. И тем не менее, несмотря на то, что мне становилось невыносимо жарко в полном зимнем снаряжении, с головой, закутанной в башлык, мне не хотелось, чтобы это заседание кончилось. Вся обстановка складывалась во что-то, похожее на пикниковый бивуак, иначе говоря на какую-то шаловливую игру, которой предавались «такие обычно скучные серьезные большие». Конец всё же наступал, бабушка, поддерживаемая швейцаром и внуком Сережей, спу-

[3] Не в присутствии детей.

скалась вниз и все процессионально следовали за ними. А там за дверью чудовищный холод и скучнейший переезд, в потемках кареты, через весь город до нашего дома.

Кабинет дяди, коим замыкалось правое крыло квартиры, выходил своими окнами так же, как и предшествовавшая ему приемная, на улицу. Это была глубокая просторная, но по своей длине недостаточно высокая комната, что придавало ей характер несколько мрачный, давящий. По темно-зеленым стенам висели очень тесно картины, считавшиеся оригиналами Тинторетто и Веронеза, а также и эффектная «перспектива» XVIII века. На столах, по полкам и на консолях, выстроилась коллекция старинных бронз и других редкостей. Но главное свое украшение кабинет дяди получал от большого фламандского шкапа начала XVII века (если я не ошибаюсь замок, чудо слесарного искусства, был помечен 1610-м годом). Этот шкап представлял собой целый архитектурный фасад с массивными колоннами и резными статуями. Он был сделан из разноцветного, прекрасно подобранного дерева и роскошно убран по карнизам, ящикам и всюду, где только можно было, изящными интарсиями. В моих глазах это был не просто шкап, а царь всех шкапов. Как ни обидно было в этом признаться, наша обстановка ничего подобного не содержала. Я не пропускал случая, чтобы потрогать и погладить эти полированные, столь аппетитно круглившиеся колонны, полюбоваться тонкой резьбой капителей и тех мифологических персонажей, что стояли в нишах[4].

---

[4] Увы, теперь я не знаю, что сталось со шкапом дяди Сезара. В первые дни большевистской революции, внучки дяди (дети моего кузена Жени) передали шкап на хранение в Академию Наук, которая вместе с посольствами считалась тогда местом, наименее подверженным риску большевистских реквизиций. Однако, года через три Академия Наук, опасаясь обвинения в спасении буржуазного имущества, решила препроводить всё ей порученное Русскому музею и Эрмитажу. На «Канцелярской» лестнице последнего я в один печальный день и увидел милый «родной» шкап дяди Сезара, но, Боже, каким осиротевшим униженным и несчастным он мне показался на этом случайном месте. К тому же он успел лишиться двух статуй и кусочков ин-

Вместе со шкапом и с самым банальным качальным креслом, на котором я любил качаться до одурения, в строгом кабинете дяденьки приманкой служили для меня английские старинные часы, заключенные в деревянный ящик, стоявшие на письменном столе против того места, где дядя обыкновенно работал. Этой замечательной диковине я мог (всё из того же чувства «фамильной зависти») противопоставить из наших вещей единственно только мамочкин будильник, когда-то привезенный ей в подарок с Лондонской всемирной выставки. И действительно будильник был вещицей затейливой — весь его сложный механизм можно было изучать через стеклянные стенки. Но нельзя не сознаться, что часы в кабинете дяди Сезара были всё же куда более удивительные. Они могли играть разные старинные пьесы, да и кроме того каждые четверть часа раздавались отрывки чарующих переливов, а каждый час эти переливы складывались в подобие какой то курьезной песенки, тем более пикантной, что в нее вплеталось несколько фальшивых ноток. Меня эта музычка и пленяла и чуточку мучила. Казалось, что из волшебной коробки доносится голос завороженного существа иного времени.

В сущности, настоящих сверстников для меня в семье дяди Сезара не было. Младшая его дочь Инна была на два года старше меня, а следующая по старшинству Маша даже на целых четыре. И всё же я очень дружил с обеими кузинами и мы резвились и играли в разные игры никогда не ссорясь. Обе были необычайно добрые покладистые девочки. Никогда не случалось, чтобы они сердились, капризничали. Мимолетные огорчения происходили лишь вследствии какого либо придирчивого и незаслуженного замечания «Талябины» или миссис Кэв, о которых речь впереди. С отцом же они были почтительны, но такие изъявления нежности, какие были в обычае в нашей семье, здесь не полагались. Несомненно они обожали отца, но эти чувства не выражались во вне, что, впрочем, меня тогда не удивляло, так как подобная сдержанность и церемонность вязалась со всем

крустаций. Стоял же он на лестнице в ожидании занесения в инвентарь под номером и, чтобы затем попасть в какой-либо «бытовой комплекс».

характером дома дяди. Характер же этот был в значительной степени обусловлен тем, что дядя был вдовцом, что матери у моих кузин не было: — она скончалась за несколько лет до моего рождения. С тех пор всем домом заведовала Наталья Любимовна Гальнбек, она-то и есть помянутая «Талябина», занимавшая в доме положение среднее между гувернанткой и ключницей. Когда же подросла старшая сестра Соня, то и ей было поручено следить за порядком и заменять сестрам мать.

Тети Сони (рожденной Мижуевой) я в живых не застал, но отлично знал, как выглядела эта «мама Сони, Жени, Маши и Инны», так как ее овальный портрет, рисованный в 1860-х годах искусным итальянским художником Беллоли, висел в маленькой гостиной, находившейся между залом и столовой, а вокруг этого портрета висели в таких же овальных рамах портреты ее детей. Эти портреты детей были всё еще похожи на тех, кого они изображали, хотя с момента их создания прошло семь или восемь лет, а потому нельзя было сомневаться, что и портрет этой молодой дамы в точности передает ее прелестные черты. Шестой овал, висевший в том же ряду, изображал незнакомую мне девочку с голубым бантом на голове, но от кузин я узнал, что это их сестра, умершая, когда ей было четыре года и которую звали Нина.

Кстати об этом салончике. Весь светлый, со стенами покрытыми грациозными орнаментами, раскрашенными в бледно розовые и фисташковые тона, с мебелью изогнутых форм, с фарфоровыми фигурками на зеркальном шкафчике, с большой жардиньеркой ароматичных цветов у окна, он производил впечатление чего-то лакомого — комната эта напоминала мне любимые сладкие пирожные от Берэна. Я любил забираться сюда и либо разглядывать книжки с картинками, либо складывать специально для меня припасавшуюся коробку детского театрика с декорациями и с вырезанными из бумаги действующими лицами. Женские персонажи в этом «Коньке-горбунке» были изображены в кокошниках «а ля рюсс», но и с широченными кринолинами, а большинство мужских ролей представляли татар в восточных халатах и доспехах. Некоторые из этих фигурок были на

проволоках, благодаря чему их можно было водить по сцене или же поднимать для полета.

Из окна того же салончика и из окон соседнего зала я мог следить за тем, как в зимнее время возилась молодежь на «чистом», обсаженном елками, дворе дяди Сезара. Весь двор в морозные месяцы превращался в каток, а по одной из его сторон строилась из дерева высокая гора, прилегавшая к самому дому. Во время многолюдных сборищ столовая дяди Сезара превращалась в раздевальню; надлежало переменить до и после беганья на коньках обувь, надеть специальные шубки и шапки. Впрочем, кадеты, а за ними и правоведы, коих всегда было несколько (кузены Зарудные приводили с собой целую ораву товарищей) щеголяли на морозе в одних мундирах. Обыкновенно коньки привинчивались или привязывались внизу, у самого катка, но некоторые виртуозы производили эту операцию наверху, и тогда было слышно, как они с грохотом спускаются по черной лестнице во двор, причем не обходилось без падений. К самым отчаянным конькобежцам принадлежал мой брат Коля — кадет. У него была даже слава настоящего чемпиона, так как он не раз получал призы на публичных состязаниях в Юсуповом саду. Барышни были несравненно скромнее и боязливее; они лишь изредка спускались на салазках с горы, и тогда, как полагается, неистово пищали и визжали. Когда у дяди Сезара были только свои, то и я решался побороть свою опасливость и просил, чтобы меня одели для возни на дворе, но и в таких случаях, шлепнувшись раза два носом, я предпочитал бегать по льду без коньков, держась за деревянное кресло на полозьях; особенно же я любил, чтобы в этом кресле меня катала добрая Инна. Когда же на катке у дяди Сезара собиралось много чужих, то я предпочитал оставаться наверху и глядеть на эти потехи из окон. Особенно эффектное зрелище, плавно скользящих на фоне светлого снега темных силуэтов, становилось под вечер, когда зажигались фонари и плошки, от которых во все стороны по льду и по стенам протягивались и сплетались тени. Всё представлялось особенно фантастичным, благодаря такому безмолвию. Самое скольжение по льду не производило шума, но и голоса, смех и крики

едва достигали моего уха из-за двойных зимных рам. Было ужасно весело, когда мне удавалось, барабаня по стеклу, привлекать внимание мальчиков и девочек. Они мне корчили гримасы, манили к себе, жестами срамили меня, но что они при этом говорили и кричали доходило до меня, как еле слышное бормотанье. Мне было несколько стыдно оставаться взаперти, но в то же время я утешался тем, что вот я, маленький, смотрю на весь этот праздник, как «король или принц». Вообще во мне спортивных наклонностей не пробуждалось; я был порядочным неженкой — типичным маменькиным сынком, за что мне нередко попадало от моих более воинственных и мужественных братьев.

Почти всё до сих пор сказанное относится к ранним годам моего детства, но и в позднейшие времена до кончины дяди Сезара у меня с домом его связано не мало воспоминаний. Так я помню происходившие здесь очередные семейные обеды, на которые, Бог знает почему, родители брали с собой и меня, и на которых я отчаянно томился. Мне не так уже нравилось всё то, что на этих пирах подавалось, да и мое место за этим столом было незавидное среди больших, рядом с мамой, откуда я не без зависти смотрел как, за другим столом за «Катцентишом» веселилась молодежь. Некоторым вознаграждением служили напитки — шипучий мед, который наливался в затейливые стаканчики венецианского стекла, и сладкое итальянское вино Асти Спуманте. Памятны мне большой бал, а также экстраординарный домашний спектакль, состоявшийся у дяди Сезара, первый в 1878, а второй в 1882 г., но об этом я буду говорить в другом месте.

Не менее отчетливо, чем городской дом дяди Сезара и его квартира, запомнилась мне его дача в Петергофе. Незадолго до ее создания Ц. А. Кавос доказал свое архитектурное мастерство постройкой больницы принца Ольденбургского, однако свою дачу он не пожелал строить сам, а поручил это дело племяннику — моему старшему брату Альберу, только тогда оканчивавшему Академию

художеств. Вероятно дяде Сезару захотелось поощрить своего юного родственника и он предоставил ему полную свободу в сочинении проекта. Работы длились около года и летом 1876 года дача на Золотой улице была готова и торжественно освящена. Надо отдать справедливость Альберу, он отличился отменно; дача получилась не только самой значительной по размерам из всех, что были построены в Петергофе за последние тридцать лет, но она была и самой из них роскошной и нарядной.

Одновременно с главным жилым зданием, позади него, были сооружены службы с сараями для экипажей, с конюшнями на шесть лошадей, с прачешной, с комнатами для друзей и с квартирами для прислуги. Это второе здание было целиком деревянным и увенчивалось высоким бельведером в каком-то необычайном стиле, представлявшим собой смесь мавританских и русских мотивов. Сама же дача была наполовину каменная, в два этажа над высоким подвальным помещением. Она была обнесена с двух сторон крытыми верандами и, кроме того, всюду, где только можно было, затейник Альбер украсил ее балконами разнообразной формы. В общем строитель пожелал создать подобие итальянского ренессансного палаццо, но получилось нечто, смахивающее на те проекты, которые появлялись тогда в немецких и французских журналах. Как бы там ни было, ансамбль не был лишен приятности и производил элегантное впечатление. Вероятно, обошлись эти постройки дяде не в один десяток тысяч рублей, зато он был вполне удовлетворен в своей склонности к великолепию...

Существенным недостатком дачи было ее расположение на том участке земли, который дядя приобрел специально для нее. Непонятно почему, обладая таким обширным участком, выходившим на две улицы, решено было самую дачу соорудить близко к замыкавшему ее со стороны Золотой улицы забору. Пространство, оставшееся между домом и этой высокой оградой было до того узко, что на нем кроме площадки для крокета и двух цветочных гряд, ничего не уместилось. Необычайно широкая и высокая масса дачи давила и ту часть сада, которая тянулась по боковому фасаду, и тот проезд от двора до ворот, что был расположен по другую сторо-

ну. Зато двор получился просторным; посреди него стоял столб для гигантских шагов, а недалеко от конюшни была устроена усаженная цветами горка — одно из любимых мест наших игр. Наконец, позади служб тянулся огород. Дядя был большой охотник до всяких ягод, поэтому в огороде произрастали редчайшие и чудеснейшие сорта земляники, клубники, малины, смородины, крыжовника, а также всевозможных овощей, начиная от моркови и огурцов и кончая спаржей и артишоками. Посреди этого огорода, в круглом бассейне, бил небольшой фонтан и хоть он ни в какое сравнение не мог идти и с самым незначительным из Петергофских дворцовых фонтанов, однако это всё же был фонтан, и я имел все основания им гордиться и им любоваться. К сожалению, в этом же бассейне потонул крошечный щенок, которого мне подарили и с которым я не уставал возиться целыми днями.

Характерной особенностью дачи была та крытая веранда на столбиках, которая тянулась по двум фасадам на юг и на запад. На западной стороне дамы проводили дни за рукоделием и разговорами, как в хорошую, так и в дождливую погоду, наблюдая оттуда за тем, как молодежь в саду играла в крокет и другие игры. Непременными членами этих собраний были моя мама, старшая кузина Соня, англичанка миссис Кэв, иногда же к ним присоединялись мать и две дочери Лихачевы, а также другие знакомые, приезжавшие из Петербурга или проводившие лето в Петергофе. Веранда, выходившая на юг, была вдвое шире первой и служила столовой; именно там, в теплые дни, устраивались большие парадные обеды. В комнатах, выходивших на эти веранды, было довольно темно; зато столовая и комната кузена Жени, выходившие во двор, были залиты светом. Наименее приветливую комнату дядя Сезар выбрал себе под спальню. В ней всегда царил мрак и пахло сыростью. Она выходила на север и к тому же была затемнена близко стоявшими деревьями и полукруглым балконом на колоннах. Когда дяди не бывало дома (он на целые месяцы уезжал пользоваться водами в Мариенбад и в Карлсбад) любимой моей комнатой была угловая рядом со спальней, служившая дяде кабинетом. Мне нравились ее

темнозеленые стены и крытая зеленым штофом мебель.

В гостиной рядом висела очень большая, прекрасно писаная картина — одна из тех «перспектив», считавщихся работами Антонио Канале с фигурами Тиеполо, что некогда украшали дедушкин дом в Венеции[5]. Занимаясь обязательными, очень скучными экзерсисами на рояле, стоявшем как раз под этой картиной, я утешался тем, что во всех подробностях разглядывал ее, как бы прогуливаясь по улицам и площадям этого вымышленного города и встречая по пути те странные фигуры, которыми его населил художник. Много лет спустя, когда эта же картина, вместе со своей дружкой попала в столовую наших друзей Оливов, стоило мне во время какого-либо обеда, взглянуть на эти столь знакомые башни и дворцы и особенно на того всадника, который был представлен в несколько неуклюжем ракурсе на самом первом плане, как в моем воображении восставало летнее утро, полумрак дачной гостиной, и, чудилось, будто я снова слышу те унылые нотки, что отбивали на клавишах мои детские пальцы.

Особенную прелесть придавало даче дяди Сезара необычайное количество цветов, за которыми ходил специальный садовник. И как же пахли все эти цветы. Особенно мне памятны с тех пор пряный запах гелиотропа,

---

[5] Другая перспектива, парная к этой, служила украшением верхней гостиной на даче, а третья принадлежала дяде Косте. При разделе наследства, оставшегося после смерти дяди, Петергофская дача досталась Инне, однако она ни разу не воспользовалась этим и сначала сдавала дачу, а затем и продала ее. Узнав об этой продаже, я обеспокоился тем, что сталось с любимыми моими картинами и оказалось, что они, по нерадению, остались на даче, как часть мебели. Тогда я стал приставать к кузену Жене, чтобы он обратился к новым обладателям дачи с предложением выкупить эти семейные драгоценности. Однако за это время владельцы успели узнать, что картины эти редкостные и потребовали с Жени довольно крупную сумму. Когда же через двадцать-тридцать лет Женя пожелал с ними расстаться я устроил продажу этих картин Оливам и наконец я же постарался, чтобы вся роскошная обстановка Оливов была в первые годы революции превращена в художественно-бытовой музей. Когда этот интереснейший комплекс был раскассирован, наши мнимые Каналетто попали в Эрмитаж. Однако тут они были переименованы и значатся теперь под более скромными именами Баталиоли и Дзуньо, что впрочем не мешает им оставаться прекрасными и высоко-мастерскими произведениями.

аристократический горьковатый резеды и сладко-дурманящий душистого горошка. Все эти божественные ароматы почему-то не пользуются фавором людей середины XX века, помешавшихся на том, чтобы цветы были как можно более пышны и красочны, и это хотя бы в ущерб их аромату. Здесь же все эти благовония сливались в настоящую симфонию, к которой в начале лета присоединялся запах цветущей черемухи и сирени, а позже густой, бальзамический дух липового цвета. Лип было много в саду дяди и липами же был обсажен тот канал, что тянулся вдоль «Золотой улицы» и служил резервуаром для фонтанов Золотой горы и для Марлийских прудов. Воспоминания о Петергофской даче дяди Сезара приобретают во мне особую остроту, когда мне удается вызвать в себе, как помянутую «симфонию запахов», так и все те звуки, которые в нее вплетались. Часть этих звуков были вульгарны и обыденны, часть даже довольно уродливы и назойливы, но на расстоянии всё получало нежную мягкость и становилось элементами одного чарующего целого. С канала временами доносился яростный крик пасшихся там гусей, из казарм конногренадеров, расположенных за каналом, трубные звуки, зори и барабанная дробь, с соседних дач крики детей и скрип качелей. Иногда в этот концерт врезались крики разносчиков с цветами, с ягодами, с печеньями, а в тихие и несколько сырые вечера можно было различить топот лошадей по мосту купеческой пристани и даже то, что играл Придворный оркестр на «Музыке». На этом расстоянии (километра в полтора), добираясь до нас сквозь густоту парковых рощ, аккорды увертюры «Вильгельма Телля» или рапсодии Листа, приобретали особую прелесть.

Последний раз я видел дядю летом 1883-го года и именно в той гостиной, в которой в предыдущие годы я брал уроки музыки и где висел большой Каналетто. На сей раз я не гостил у дяди Сезара, а, проводя лето у Альбера в соседнем с Петергофом Бобыльске, я случайно забрел к кузинам на Золотую улицу, и тут узнал, что как раз с часу на час ожидается возвращение дяди Сезара из Мариенбада. Я застал в доме гнетущее настроение и из бесед домочадцев между собой понял, что

дяде очень плохо, что он умирает. Мысль, что я сейчас увижу умирающего, приговоренного к смерти и, вероятно, вовсе не желающего умирать человека, показалась мне столь невыносимой, что я даже не пошел к нему навстречу, когда в доме поднялась суматоха, означавшая, что дядя Сезар прибыл. Я сел за рояль и по своему обыкновению попробовал развлечь себя импровизацией. Но не успел я взять несколько аккордов, как услыхал приближение сложного шума, состоявшего из топота многих людей, говора, приказаний. Это, вверх по лестнице, со двора несли дядю, несли его в кресле преданный камердинер Тимофей и кучер Ермолай. Позади шли мои кузины, миссис Кэв и семенила своими крошечными ножками Талябина. Дядя Сезар, исхудавший и изменившийся до неузнаваемости, сидел с ногами, покрытыми пледом, над головами других, и это прискорбное подобие триумфа медленно и осторожно продвигалось мимо меня, в сторону кабинета. Не забуду никогда того взгляда, который дядя на миг остановил на мне, стараясь мне улыбнуться и произнося с необычайной для него нежностью слова: «Здравствуй, Шуренька». О, эта страдальческая улыбка не имела уже ничего общего с той, которая мне казалась надменной и которая чуть обижала меня. Это была бесконечно печальная улыбка человека, безвозвратно прощающегося с жизнью и сознающего тщету всего земного.

Дядю живым я уже больше не видал, а когда через две недели я снова пришел на Золотую улицу, то дом был полон народу. Но не пировать на сей раз пришли эти гости, а пришли они проститься с тем, кого уже не стало. Стояла гнетущая жара, но не дивными ароматами был полон воздух, а зловещим духом тления, который не удавалось заглушить ни благовонными курениями, ни густыми облаками ладана.

Дети дяди Сезара, последовавшие за его гробом в Петербург, где состоялось погребение (если я не ошибаюсь на Волковом кладбище, где были похоронены и отец и дед дяди Сезара), не пожелали затем возвращаться туда, где еще только что жизнь для них была такой радужной и прелестной. Но хозяйственная Талябина не могла перенести, что даром пропадут сокровища

знаменитого огорода, и, помня, что я был лакомкой, любил малину и черную смородину, она распорядилась, чтобы хотя бы я мог воспользоваться этой роскошью. Вот мы, т. е. я и мой закадычный друг Володя Кинд, запасшись огромной корзиной, отправились на Золотую улицу, а через два часа «работы» на огороде дяди Сезара, покинули его, столь нагруженные всякими плодами, что пришлось взять извозчика, чтобы добраться до дому, ибо ноша показалась не по силам. Таким образом, я в последний раз побывал на моем любимом огороде, но уже в качестве форменного грабителя. В последний же раз я увидал то пространство, что некогда было занято дядиным огородом в 1924 году, когда я приехал в Петергоф для отбора картин из дворцов, достойных попасть в Эрмитаж. За все истекшие годы я много бывал в Петергофе и даже прожил в нем целых три лета, однако я всегда избегал заглядывать на Золотую улицу, тут же меня одолело искушение взглянуть на место детских моих радостей. Однако, лучше было бы этому соблазну не поддаваться. Картина, представшая предо мной, оказалась прямо-таки трагической. То место, что было отведено под Кавосский огород, расстилалось во всю ширь и во всю длину, но ни малейших следов прежних бесчисленных грядок с их чудесными произрастаниями не осталось и всё поросло высокой сорной травой. Самой дачи тоже не существовало, ее еще в 1918 году сожгли расквартированные в ней красноармейцы. Правда, курьезный павильон еще стоял, но Боже, в каком виде! Точно корабль, наскочивший на подводную скалу, здание раскололось пополам и обе половины угрожающим образом накренились одна к другой, готовые каждую минуту окончательно рухнуть. Эта картина развала чего-то мне особенно дорогого была до того разительна, что подумалось, уже не заставила ли меня придти сюда какая-то сила — нарочно, чтобы преподать особенно наглядный урок о тщете всего земного? Однако, если это и было так, то урок пропал даром. Я попрежнему остался верным поклонником прошлого, ревностным хранителем и собирателем старины.

Перед тем как покинуть этот зачарованный в моей памяти мир, мне хочется еще остановиться на несколь-

ких обитателях дачи дяди Сезара. С одними из них я продолжал и впоследствии часто встречаться и общаться, другие же, напротив, после смерти дяди, как-то сразу исчезли из моего кругозора навсегда. Всего страннее, что такое исчезновение произошло и с обеими моими подругами, с Инной и с Машей. Попав под бдительную и ревнивую опеку своей старшей сестры Сони, они, и после целого года строжайшего траура, редко затем появлялись на семейных собраниях, да пожалуй Маша, та и вовсе не выезжала. Инна вскоре затем вышла замуж за полковника Лашкевича, тогда как бедняжка Маша, болезненная, жалкая, почти совершенно оглохшая, не выдержала своего одиночества и угнетавшей ее тоски и, поселившись в Неаполе, отравилась серными спичками. Ей было в это время не более двадцати пяти лет. Ее самое я уже не видал, так как привезенный из заграницы гроб ее стоял в Сергиевской церкви закрытым. Маша была маленького роста, худенькая, хрупкая, во всем своем облике необычайно трогательная. Очень подходило к этому облику то, что она писала стихи и некоторые из них, отличавшиеся, при всей своей наивности, неподдельным чувством, мне очень нравились. «Поэтичная» и столь трагично погибшая Маша Кавос не была при этом какой-либо взбалмошной истеричкой. Напротив, она была сама простота и бывали дни, когда она была жизнерадостна, весела и с нею чаще, чем с другими, случались приступы беспричинного безудержного смеха. Была она и страстной любительницей чтения. Чаще всего ее можно было видеть с книжкой в руках, но только, разумеется, в те годы, о которых я вспоминаю (ей было не больше 14, 16 лет), не разрешалось барышням «хорошего круга» читать иное, нежели всякие fadeurs английские и французские. Летом ее главной забавой был крокет, которому она отдавалась с неистовством. Только она да я могли заниматься этой, тогда модной игрой часов по пяти подряд и доходить при этом до полного одурения. Страстно предавалась она и бегу на «гигантских шагах» единственному спортивному развлечению в те годы. Особенно любила Маша, чтобы ее «заносили», да и участники бега охотно производили с ней заноску, потому что легкая, как перышко, она взлетала выше всех и не-

салась по воздуху, как сильфида. Еще сближало меня с Машей ее поклонение скульптору Оберу, гостившему целыми месяцами у дяди на даче, во флигеле под мавритано-русским бельведером.

Об Обере речь будет впереди, он занимает в моей жизни и в моем художественном развитии исключительное место, но здесь я всё же упомяну хотя бы об его способности — смешить молодежь. Самые скучные дождливые дни проходили на Золотой улице, благодаря всяческим дурачествам милого Артюра, в бурно веселом настроении. Обер ко всему находил какой-то остроумный шутливый подход и сам при этом первый веселился больше всех. Однажды вышла даже большая неловкость именно из-за этой нашей привычки вместе с Обером веселиться. Приехали к Кавосам с визитом две какие-то важные дамы, и Соня принимала их в гостиной с подобающей церемонностью, заставив и нас при этом присутствовать. И вот среди самых чинных скучнейших разговоров из угла, где мы сидели с Обером, раздалось сдавленное хихиканье, перешедшее сразу в самое неприличное прысканье, Маша же, задыхаясь от смеха, принуждена была даже убежать в другую комнату. И попало же нам тогда и от Сони, и от миссис Кэв, и от моей мамы. Соня решила даже сделать внушение Оберу, который был лет на двадцать старше ее и уже приобрел известность, как выдающийся художник. Но Обер изобразил такое раскаяние и это, в свою очередь, было до того комично, что и Соня не выдержала и рассмеялась.

Инна была самая миловидная из трех сестер. Она несколько походила на свою красавицу-мать, но было в ней что-то общее и с моей мамой. Я относился к ней, как к сестре, но уже рано стал чувствовать и ее женственную прелесть. И в данном случае поговорка, которую я не раз слышал, оказалась правильной и я стал испытывать эту правильность на самом себе в отношении Инны. Я как-то по-особому замирал, когда находился в ближайшем соседстве с ней и еще более, когда мог к ней прикоснуться. Это бывало, например, во время бега на «паджане» или во время игры в горелки, когда доходила до нас обоих очередь, убегая от «горящей», схватить друг друга и даже обняться. Наконец,

во время нашего пребывания в течение целого лета на даче дяди Сезара в 1881 году, я уже почувствовал нечто вроде определенной влюбленности, и в моем ребяческом воображении стали рисоваться сцены очаровательного счастья в обществе Инны. Но роман этот, точнее намек на роман, не принял более определенных очертаний, а после смерти дяди мы и видаться с Инной стали редко, и никогда больше — в той интимной обстановке, которая создавалась сожительством под одной кровлей. После ее замужества я не встречался с ней больше раза или двух в год, да и то только на каких-либо многолюдных сборищах, а там у Инны пошла размолвка с мужем, кончившаяся разводом и новым замужеством. Нашла ли Инна счастье со вторым мужем, из-за болезни которого она должна была жить годами в Швейцарии, я не знаю. Последний же раз я увидал свою подругу детства в 1916 году. Она неожиданно пришла посоветоваться со мной, стоит ли ее дочери заниматься искусством, нахожу ли я в ней талант. Она принесла с собой рисунки этой девушки, но я теперь не помню, что они представляли собой и каков был мой ответ и мой совет. Запомнился мне только несколько официальный тон Инны и то, что она обращалась ко мне на «вы». Несомненно, таких же прелестных воспоминаний о годах, прожитых вместе, у нее не сохранилось.

Кроме Маши и Инны, семья дяди Сезара состояла из старшей дочери Софьи и единственного сына Евгения. Если до сих пор я не говорил о них, то это не потому, что они не играли никаких ролей в доме, а потому, что они для меня представлялись уже принадлежащими к разряду «больших» и «старших». Впрочем, кузен Женя был — само добродушие и благодушие; он был закадычным другом моих братьев Люли и Коли, разделял их спортивные увлечения, ко мне же относился, если не свысока, то с несомненным безразличием — ведь между нами была разница в десять или двенадцать лет. Ближе я с ним познакомился и лучше оценил его, когда из каких-то соображений меня на время поместили в его прелестную комнату, всю увешанную портретами знаменитых скаковых лошадей, и тогда на сон грядущий он стал меня удостаивать небольшими беседами. Мне

нравилось при этом полное отсутствие в Жене покровительственного тона и его обращение со мной, мальчуганом одиннадцати лет, как с равным.

Напротив, главный недостаток кузины Сони в моих глазах заключался как раз в том, что она неизменно и недвусмысленно выражала свое какое-то превосходство над младшим поколением и что она даже позволяла себе делать нам замечания в довольно обидном тоне. Теперь, когда я смотрю на всё это издалека, познав по долголетнему опыту жизнь со всеми ее требованиями, — мне кажется, что Соня справлялась со своей ролью сестры, заменяющей мать при сиротах, с тактом, но в те дни я был мальчиком своевольным, до крайности избалованным и самолюбивым, и естественно должен был приходить в столкновение с теми, кому надлежало следить за порядком и ладом в доме. Хорошо воспитанная Соня никогда не выходила из себя, не вспыхивала раздражением и была очень ровна и очень спокойна. Но от нее исходили запреты и она же с явной укоризной молчала, когда не могла не сердиться на мои проделки. Мне не нравился и вообще ее гордый вид, прищуренный взгляд ее близоруких глаз, ее манера держаться, выражавшая, как мне казалось, большое самодовольство. Особенно меня злило, когда она в элегантной амазонке и с цилиндром на голове галопировала на своем гнедом коне. Мне не нравился ее певучий, несколько томный, в нос, говор, больше же всего меня огорчали подарки, которые делала Соня на елку, но об этом будет рассказано в своем месте.

Жизненная судьба Софьи Цезаровны была в некоторых отношениях более счастлива, нежели судьба ее сестер. Она пользовалась отличным здоровьем и дожила до глубокой старости. Вышла Соня замуж согласно свободному выбору за известного в те времена врача, Владимира Гавриловича Дехтерева, и ей удалось образовать в своем доме род литературно-художественного салона, в котором бывали всякие знаменитости, что несомненно льстило ее самолюбию. В ее нарядной гостиной, увешанной венецианскими зеркалами из палаццо дедушки и теми же портретами Беллоли, которые когда-то мне очень нравились в доме ее отца, я, например, слышал пение знаменитой Ферни Джермано и чтение стихов мастито-

го Я. П. Полонского. Бок о бок с поэтами и художниками восседали на прелестных стульях, крытых белым шелком, знаменитости русской адвокатуры и разные политические деятели либерального толка. Дехтеревские дети, три мальчика, росли, как все «Кавосята», прехорошенькими, и Софья Цезаровна ревностно следила за их образованием. Словом, со стороны глядя, всё обстояло благополучно — во всяком случае до того момента, когда она овдовела. Но была ли Соня и в самый свой цветущий период по-настоящему счастливой, познала ли она истинную радость жизни, в этом я сомневаюсь.

Трудно, например, себе представить, чтобы она, такая разборчивая и брезгливая, могла страстно и нежно любить этого громоздкого, неотесанного бородача, каким был ее супруг, напоминавший видом Вагнеровских первобытных героев, в роде Фафнера или Гундинга. Во всяком случае, вся наша родня относилась к этому «Гаврилычу» с иронией и также относились к нему мои друзья Дима Философов и Сережа Дягилев. У Философова, впрочем, были на то особые причины. В студенческие годы Дехтерев был одним из деятельных ревнителей освободительного движения и даже «ходил в народ», сея среди мужиков семена того, что он и с ним несметные русские люди считали за самое доброе и святое. Он был в этой своей роли до того характерен, что удостоился даже быть изображенным в карикатурном виде в романе «Новь». Тургенев использовал при этом хвастливые признания самого Дехтерева, содержавшиеся в одном из его писем к Анне Павловне Философовой, пересланном этой Музой русского либерализма великому писателю в порыве ее восторженного увлечения Дехтеревым. Дима же Философов никаких увлечений матери не разделял и, напротив, питал к таким дилетантам революции непреодолимое отвращение.

Последние мои встречи с кузиной Соней происходили уже в эмигрантской обстановке в Париже. От всей прежней роскоши не оставалось и воспоминания. Правда, ее старший сын имел обеспеченное положение в Лондоне, куда он и звал свою мать, но она предпочитала делить нужду со своим младшим сыном, безнадежным неудачником, в Париже, где этот несчастный и покончил

с собой в 1938 году. После этого Софье Цезаровне не имело смысла дольше оставаться во Франции, она перебралась в Лондон и вскоре там умерла.

Не могу пройти молчанием еще тех лиц, которые, каждое по-своему, придавали известную характерность дому дяди Сезара. То была экономка Талябина, англичанка миссис Кэв, кучер Ермолай и лакей Тимофей. Мне уже потому хочется сказать о каждом из них несколько слов, что именно к каждому из них я имел особенно близкое касательство.

Самой замечательной фигурой из них была, бесспорно, не раз уже помянутая Талябина, прозванная так моими братьями, когда они были детьми, но настоящее имя которой было Наталья Любимовна Гальнбек. Когда-то она состояла ключницей в нашем доме, но затем мама «уступила» ее своему брату, когда тот, внезапно овдовев, совершенно растерялся — дом остался без хозяйки, дети без материнского присмотра. Талябина же представляла собой поистине образец надежности во всех смыслах. С раннего детства я помню ее крошечной старушкой, почти карлицей, со смятым, как печеное яблоко, розовым личиком и настолько сутулой, что она могла сойти за горбунью. На голове, почти лысой, она носила старомодную черную наколку, одета же она была всегда необычайно опрятно, но незатейливый фасон ее платьев восходил по крайней мере к 1840-м годам. Зимний ее туалет состоял из короткой шелковой кофточки на пуговицах и шелковой юбки без шлейфа, и того же покроя была ее летняя одежда, но материал был ситцевый. Несмотря на преклонные годы (Талябине было тогда уже за семьдесят) и на внешнюю хрупкость, Талябина никогда не болела и отличалась баснословной выносливостью и энергией. Без отдыха рыскала она своей бесшумной, семенящей походкой в мягких башмаках из комнаты в комнату, вверх и вниз по лестницам, обнаруживая свой дар вездесущности, особенно на даче, где она как-то одновременно следила и за приготовлением еды на кухне, находившейся в подвале, и давала уроки музыки и немецкого языка, успевая посетить прачешную,

сад и огород. При этом Талябина вставала с зарей, а ложилась позже всех, когда последний гость отбудет, а девочки подымутся к себе в верхние комнаты. И всё это она производила безропотно, без охов и вздохов, почти весело. Говорила она шепотом, что, однако, вовсе не подрывало ее авторитета. Эту маленькую старушонку все не только уважали, но чуточку побаивались — не исключая, пожалуй, даже самого строгого и важного дяди Сезара. Говорила эта природная немка почти всегда по-русски, но на таком странном жаргоне, что понимали ее только те, кто уже имел в этом опыт. Кроме занятий по хозяйству, присмотра за тем, чтобы весь порученный ей, довольно сложный, механизм работал без перебоев и задержек, Талябина успевала еще давать нам уроки немецкого языка и игры на фортепиано, и как раз к самым сладко-меланхолическим воспоминаниям о даче дяди Сезара принадлежат часы, которые я переживал за инструментом под перспективой «Каналетто», рядышком с неумолимо педантичной и изумительно терпеливой Талябиной. С механической точностью отсчитывала она шепотком такты и костлявой своей ручкой изредка стучала по крышке. О, эти томные музыкальные заседания в жару, в дурмане цветочных запахов, в окружении жужжащих мух и пчел. Как я ненавидел эти уроки музыки тогда; моментами я принимался ненавидеть и свою неумолимую мучительницу. И как мне теперь подчас остро хочется очутиться на той же скамеечке, на которой надлежало (с подкладыванием двух томов «Иллюстрированных лондонских новостей») сидеть за роялем. Увидать бы снова наяву освещенный зеленым отблеском деревьев зал, почувствовать и тот легкий, чуть кисленький, запах, который шел от милой чистенькой и усердной старушки, от незабвенной Талябины. Если я ее и мучил порядком, то всё же из бесчисленных учительниц своих, я именно ее больше других почитал...

У Талябины были и свои очень странные причуды. Так, она до маньячества берегла хозяйское добро и из-за этой ее скупости возникали домашние драмы. Однажды она чуть было не отравила весь дом потому, что не пожелала заменить подгнившую от жары дыню свежей, тогда как, чтобы купить эту свежую, надлежало сделать

не более полсотни шагов до той знаменитой на весь Петергоф колониальной лавки, что стояла на конце Конногренадерского канала, насупротив Золотой горы. Свежее масло было также редкостью на богатой даче дяди Сезара — все благодаря экономической диктатуре Талябины. Это не помешало мне, однако, объесться тартинками с совершенно прогоркшим маслом. Даже хлеб к утреннему кофе подавался совершенно черствый, а то и с мухами, запеченными в тесте — это потому, что Талябина предпочитала покупать хлеб в какой-то захудалой булочной, в которой он стоил на грош дешевле, нежели у разносчиков, обслуживающих других дачников. Все эти чудачества Талябины, если и вызывали протесты, то прощались ей во имя ее «уж очень добрых намерений». При этом надо сказать, что сама она вела совершенно аскетической образ жизни и питалась, «как птичка». В интимном кругу она восседала на верхнем конце стола и ей принадлежала прерогатива разливания супа, когда же в доме были гости, то она оставалась в буфетной, следя оттуда за порядком сервировки.

Кончила свою жизнь Талябина на службе у Инны, когда ей уже было под девяносто лет. Годы ее пребывания у дочерей дяди Сезара (после его смерти), омрачились всякими дрязгами между ней и миссис Кэв. Ненавидели эти особы друг друга от всего сердца, но, пока был жив дядя, взаимная их неприязнь не дерзала проявляться наружу. Когда же девушки остались одни, то один домашний кризис следовал за другим. Что-то окончательно возмутительное произошло однажды из-за жареной корюшки («курошка» — как выговаривала Талябина), которой что-то уж очень много наложила себе на тарелку англичанка. Драма эта через несколько недель осложнилась до того, что миссис Кэв предпочла покинуть дом. Однако и Талябина, недовольная тем, что ее своевременно недостаточно поддержали, не пожелала оставаться с Соней и Машей, а переселилась к «Инушке». Рассказ про скандал с корюшкой с тех пор стал ее любимой темой, что до слез смешило Обера, который умел навести старушку на этот сюжет, продолжавший ее волновать даже тогда, когда и всякий след миссис Кэв в Петербурге простыл...

Должен сознаться, что я при всей моей нежности к крошечной Талябине, не менее ценил и любил этого самого ее врага — англичанку. Впрочем, эта англичанка не была чистокровной британкой, а попала она в Европу из Бостона, — к тому же при весьма странных и романтических обстоятельствах. Ее муж, англичанин, но родом из России, скончался в молодых годах и перед смертью высказал пожелание быть похороненным на родине. Исполнение такой воли было в сущности немыслимо, но сознание своего вдовьего долга помогло миссис Кэв добиться своего и, истратив на подкуп нескольких лиц из пароходной прислуги массу денег, она сумела таки перевести труп через океан в качестве своего багажа. Оставшись по совершении такого подвига совсем без средств, она перебралась в Петербург, где, благодаря знакомству с моим зятем, она и попала в семью дяди Сезара. Это плаванье через море в обществе покойника придавало миссис Кэв в наших глазах романтический ореол, а ее фанатическая преданность католической церкви служила в глазах моего дяди ручательством ее моральных качеств, что, однако, не помешало ему поставить одним из главных условий требование, чтобы она отнюдь не пыталась воздействовать на религиозные взгляды порученных ее воспитанию девушек. Дядя Сезар так же, как и его брат Константин Альбертович, был убежденным «либр пансёром» (свободомыслящим) и, если он не мешал детям посещать церковь (по матери они были православными), то всё же строго следил за тем, чтобы никаким излишествам религиозного характера они не предавались. Доверие, которое оказал миссис Кэв дядя Сезар, она постаралась оправдать вполне, но в сущности она и не старалась, ибо у нее всё естественно выходило мягко и тактично. Дама она была уже немолодая, некрасивая, с горбатым «римским» носом, выдержки образцовой и в то же время очень сердечная. Не будь ее глупейших распрей с Талябиной, никто из нас не узнал бы, что она вообще может питать недобрые чувства.

Уже до того, что я стал пользоваться обществом миссис Кэв и практикой с ней английского языка, я коечто понимал и читал по-английски, но я почти не говорил

по-английски. Напротив, проведя летние месяцы 1879, 1880 и 1881 годов на даче дяди Сезара, я приобрел в общении с миссис Кэв такую беглость в изложении своих мыслей по-английски, что не только мог участвовать в беседах, ведшихся на этом языке, но мог и писать по-английски письма, как моим кузинам, так и той же гувернантке, письма, приводившие эту добрую даму в восхищение. «My sweet Shoura you are such a clever boy»[6], писала она мне в ответ. Но нужно прибавить, что никто так не умел «завести» разговор и не давать ему иссякнуть, как именно миссис Кэв. Говорила она отчетливо, не слишком скоро и без тех вульгарных гримас, которые сейчас в моде у американцев, даже хорошего общества. Американизм в ее произношении сказывался только в своеобразном произношении некоторых слов и что th она, к великому негодованию Матвея Яковлевича, выговаривала почти как «д». Но она сама каялась в дефектах своего произношения и следила, чтобы мы их не перенимали. Что же касается стиля ее изложения, то он не был лишен известной живописности, а юмор ее так и искрился. Вообще миссис Кэв вовсе не напоминала классических, чопорных, сухих гувернанток, а потому все дети, попадавшие в ее круг, быстро привязывались к ней, да и она несла свою, подчас не очень легкую службу, не как обузу, а как бы своего рода светское развлечение.

Самые книжки, которые она нам читала или давала читать, были всегда очень милые, забавные и не страдали той шаблонной приторностью, которая часто портит литературу. Но почему-то она не долюбливала Диккенса, да и вообще предпочитала американских авторов. Иные и как раз очень страшные рассказы Эдгара По, я узнал из ее живых, несколько измененных пересказов, но о том, что это были именно произведения По, я не имел понятия. Иной такой рассказ длился часами и в осеннюю пору, когда в наступившей на дворе тьме, бушевал ветер и по окнам хлестал дождь, эти повествования приобретали особую силу. Подчас нам становилось до того жутко, что никто не решался один пройти

---

[6] Мой дорогой Шура, ты такой умный мальчик!

хотя бы в соседнюю комнату. Я и заснуть после таких рассказов не мог иначе, как при непременном условии, чтобы дверь моей комнаты оставалась открытой в смежную спальню Инны и Маши. И уже лежа в своих постелях мы перекликались, отчасти чтобы придать друг другу смелости, отчасти, чтобы вспомнить еще какую-либо подробность. Со строго педагогической точки зрения такая система должна казаться предосудительной, но... для практики английского языка она приносила несравнимую пользу.

После смерти дяди Сезара миссис Кэв недолго жила с моими кузинами и это несмотря на всю их любовь к ней. Не только одни недоразумения с Талябиной заставили ее покинуть их дом. Уступая непоборимому влечению, она переселилась в Лурд, откуда первое время она нам писала довольно часто, приглашая и нас приехать, чтобы убедиться, какие чудеса творит вера и в наши дни. Собраться мы не собрались, но случилось так, что однажды миссис Кэв, живя в Лурде, оказала нашей семье некоторую услугу. А именно через нее были наведены справки о тех испанских корреспондентах, которые в письмах к моей сестре Кате неожиданно объявили себя представителями каких-то родственников Лансере, оставивших после себя миллионное наследство. Надлежало только выслать известную сумму денег для некоторых формальностей, причем надлежало хранить всё это в абсолютной тайне. Моя сестра попалась на эту приманку и переслала по сообщенному адресу какого-то священника несколько довольно крупных взносов. Когда же никаких миллионов из Испании в ответ не прибыло, не прибыла и «та сиротка-племянница», воспитанием которой должна была заняться моя сестра, то у нас зародилось подозрение, не кроется ли под всем этим мошенничество. Об этих подозрениях мы сообщили миссис Кэв, она же потрудилась поехать в Мадрид и, по наведенным там справкам, выяснилось, что наша бедняжка Катенька сделалась жертвой самой банальной и прямо даже классической проделки, известной под техническим названием «испанское наследство». С течением времени письма от миссис Кэв стали приходить реже, они всё более пропитывались специфическим Лурдским духом, не встречав-

шим в нас живого отклика, и, наконец, переписка с ней прекратилась вовсе.

Третьим из второстепенных персонажей в доме дяди Сезара мне хочется назвать кучера Ермолая. Пусть тени Талябины и миссис Кэв не оскорбятся соседством с таким «мужиком», но так оно сложилось в моей памяти, на что имеются и настоящие основания. Стоит мне заглянуть в эту часть милого прошлого, как тотчас предо мною выступают топчущаяся по комнатам старушка Талябина или восседающая на веранде миссис или, наконец, расхаживающая по двору богатырская фигура Ермолая Ивановича.

Ермолай не был заурядным «бонмезонным» кучером, а был настоящей знаменитостью, красой и гордостью всего Петергофа. Недаром императорская придворная конюшенная часть подсылала к нему вербовщиков и пробовала его переманить на царскую службу, суля ему даже честь возить самого царя-батюшку. Ермолаю больше нравилось состоять при особе «Кесаря Альбертовича». Да и относились к нему все в доме с каким-то особенным почтением, вроде того, как, скажем меломаны относятся к исключительным артистам. Зная себе цену, он благосклонно принимал поклонение и всё же никогда не задирал носа и был всегда любезен и почтителен. Лишь изредка (раза два в лето) Ермолай напивался до беспамятства и тогда уже не показывался, а валялся у себя в квартире под бельведером, охраняемый своей Акулиной.

В описываемые годы Ермолаю было лет сорок; росту он был большого, сложения могучего, с широкой, вечно улыбающейся физиономией, с черной окладистой бородой и с такими же маслом помазанными и под скобку остриженными волосами. Операцию этой стрижки производила сама его супруга, для чего клался на голову горшок из-под каши, по краю которого она и обрезала торчащие волосы. Богатырь при этом сидел не шелохнувшись, жмурясь от блаженства. Было, впрочем, в Ермолае два человека. Один был домашний или так ска-

зать закулисный «без грима и костюма», и это был видный, но всё же довольно обыкновенный мужик в бархатной жилетке, из-под которой торчали рукава розовой рубашки. Этот Ермолай не гнушался того, чтобы скрести и чесать лошадей, мыть с помощью конюха экипажи и сбрую, убирать солому в стойлах. Этот же Ермолай препотешно беседовал с лошадьми, поругивал или похваливал их. Походка у него была вовсе неважная, чуть вразвалку, а когда он выпивал лишнее, то становилась она и вовсе валкой, ковыляющей. С видом крайнего смущения и полной покорности Ермолай выслушивал выговоры и распеканции Талябины за какую-либо провинность, и странно было видеть ее крошечную фигурку перед этим, стоящим в согбенной позе исполином. Но был и другой Ермолай, — не простой смертный, а существо высшего порядка, удивительно раздававшийся в своем объеме, благодаря подложенным под его армяк подушкам, что, однако, не мешало ему с изумительной легкостью взбираться на высокие козла. Да и подвластные ему лошади, при одном легком шлепке возжей, сжатых в белых перчатках этого сверхчеловека, превращались из обыкновенных тварей в картиноподобных коней; они поводили ушами, крутили шеями и прелестно пританцовывали, исполняясь ретивого настроения. И повезет такой полубог свою колесницу с господами на «Музыку», где надлежало стать в ряд с другими экипажами, а то покатит он их в Рамбов, как называл он Ораниенбаум или по Английскому парку. И выходило, что настоящий господин или герой именно он, а те, что сидели за его спиной в открытом ландо, вроде как бы только его подручные. Хорошо было катить под ритм дружно и ровно цокающих копыт. А захочет Ермолай показать удаль, то слегка только причмокнет или вполголоса крикнет, и уже мчимся мы вихрем, обгоняя всех и даже великокняжеские экипажи, что в сущности не полагалось. В 1881 году, в первое лето после воцарения Александра III, чуть ли не на каждом перекрестке парка были расставлены конвойные казаки, и вот завидит такой конный часовой нашу коляску и приготовится к тому, чтобы отдать честь, принимая сидящих в ней за августейших особ. Нас эти ошибки очень забавляли, осо-

бенно льстило моему ребяческому тщеславию, что меня (всё благодаря Ермолаю) принимают за государя-наследника. С подобающей величаво-милостивой улыбкой я и кивал опешившему казаку, старавшемуся справиться с приплясывающим конем и приложить руку к папахе.

И что же, этот колосс, этот полубог оказался более хрупким, нежели карлица Талябина. Не прошло и десяти лет с этих наших торжественных выездов, как Ермолая отвезли на кладбище. Уже кончина любимого барина его потрясла в чрезвычайной степени, а через год наследники объявили ему, что они больше не нуждаются в его услугах. Барышни Кавос сочли благоразумным избавиться от лишнего штата, дабы получить возможность, когда вздумается уехать заграницу, а Евгений Цезаревич, тот вообще не был охотником до помпы, а к тому же, женившись, и он отбыл в чужие края, где, по своей беспечности, сильно порастряс отцовское наследство. К чему тут было держать такое чудо-юдо? Ермолай с горя запил, а там, глядишь, у этого геркулеса обнаружилась чахотка, превратившая его через несколько месяцев в жалкую тень.

С Ермолаем никак не мог тягаться бледный, испитой, худенький камердинер дяди Сезара, Тимофей, но и ему мне хочется посвятить хоть несколько слов, не лишенных доли благодарности. Я очень ценил этого тихого, услужливого, богобоязненного человека с грустным, несколько стертым, лицом. Бог не одарил его ни выгодной наружностью, ни какими-либо особыми, приличествующими его роду деятельности талантами; его способности не шли далее толкового служения за столом, образцовой чистки сапог и платьев, содержания всего барского имущества в порядке. Но всё, что делал Тимофей, было полно чего-то достойного и успокоительного. Он презирал суету и излишнее усердие. В нем было много и других качеств, много здравого смысла. С ним приятно и полезно было поговорить. Он и на чаи брал без всякой униженности, благодаря за них, как подобает человеку, их заслужившему. Если Ермолая я охотнее всего представляю себе восседающим олимпийцем на козлах, то Тимофея вижу склоняющимся в утренний час надо мной со словами: «Пора вставать, Шуренька, уже

все за кофием сидят». Он же с ласковой улыбкой предлагал мне вторично отведать какого-либо любимого блюда, вроде ракового супа или пуддинга под сабаионом. Тимофей еще долго оставался при моих кузинах. В этом тщедушном и печальном человеке оказалось больше жизненных сил, нежели в его веселом и великолепном сослуживце.

Глава 21

ДЯДЯ КОСТЯ КАВОС

Перечитывая свой рассказ о дяде Сезаре, я замечаю, что очень мало говорю о нем самом. Но это объясняется тем, что он скончался, когда мне было всего тринадцать лет и когда, в сущности, он как-то проходил на горизонте всего того, из чего составлялась моя жизнь. Кроме того, в течение даже тех месяцев, которые мы проводили у него на даче, он подолгу отсутствовал, уезжая летом заграницу. Напротив, о дяде Косте, о нем самом, я имею рассказать гораздо больше, так как он вполне вошел в мою жизнь, и, повзрослев, я мог в течение нескольких лет лучше изучить его, оценить и полюбить. Но характеристика и его не будет каким-либо всесторонним исследованием, а передаст лишь мои отроческие и юношеские впечатления о нем.

Константин Альбертович Кавос был вторым братом моей матери, года на два старше ее. Молодым я его уже не застал, помню же я его с самого раннего детства и до его кончины в 1890 году, всё в одинаковом, не менявшемся облике маленького, сухонького господина с длинным прямым носом, с черными короткими усами на бритом лице и с черной, без проседи, волной хорошо приглаженных волос. Он не был щеголем, вроде своего брата Сезара, он скорее предпочитал придавать своей наружности некоторую стушеванность, но он всё же всегда был одет безукоризненно. Только воротничок рубашки он повязывал черным бантом а ля Лавальер, и одна эта деталь придавала ему некоторый оттенок «художественности». Кроме того, от него всегда пахло утонченными духами, что было редкостью среди мужчин. Держался он несколько сутуловато, ходил же дядя Костя удивительно

размеренной походкой, ступая вывернутыми наружу носками. Была у него и своеобразная манера здороваться с меньшей братией и сестрой. Он подавал нам «на французский манер» левую, а не правую руку и одновременно подставлял свою гладко выбритую щеку для поцелуя. Однажды, лет восьми, я позволил себе при этом довольно безвкусную шутку. Вместо того, чтобы поцеловать щеку дяди, я ему тоже подставил свою и обе щеки стукнулись. Дядя только усмехнулся, но, долгое время после того, он, здороваясь, отстранял меня рукой на значительную дистанцию, не допускавшую совершения ритуала, что я принимал не без огорчения и обиды.

Вообще я дяди Кости чуточку чуждался, но совершенно в другом роде, нежели я чуждался дяди Сезара. Дядю Сезара я по-настоящему боялся, а порою, обижаясь на его замечания, принимался даже его ненавидеть. Дядя Костя не переставал быть для меня милым дядей и я питал к нему известную нежность, но эти чувства я хранил про себя и с такой примесью почтения, которое исключало всякую пламенность. Позже, в отроческие годы, я даже вздумал во многом подражать дяде Косте; заговорил его размеренной речью, начал выступать, выворачивая носки. Глупее же всего то, что подражая ему, я стал горбиться. Мою сутуловатость следует в значительной мере приписать такой имитации импонировавшего мне образца — ведь вообще зачастую в аналогичных случаях «атавистические побуждения» руководят детьми. Воображая, что во мне больше Кавосских элементов, нежели унаследованных от семьи Бенуа, я именно в дяде Косте видел квинтэссенцию «Кавоссизма» и именно это меня пленило.

По месту своей службы дядя Костя считался «дипломатом», но я должен это слово поставить в кавычки потому, что в сущности он был просто чиновником министерства иностранных дел, где, впрочем, он дослужился до чина тайного советника и до Анненской ленты через плечо, чисто же дипломатических миссий он не получал, но, состоя в продолжение многих лет присяжным переводчиком и будучи посвящаем в иные и очень сокровенные тайны международных отношений, он и сам носил на себе отпечаток чего-то таинственного,

почти заговорщического, что вообще подходило к «дипломатическому стилю» тех дней. Дядя Костя и шутил и смеялся так, как тому учила школа Меттернихов и Горчаковых — всегда с каким-то загадочным видом, давая почувствовать, что за тем, что сказано, кроется более значительный смысл. Смеялся он не громко, а как-то про себя, чуть хмыкая и лукаво при этом оглядываясь, как будто он остерегался, чтобы его слов или его смеха кто-нибудь не подслушал. Смеялся он, впрочем, редко, зато улыбался часто и опять-таки с видом, что под улыбкой следует подразумевать нечто колючее, язвительное. Эта Вольтеровская улыбка имела свойство особенно раздражать его брата, Михаила Альбертовича, убежденнейшего либерала и гуманнейшего идеалиста. Сам же дядя Костя исповедывал взгляды, «приличествующие взглядам государственного человека». В людскую доброту и добродетель он абсолютно не верил, в международных дружбах усматривал один материальный интерес, во внутренних мероприятиях стоял за manière forte[1]. Он был усердным читателем «Голоса» и «Нового времени». Иные грубые, но талантливые фельетоны и пасквильные пародии Буренина доставляли ему особенное удовольствие. Среди же исторических фигур, он особенно почитал Тьера, Бисмарка, питая некоторую слабость и к Наполеону III.

Как почти все в нашей семье, дядя Костя был завзятым западником, тогда как ко всему характерно русскому он относился скорее пренебрежительно, а подчас и с нескрываемым презрением. Русское государство он чтил, русскую культуру готов был терпеть, но «русский стиль» он ненавидел, будь то в обыкновенном быту, в произведениях искусства или в проявлениях государственной власти.

Так, мягкосердечие, растерянность и непостоянство Александра II были ему противны. Всякая расхлябанность, несдержанность в чувствах, способствующая созреванию опасных непоследовательностей в людях, стоящих у власти, он клеймил, как особенно тяжкие грехи. «Корсет» моральный и политический казался ему пер-

[1] Твердую руку.

вым условием человеческого благополучия. Впрочем, он не столько заботился о благополучии, сколько о порядке, о порядочности, о джентельменской выправке, о возможности сосуществования отдельных людей и целых народностей, благодаря взаимной корректности и хотя бы фикции взаимного уважения.

В русском театре дядя Костя бывал в исключительных случаях, и тогда умел оценивать отдельные таланты и «сочность» всего ансамбля, не впадая при этом в какой-то патриотический преувеличенный восторг, вообще же русскому театру он безусловно предпочитал иностранный. Во французском (Михайловском) театре у него была абонементная ложа и, несмотря на занятость, он пропускал редкий спектакль, тонко разбираясь в достоинствах и недостатках исполнителей; о самих же драматических произведениях он обыкновенно не высказывал суждений; мне кажется даже это его как-то «мало касалось». Театр был для него тем, чем для других бывает спорт и чем для него же самого служила карточная игра, — каким-то развлечением и отдохновением. Он был особенно силен в винте, которому он посвящал в Английском клубе несколько вечеров в неделю. Вообще Константин Альбертович находил удовольствие в том, когда комбинации слов, положений, чувств (да, пожалуй, и взаимоотношения звуков и красок) складывались в стройный порядок. Всякое нарушение его, всякое столкновение, всякий неразрешенный диссонанс, вызывали в нем досаду, а иногда и гнев.

В его гневности, в его горячности, не так уже редко прорывавшихся наружу через весь Меттерниховский и Талейрановский стиль, сказывалась итальянская основа его характера. Я, впрочем, не думаю, чтобы такие прорывы происходили у него на службе или на заседаниях тех банков и компаний, в которых он был директором или членом правления. Зато довольно часто эти взрывы получались за семейными обедами, когда после супа появлялся вечно опаздывавший его (единокровный) брат, дядя Миша Кавос и «sur le tapis» (в порядке дня) ставилась какая-либо животрепещущая тема, часто им самим припасенная, специально для этого момента. Пока дядя Миша «догонял» других и молча ел традиционную «ми-

нестру аль ризо», дядя Костя только лукаво взглядывал на него, пряча за пазуху острие своего оружия, но уже за рыбой перчатка оказывалась брошенной и подхваченной. Впрочем, не всегда спор зажигался сразу: иногда он разгорался со значительным запозданием, но и в таких случаях атмосфера семейного симпозиума насыщалась особенным электричеством, которое затем разряжалось настоящей, не лишенной патетичности, грозой. Перепалка между дядьями достигала высшей напряженности за десертом, и уже оба антагониста с яростью кричали друг на друга, причем моя мама то и дело в ужасе восклицала: «Костя, не горячись, тебе это вредно».

Особенно запомнился мне тот жестокий спор, что возник по поводу национальных похорон, устроенных в Париже Виктору Гюго (1885 г.). Дядя Костя не находил слов, чтобы клеймить такое «безвкусное преувеличение, ту нелепую (в его освещении) эффектность», с которыми Франция почтила своего великого человека. Впрочем, он лично не любил Гюго, а памфлет его по адресу «Наполеона маленького», он прямо считал гнусным поклепом. Напротив, дядя Миша почитал Виктора Гюго и всю его, пусть и напыщенную, но всё же вдохновенную проповедь свободы, душевного благородства и т. д. Поэтому та грандиозная церемония, в которой Франция решила выразить свое благодарное и благоговейное поклонение, представилась ему вполне естественной и заслуженной. Мне, впрочем, казалось тогда, что они оба правы поочередно, и именно с этого спора я как-то по-особенному полюбил слушать обоих. Меня восхищала их темпераментность, то самое, что жило во мне и просилось наружу. Нравился мне и специфически итальянский характер таких турниров.

Дядя Костя, имевший в себе одну итальянскую кровь без примеси иной, если и не произносил никаких панегирик в честь Италии и в частности итальянского искусства, то всё же стоял на страже того, чтобы «его Италию» не задевали и не оскорбляли. Напротив, возможно, что в дяде Мише говорила значительная примесь русской крови и немного немецкой (так как мать бабушки была немка) и благодаря этому он не только не выступал паладином Италии и всего итальянского, а был

склонен разделять общее тогдашнее мнение о безнадежном упадке этой страны. И на подобные темы была истрачена обоими братьями баснословная масса пламенности, в особенности, когда дело касалось итальянской музыки и итальянской оперы. Но тут однажды произошел и инцидент, очень неожиданно прервавший спор. Бабушка Ксения Ивановна, возмущенная в своем итальянском патриотизме (несмотря на то, что в ней не было и капли итальянской крови), швырнула через весь стол салфеткой в своего сына приняв со всей ей присущей пылкостью сторону своего пасынка, причем она свой жест сопроводила, на самый российский манер, возгласом: «Молчи, дурак». Дядя Миша тогда очень обиделся на мать и, вероятно, дома у них последовало объяснение по всем статьям, но самый спор был вмиг прекращен и уже в тот вечер не возобновлялся.

Эта бестактная выходка бабушки очень огорчила и моих родителей. Вообще же ни тот, ни другой из них в обыденных спорах участия не принимали, разве только иногда один из спорщиков обратится к папе по поводу какого-либо вопроса, как к авторитетному специалисту. Но и подобные заключения отца, высказываемые в его обычном мягком тоне, выслушивались без особенного внимания, так как комбатанты спешили вернуться на поле брани. Папочка не успевал сообщить требовавшуюся справку, как уже оба они, стуча пальцами по скатерти и стараясь перекричать друг друга, с прежней яростью возобновляли свои доказательства. В этих же спорах обоих дядьев принимали иногда деятельное участие мой зять Женя Лансере и его закадычный друг Зозо Россоловский. Кузен Сережа также получил право голоса, но лишь после того, как он окончил Правоведение.

Рано овдовев, дядя Костя поручил воспитание единственной дочери Ольги своей свояченице Екатерине Анжеловне Кампиони. Эта дама, хоть и носила итальянскую фамилию, однако принадлежала к совершенно обрусевшей семье, к тому же исповедывавшей православие. Тетя Катя Кампиони была маленькая, смуглая, очень некрасивая женщина, с некоторыми замашками «благожелательной важности». Улыбка не сходила с ее сжатых губ, а руки были всегда скрещены на животе под удивитель-

но мягким и теплым оренбургским платком. Всё это вместе придавало тете Кате приятную уютность. Лучшими месяцами своего существования она почитала те, что проводила на водах, преимущественно в Киссингене и в Мариенбаде, где она сводила весьма лестные знакомства и где она, несмотря на некоторую щекотливость своего положения, могла сходить за барыню неоспоримо лучшего тона. В Петербурге она вела замкнутый образ жизни, но замкнутость эта не носила какого-либо предосудительного характера. Правда, ни для кого не было тайной, что тетю Катю с дядей Костей связывают не одни только отношения, получившиеся вследствие того, что она заменила Оле ее покойную мать, но эта «узурпация» произошла так давно, сожительство этих двух, уже далеко не молодых, людей носило столь корректный характер, что никому не приходило в голову их за это упрекать. Только как раз со стороны дочери дяди иной раз возникали довольно гневные упреки, переходившие в бурные объяснения. Но эти скандалы бывали только в первые годы после выхода Ольги из института, да и они происходили в самой строгой, интимности, я же узнавал о них потому, что обе стороны обращались затем к моей маме, которой удавалось мирить отца с дочерью и заставить последнюю идти с повинной к воспитавшей ее, не без труда и некоторых жертв, тетушке. Вообще же тетя Катя участвовала в общей нашей семейной жизни на самых почетных началах. И папа и мама относились к ней с такой же лаской, с какой они относились к прочим близким родным. Впоследствии, тетя Катя сделалась почти нашей ежевечерней гостьей — благо для этого стоило ей перейти площадку парадной лестницы, на которую выходили двери квартир и нашей и ихней.

Вообще полное сближение обеих семей стало возможным с тех пор, как дядя Костя переселился в наш дом. До этого он занимал казенную квартиру в доме министерства иностранных дел на Большой Морской. Эта квартира была в верхнем этаже, выходила окнами во двор и не была особенно привлекательной. В моем детском представлении она уже и вовсе не казалась парадной потому, что у мамы, в ее частых посещениях брата и тети Кати, выработалась довольно странная привыч-

ка: мы попадали туда не через парадный вход, а через наполненную чадом кухню, где хозяйничала толстенная и мало аппетитная кухарка Васильевна. Каким образом могла сложиться в те совершенно нормальные времена такая ненормальная привычка, я не съумею объяснить, возможно, однако, что тут действовала просто всегдашняя деликатность мамочки, нежелание заставлять эту самую Васильевну (других прислуг в те времена у дяди не было), бежать на своих распухших ногах по длинному коридору к парадной двери, о существовании которой я даже и не подозревал. Ход же через кухню, по моим понятиям, означал некоторое убожество, и именно впечатление какого-то убожества я и выносил из своих посещений дяди Кости, несмотря на то, что комнаты у него были увешены картинами и уставлены вовсе не бедной мебелью. Вследствие того же у меня в те времена образовалось отношение к дяде, вроде как бы к бедному родственнику.

Надо прибавить, что в этом обиталище дяди Кости царила (для меня в особенности) убийственная скука. Ведь кузина Оля, воспитывавшаяся в Смольном институте, никогда кроме как на Рождественские праздники, не приезжала домой, и мне приходилось коротать целые часы в обществе мамы и тетушки. Мама брала меня с собой специально для прогулки, чтобы я подышал «свежим воздухом», а я в данном случае повиновался и шел безропотно, так как путь наш лежал через Морскую, а там меня притягивала огромная роскошная витрина магазина Кумберга (типа позднейших универсальных магазинов) и еще более то, что было выставлено насупротив в низеньких окнах «Иностранного магазина», где всегда, на прельщение младшего поколения, бывали расставлены оловянные солдатики и всевозможные игрушки — сущий рай для детей.

Насладившись лицезрением этих чудес, надлежало затем лезть на четвертый этаж по довольно темной лестнице с тем, чтобы попасть в объятия толстухи Васильевны, неистово принимавшейся меня чмокать в обе щеки, что я ненавидел пуще всего, а там, вслед за этим обрядом, приходилось провести в томительном бездействии часа два, пока обе дамы не переберут все интере-

сующие их темы (самого дяди Кости при этих дневных посещениях не бывало дома, так как он находился на службе). Меня несколько притягивал письменный стол в кабинете дяди, весь уставленный бронзовыми статуэтками, среди которых особенно меня пленяли два пресс-папье с изображениями Петра Великого — одно из них в миниатюрном воспроизведении знаменитого памятника Фальконета, другое, изображавшее Петра, спасающего гибнущих на Ладожском озере. Однако мне строго было запрещено до чего-либо дотрагиваться или что-либо сдвигать с места...

И вот однажды, именно в этой скучнейшей квартире дяди Кости, передо мною открылся целый неведомый мир. Меня уже давно интриговал деревянный ящик с двумя круглыми стеклышками на покатой крышке, что стоял в столовой перед окном. Однако, тетя Катя Кампиони каждый раз, когда я спрашивал что это такое, отводила мое любопытство разными предлогами — она, видимо, опасалась, как бы, я не дай Бог, не попортил этой вещи. Но однажды, желая от меня отвязаться и меня чем-либо занять, она посадила меня на высокий стул перед ящиком и пригласила взглянуть через стеклышки во внутрь ящика. И тут-то я мгновенно застыл от восторга. Предо мной на зеленом кресле, свернувшись калачиком, покоилась чудесная киска. Она спала сладчайшим безмятежным сном. Каждый волосок ее серого с очаровательной правильностью разрисованного меха, отделялся один от другого, составляя всё же в целом одну сплошную, восхитительно заманчивую поверхность, а под носиком киски торчали, как тончайшие хрустальные прутики, длинные усы. Один вид зажмуренных глаз говорил о тех роскошных сновидениях, которыми упивался этот очаровательный Васька и которые вызывали на его сомкнутых устах род блаженной улыбки. Вообще всякий представитель и всякая представительница кошачьей породы вызывали (да и по сей день вызывают) во мне своеобразный восторг, а тут этот кот был тем более пленителен, что он был недоступен, что его нельзя было погладить и разбудить, что он имел в себе что-то сказочно зачарованное. Вот лежит тут под носом, спит чуть что не дышет, а всё же это только «так кажется»

и, если захочешь тронуть, то под рукой окажется одна лишь наклеенная на картон бумажка — фотография. Самое замечательное, что мой восторг от этого единственного в своем роде кошачьего портрета не остыл до самого сегодняшнего дня. Благодаря щедрости моего брата Михаила, унаследовавшего многое из имущества дяди Кости, я впоследствии стал обладателем этой спящей киски, снятой и отпечатанной еще в те дни, когда Францией правил Наполеон III. Эту картинку я захватил с собой в эмиграцию и она до сих пор тешит меня иногда своим олицетворением блаженного покоя.

Но, кроме кота, волшебная коробка дяди Кости содержала массу интересного. Тетя Катя научила, как нужно медленно вертеть ручку, вставленную в бок коробки, чтобы перед взорами проходили всевозможные изображения. Вслед за котом я увидел и чужеземные города — Париж, Рим, «родную» Венецию, пальмы Египта и льды глетчеров — чего-чего только не оказалось в этом удивительном ящике. Наглядевшись досыта одной картинкой, я вертел ручкой и тогда картинка проваливалась куда-то в неведомое, а вместо нее возникала откуда-то другая. Пока новый сюжет был только в пути, он казался плоским куском картона с двумя одинаковыми изображениями, а когда он вставал на нужное место, то обе эти картинки вдруг сливались в одну и тут возникали передо мной не картинки, а сущая правда. Именно эта правдивость доставляла мне, безотносительно к сюжету и в силу одной своей чудесной иллюзорности, неописуемое наслаждение. Теперь я уже не докучал маме и тете всё учащавшимися вопросами: «когда же мы пойдем домой?», я оставался час и более в молчаливом оцепенении, не уставая разглядывать то обледенелые стенки ходов, проделанных в снежных завалах, то какую-либо тирольскую деревушку, каждый домик которой делился и лепился с удивительной отчетливостью. Одна из картинок изображала накрытый для чаепития стол, за которым сидели дети. Приятная дама с гладкой прической, вроде тех, которые еще носили тогда дамы постарше, грозила пальцем девочке «вылито похожей» на одну из моих кузин, тогда как другая с видимым наслаждением опрокидывала чашку в рот; тре-

тья девочка в чем-то провинилась — и в наказание ее поставили к стенке в смешном колпаке на голове. Еще одна картинка мне полюбилась чрезвычайно. Она изображала столь значительный в детской жизни момент укладывания спать. В слабо освещенной, уставленной кроватями комнате, «мама» наблюдала за тем, чтобы ее дочки отдали перед спаньем известную «дань природе»; одна уже сидела на горшечке, другая, постарше в ожидании своей очереди стояла рядом, подобрав юбки. Всё это мне казалось выхваченным из нашей же жизни, причем, разумеется, ничего предосудительного мне в голову не могло придти, — до того всё было здесь знакомо и обыденно.

Были среди огромной коллекции стереоскопических карточек дяди Кости и довольно пикантные сюжеты. Для взрослых, для понимающих, они, пожалуй, представляли собой известный соблазн, но мне, «не понимающему», они тогда казались просто более скучными, чем другие. Почти все они изображали дам не очень привлекательных, с лицами очень обыденными. Эти дамы то отдыхали на диване, то читали книжку, то причесывались перед зеркалом, причем каждый раз оголены были руки, плечи, грудь, а из-под высоко задравшейся юбки, виднелись ноги в белых чулках и прюнелевых башмачках. Это был типичный «Артикль де Пари» — товар, который привозили с собой и очень солидные люди вроде дяди Кости, в память о веселых днях, прожитых на берегах Сены или хотя бы — рассказов об этих днях.

Много много раз я видел всё те же картинки, которые когда-то были вставлены в стереоскопический аппарат и с тех пор не менялись; я не подозревал, что данная серия может быть заменена другими изображениями, что у дяди припрятаны еще целые массы их. Но как-то раз меня ожидал сюрприз — все картинки в аппарате оказались невиданными и тогда тетя Катя открыла секрет, как эта замена производится. С тех пор я уже стал требовать всё новых и новых картинок и не успокаивался, пока мне таковые не вынимали с заповедной этажерки в кабинете. Вскоре я сам выучился вставлять картинки в предназначенные для них проволочные рамочки, приделанные к вращавшемуся турникету, и с

этого дня, передо мной ставился весь, снятый с этажерки ящик с его богатствами, я же до одурения разглядывал эти чудеса. Теперь я не только уже не звал мамы домой, но и сердился, когда меня отрывали от этого занятия.

Возникшая тогда у меня стереоскопная мания осталась затем на всю жизнь. Впоследствии я составил свою собственную коллекцию карточек, во много раз превосходившую дядину, а когда я стал заниматься фотографией, то первым долгом приобрел себе два съемочных стереоскопических аппарата, благодаря которым моя коллекция значительно обогатилась изображениями нашей семейной жизни, а также видами наших загородных дворцов и садов. Все эти драгоценнейшие документы, я увы, не мог взять с собой в эмиграцию тогда, как, повторяю, «спящую киску», «девочек за чаем» и «девочек, ложащихся спать» я взял и эти картинки по сей день в любой момент позволяют мне окунуться в наслаждение, подобное тому, которое я познал, когда мне было пять лет. Пожалуй, в проснувшемся тогда инстинкте разглядывания изображений, более чем в чем-либо другом, впервые выразилось мое живописное призвание.

В отдаленные годы моего детства (до 1880 года), дядя Костя оставался для меня фигурой относительно далекой. Встречал я его не более раз в месяц и почти всегда на каком-либо семейном обеде, то у нас, то у дяди Сезара. У себя же дядя Костя в те годы обедов не устраивал, вероятно, из экономии. Крайне редко встречал я и его дочь, мою кузину Олечку, «гостившую» у себя дома лишь во время рождественских каникул. 25-го декабря устраивалась крошечная, сохранявшаяся из года в год, искусственная елочка, а самое празднование происходило в формах крайне интимных и скромных, не то, что у нас или у других родственников и знакомых. В связи с «черным ходом» и это способствовало тому, что я был невысокого мнения о средствах дяди Кости. Летом он нанимал в Петергофе дачу, а Олечка ходила в самых простеньких платьицах, ничем не отличаясь от своих кузин Кампиони Жени и Маши, родители которых были людьми скромными и мало зажиточными.

Наконец, и то, что дядя Костя при всяком случае рекомендовал соблюдение чрезвычайной расчетливости, не свидетельствовало в моем представлении об его богатстве. Запомнился мне такой глупейший, но всё же характерный случай. Как-то в Петергофе, зайдя к нам рано утром, он взял меня с собой пройтись в соседний Английский парк. Прогулка, проведенная в столь необычайный час, получила удивительное вознаграждение. Не успели мы зайти за чугунные «готические» ворота парка и сделать шагов тридцать, как мое внимание было обращено на что-то блестевшее у самой дороги в траве. Оказалось, что то блестит металлическая ручка очень хорошенькой, совсем новенькой детской тросточки — как раз мне, шестилетнему, по росту. Я был в восторге от своей находки, дяденька же, совсем как в нравоучительной книжке для детей, счел своим долгом прочесть целую мораль: «Ты видишь, мой друг (иначе, как «мой друг» дядя ни к кому из близких не обращался, не делая разницы ни по полу, ни по возрасту), ты видишь, как полезно рано вставать. Мы вошли в парк первыми и вот нашли эту вещь. Если бы пришли позже, то ею воспользовались бы другие» и т. д. в том же роде. Долгое время после этого я оставался при убеждении, что по утрам улицы бывают усеяны потерянными драгоценностями и что мусорщики, подбирая их, становятся со временем «ужасно богатыми» людьми.

От дяди Кости слышал я и нравоучительный рассказ о том, с чего началась карьера тогдашнего богача, «русского Ротшильда» — барона Штиглица. В юности Штиглиц будто бы очень нуждался и тщетно искал себе заработка. Однажды он явился к одному банкиру, у которого в банке открылась вакансия, но банкир не пожелал брать человека без всякой рекомендации, и бедный Штиглиц покинул подъезд банкира, убитый своей неудачей. И тут-то и случилось то, что произвело полный поворот в его фортуне. Несмотря на всё свое огорчение, Штиглиц заметил лежавшую на мостовой булавку, нагнулся, поднял ее и аккуратно засунул себе за отворот сюртука. Банкир всё это увидел в окно и вынес сразу столь выгодное впечатление о достоинствах молодого человека, главным образом, об его бережливости, что

позвал его обратно и для пробы дал ему какую-то бухгалтерскую задачу. Штиглиц прекрасно с ней справился; через два дня он уже сидел в конторе, принимая участие в «общей работе», а в дальнейшем он получил ответственное место в том же банке, после чего он взобрался по всем ступеням финансовой иерархии и стал самостоятельным банкиром и миллионером, одним из самых богатых людей не только в России, но и на всем свете. И еще другой, не менее нравоучительный и не менее наивный рассказ я слышал от дяди Кости на сей раз об известном кондитере в Петербурге — Ландрине. Фабрика Ландрина стояла на том же Екатерингофском проспекте, на который выходил одним фасадом и наш дом. Она была мне хорошо знакома по упоительным запахам шоколада и всяких сластей, соблазнительно ласкавших мое обоняние, когда я проходил мимо. Явился Ландрин в Петербург босоногим нищим мальчишкой, но изворотливый его ум, а еще более выдержка и, главное, бережливость помогли ему в несколько лет составить весьма значительное состояние. Начал он с того, что коптил сахар на свечке и получавшиеся таким образом леденцы продавал на улице. Леденцы его имели успех и постепенно доставили ему известность. Но долгие годы Ландрин не позволял себе отходить от своего первоначального образа жизни, он только копил и накапливал, пока нажитое не составило сумму, давшую ему возможность сначала открыть лавку, а там обзавестись и фабрикой. И снова дядя Костя на этом примере настаивал на необходимости придерживаться принципа бережливости. Увы, эти семена попадали на неблагодарную почву. Его племянник так делового отношения к жизни и не приобрел, а остался в финансовом отношении сущим калекой и уродом, о чем он искренне и постоянно сожалеет.

И вот внезапно произошла радикальная перемена во всей манере дяди Кости. Случилось это в 1880 году, в момент, когда Оля окончила институт и, как говорили в старину, «заневестилась». Дядя выразил желание поселиться в нашем доме, на одном этаже с нами, и это так соблазнило маму, что она решилась на шаг, который показался бы немыслимым при других обстоятельствах. Ей пришлось попросить стародавних жильцов и к тому

же наших хороших знакомых, Свечинских, «очистить место». Но дяде Косте оказалась мала их довольно поместительная квартира и пришлось выселить еще и жильцов рядом со Свечинскими. Всю амфиладу комнат стали сразу, в летние месяцы, отделывать и уже осенью того же года дядя мог въехать в свое новое обиталище. Жертвой этого переустройства стала между прочим прелестная, украшенная колоннами, гостиная Свечинских, так как из нее, с прибавлением соседней комнаты, была образована большая зала, настолько обширная, что в ней, в одну из следующих зим, можно было соорудить сцену для домашнего спектакля.

Как только работы были окончены, дядя Костя с тетей Катей и Олечкой переехали к нам в дом и стали нашими ближайшими соседями. Когда всё было готово, мебель расставлена, картины, зеркала, портьеры и занавески повешены, меня поразило, до чего эта новая квартира дяди не похожа на ту, в которой он жил на Морской. И откуда только взялись эти изящные диванчики, столики, люстры, лампы и бра, рояль и ковры, что заполнили и украсили залу? Да и в новом кабинете дяди до чего всё выглядело парадно и внушительно, хотя кабинет был уставлен теми же предметами, которые мне были знакомы с давних пор. При этом ничего здесь не носило того несколько случайного характера, какой господствовал у нас, вероятно, вследствие частых, вызываемых семейными обстоятельствами, переборок. У дяди всё стало точно на специально заготовленные места, с тем, чтобы уже никогда не передвигаться и всегда говорить о том, что здесь живет человек с солидным состоянием, а к тому же и с хорошим вкусом.

Кое-что приобрело даже несколько официальный характер. Теперешний кабинет дяди годился бы для министра, зала с голубой обивкой мебели была настоящей парадной комнатой, предназначенной для многолюдных и блестящих приемов, столовая, с ее закусочным буфетом и с огромным обеденным столом, сулила великолепные пиршества и это обещание она сдержала — нигде я так вкусно не едал, как на тех обедах, которые дядя устраивал теперь через каждое воскресенье, тогда как другие семейные обеды, но менее изысканные, происхо-

дили по очереди у нас или у дяди Сезара. Были и уютные комнаты в этой квартире дяди Кости; мне особенно нравилась комната тети Кати, в своей передней части служившая чем-то вроде будуара, в своей задней, за матерчатой перегородкой, спальней. В передней части так приятно было сидеть на штофных креслицах и на диванчике, а драпировка, разделявшая комнату, придавала всему впечатление теплоты и замкнутости.

Естественно, что дядя не пожалел денег на то, чтобы его единственная дочь Оля забыла о казарменности институтских дортуаров и почувствовала бы себя, наконец, действительно дома, в теплом приятном гнездышке. Ей досталась последняя, залитая светом комната, имевшая в плане круглую форму. Была она угловой и выходила и на Никольскую и на Екатерингофский проспект. Стены были обтянуты чинсом, с большими яркими цветами, и такой же материей были обтянуты мягкие стулья, кресла и диван, а на всю комнату был постлан бархатный ковер. Попадая в эту комнату, не хотелось ее покидать. Меня особенно тянул в Олину комнату книжный шкаф, на полках которого стояли сомкнутым строем томики в разноцветных переплетах с золотым тиснением. Почти все эти книги были французские, а значительная часть их принадлежала перу графини де Сегюр, урожденной Ростопчиной. Это собрание я досконально изучил в несколько месяцев. В другом шкафике береглись игрушки, когда-до служившие Оле, и среди них большая коробка с бесчисленными миниатюрными предметами кукольного хозяйства. У меня была особенная страсть как раз к таким карликовым вещицам. Расставляя их и рисуя себе при этом жизнь каких-то крошечных существ, сам я как бы превращался в одного из моих любимцев — в Гулливера среди лилипутов.

Теперь сам дядя Костя стал нашим завсегдатаем. Каждое утро, около десяти, он являлся и проходил прямо к маме, с которой у него были длинные разговоры — почти всегда финансового характера. Под его руководством и через него мама производила операции с покуп-

кой и продажей бумаг, и как будто, благодаря этим операциям, одно время мы стали обладателями довольно значительного состояния. Но затем, к концу 80-х годов, произошел какой-то крах, приближение которого проглядел хитроумный дядя Костя, и всё это богатство так же быстро растаяло, как образовалось. Дядя тоже пострадал (я помню расстроенные и озабоченные лица обоих), но всё же он скоро успел наверстать потерянное, так что к моменту его кончины капитал дяди исчислялся в 800.000 рублей. Сумма была немаловажная (капитал давал около 40.000 рублей годового дохода) и позволила впоследствии наследнице дяди Кости вести столь же «полный» образ жизни, какой вели другие наши семейные богачи: мой брат Леонтий с женой, дети дяди Сезара и другие.

Возвращаюсь еще раз к семейным обедам, так как они играли в нашем быту большую роль. С момента поселения дяди Кости на Никольской улице и особенно после смерти его брата Сезара они вошли в окончательно утвержденную систему. Обеды у нас чередовались через неделю с обедами у соседей. К обедам у дяди Кости я сначала относился с некоторой опаской, как к чему-то скучному, но затем постепенно я к ним пристрастился. При всей своей расчетливости, дядя оказался великим хлебосолом и тонким знатоком гастрономической части. Древнюю расхлябу Васильевну сменила первоклассная кухарка — настоящая мастерица. Особенно же дядино угощение славилось обилием закусок. Дядя сам ездил выбирать деликатесы к Смурову и к Елисееву, где он прислушивался к советам и рекомендациям преданных ему приказчиков. Он лично заведывал и погребом, в котором водились разнообразные отборные марки, но особенно прекрасны были Рейнские вина. Солидной парадностью отличалась и сервировка. Серебро было массивное и тяжелое, скатерти и салфетки ослепительно белые, посуда, хрусталь — высшего качества. Среди стола красовались три вазы с отборными фруктами, а на тарелочках мейссенского фарфора были разложены специально заказывавшиеся конфеты от Кочкурова, на которые, с самого начала обеда, я кидал полные вожделения взоры. Мое место на этих обедах у дяди Кости было всегда на са-

мом конце стола, между кузеном Сережей и дядей Мишей Кавос. И вот тут, незаметно от «главных старших», я мог тешить свое пристрастие к сладкому тем, что урывками схватывал то одну, то другую палочку, кругляшку или шарик, всё сказочно вкусные вещи. Напрасно мама, с другого почетного конца, делала мне знаки, чтобы я от этого воздерживался, соблазн становился только еще более сильным.

В первые годы обеды у дяди Кости не представляли для меня иного интереса, нежели именно такое потворство моим плотоядным инстинктам, «духовное же содержание» этих обедов не доходило до моего сознания. Но по мере того, как я рос, я стал более внимательно прислушиваться к возникавшим между старшими спорам и эти «контроверсы» людей остроумных и на редкость культурных, сослужили не малую службу моему развитию. Бывало, на наших домашних обедах мне делалось скучно, и тогда я, под каким-нибудь предлогом, покидал столовую и удалялся к себе в комнату, возвращаясь только к десерту[2]. Но на обедах у дяди Кости я не позволял себе подобных вольностей, уже из-за одного уважения к нему и вот постепенно я стал интересоваться тем, что говорилось и меня начал пленять азарт, с которым велся спор. Вначале мне казалось, что каждый последний говорящий был абсолютно прав, но позже я стал чувствовать всё большую солидарность с одной партией и соответственную враждебность к противуположной. В общем я был на стороне более идеалистической и подчас меня возмущали ультра-позивистические и узкоматериалистические взгляды самого дяди Кости, едкое остроумие которого я всё же не переставал и тогда оценивать по достоинству.

Беседа обрывалась за кофием, который подавался в

---

[2] В очень ранних летах я при таких приступах скуки за семейным обедом умудрялся соскальзывать под стол, где оказывался в совершенно особенном сумрачном мире, в чем то вроде длинного мрачного зала, в котором роль колонн играли ножки стола, а кариатид — панталоны мущин и юбки дам. Удивляло меня и то, что пол был здесь усеян крошками и объедками, которые я из одного озорства, забыв о своей брезгливости, подбирал и совал в рот. Иногда мне в этом «подстолье» держали компанию собаки и кошки.

дядином кабинете, дамам же и «дамским кавалерам» — в зале. Главный спорщик дядя Миша, выбрав себе из великолепного старинного ящика сигару (у дяди Кости был всегда целый ассортимент сигар очень высоких сортов; сунув в этот ящик нос, я вкушал с особым удовольствием шедший из него сложный аромат) — под предлогом, что ему нужно спешить в другое место или в театр, покидал семейное сборище и с этого момента всё как-то затухало. Красивый, статный, всегда облаченный в генеральский мундир лесного департамента, Павел Анжелович Кампиони, милейший перс Мирза Казим-Бек Абдинов, сослуживец дяди Кости по министерству иностранных дел, и единственный его приятель, садились за винт; с кузиной Олей и ее подругами я не находил тем для разговоров, и единственным моим развлечением оставались всё те же стереоскопы, в разглядывание которых я погружался, открывая всё новые и новые прелести: аппарат в таких случаях и ящик, вынутый из этажерки, ставились на стол перед кожаным дедушкиным диваном, в мое распоряжение предоставлялась лампа с шаровидным колпаком, и тут, сидя под большой «Венерой» Падованино, я, в продолжение часа и больше отдавался лицезрению любимых карточек, напряженно разглядывая каждую деталь на них.

Иногда, впрочем, дядя вынимал из библиотечного шкафа карельской березы ту или иную книжку, специально для того, чтобы отвлечь меня от стереоскопа, якобы портящего зрение. Но книжки у дяди Кости были куда менее интересные, нежели те, что составляли папину библиотеку. Меня еще занимала многотомная зоология, но все, тонко раскрашенные изображения в ней я знал наизусть, а книжки научного содержания или скудно иллюстрированные сочинения исторические не могли удовлетворить мою жадность до всего изобразительного. Для полноты упомяну, что в зале, на отдельном овальном столе, лежал толстенный альбом, с фотографиями самых знаменитых и самых популярных картин Дрезденской галлереи, а рядом с ним три тома в роскошных переплетах — «Мозаики». Это были кипсеки большого формата с гравюрами на стали. В Дрезденской галерее меня особенно притягивала в те годы пробуждающейся чув-

ственности картина Чиньяни: Иосиф и жена Потифара, а в «Мозаиках» картина Маклейза, изображающая тот спектакль, что дает Гамлет при дворе короля Клавдия. В этой очень толковой композиции меня пленила так сказать «режиссерская часть» — то как, всё было размещено и уравновешено в группах; к тому же эта картина изображала спектакль, и уже это было достаточно, чтобы меня притягивать.

В общих же чертах жизнь этих обеих семей, так тесно связанных родственными узами, протекала в мире и дружбе, и только для меня лично этот лад был нарушен по моей вине в 1887 году, когда я случайно услыхал несколько иронический отзыв дяди Кости о моем романе с той, в которую я был без памяти влюблен и которой впоследствии суждено было сделаться моей подругой жизни. Сейчас я решительно не помню, что сказал дядя Костя, но, обуреваемый «ультра-рыцарскими» чувствами, я считал долгом выказывать их при каждой оказии, а по сему, не задумываясь, я «вычеркнул» дядю Костю за его провинность из круга моих знакомых. Напрасно мама увещевала меня изменить отношение к любимому брату, напрасно меня моментами сильно тянуло отказаться от принятой нелепой позиции, напрасно во мне иногда заговаривали соображения чревоугодия (мне становилось особенно обидно, когда все наши собирались на обед к соседям, где, я знал, будут подаваться самые вкусные вещи) — верный своему решению, я оставался дома, довольствуясь тем обыденным, что готовилось у нас для младшего поколения Лансере. Всё это сопровождалось еще и страданиями совести. Уже одно то, что мое поведение огорчало мамочку, вызывало во мне мучительные угрызения, но, кроме того, ведь я и сам продолжал любить и чтить дядю, а тут, в силу данного глупейшего обета, я, при встречах еле отвечал кивком на его ласковую улыбку, а то проходил мимо «не замечая его». Эта «опала» дяди началась осенью 1887 г. (одновременно за подобные же провинности моей опале подверглись и тетя Лиза Раевская и наша бывшая гувернантка мадемуазель Леклерк и еще несколько близких лиц) и длилась эта опала целый год. Кончилась она както само собой, просто потому, что стыд за свою мальчи-

шескую глупость взял верх над тем, что я почитал своим долгом.

Увы, не долго после того я еще пользовался обществом моего дорогого дяди. Проболев несколько недель, он скончался от сердечного припадка на Пасхальной неделе 1890 г. В первый раз я понял «обреченность» дяди Кости, встретив его как-то на нашей парадной лестнице. Поднявшись всего ступеней десять, дядя присел на первой промежуточной площадке на креслецо и тяжело дышал. Я до этого еще не видал столь явственной печати смерти на чертах близкого человека, и вид этого перекошенного лица меня ужасно напугал и огорчил. Я бросился к нему, чтобы как-нибудь помочь, но он только замахал на меня рукой, указывая, чтобы я проходил мимо. Несомненно, он страдал не только физически, но и нравственно. Ему было «стыдно» внезапно почувствовать себя таким слабым и униженным — ведь в каждом недуге есть что-то унизительное, какая-то насмешка судьбы, и это особенно должны чувствовать люди с таким гордым характером, каким обладал Константин Альбертович. И как раз за несколько дней до этого случая (и тогда, когда еще ничто не предвещало роковой развязки) я видел дядю во сне до того печальным, до того бледным, что я даже заплакал. Сон сказался вещим.

То был первый припадок грудной жабы, заставший дядю на лестнице, но уже через две недели он повторился в более сильной степени. Всё же дядя продолжал себя вести как здоровый человек, бывал на службе и вечера проводил в клубе, куда он добирался в наемной карете (собственных лошадей он не держал). Однажды дяде сделалось дурно, когда он переступал порог дома и его пришлось нести наверх — те двадцать ступеней, что отделяли его квартиру от улицы. С этого момента он стал, так сказать, официально значиться болеющим, доктора его навещали по два раза в день, а он, облекшись в халат, медленно бродил по комнатам или отлеживался на диване в кабинете. Последний раз я видел дядю Костю живым, когда я явился с мамой его поздравить на Пасху[3]. Он сидел в кабинете в своем довольно

---

[3] В сущности поздравить дядю Костю со светлым Христовым Воскресеньем, было пожалуй лишним, т. к. он был человек

таки поношенном шлафроке, желтый, восковой, со впалыми щеками, с тусклым светом в глазах. Однако, на устах попрежнему играла его тонкая «вольтеровская усмешка». Как раз то была эпоха, когда я до безумия увлекался мейнингенскими спектаклями и даже мечтал поступить в герцогскую труппу, что, разумеется, не мало вредило моим занятиям в гимназии. Для начала и для того, чтобы больше походить на актера, я даже сбрил бороду и усы. Мамочку мое решение очень тревожило, но, верная своим принципам, она не считала себя в праве противодействовать тому, в чем, как я уверял ее, я видел свое призвание. Всё же она попросила брата каклибо меня урезонить. И вот, выслушав жалобу мамы, дядя Костя оживился, в глазах забегали искорки иронии и он залился своим молчаливым смехом. А затем он протянул мне свою иссохшую, холодную, как лед, левую руку и, обратясь к сестре, молвил: «Ne t'inquiète pas, Camille, cela va passer, ce n'est pas sérieux[4]. — Это просто забавная мальчишеская блажь». И что же, благодаря этим словам умирающего дяди, мою блажь (мое «призвание» было, действительно, блажью) как рукой сняло и, если мир, благодаря этому, лишился нового Гаррика, Росси или Сальвини, то я лично от этого остался только в выигрыше.

Эти слова дяди Кости особенно глубоко запали мне в душу, потому еще, что они оказались чем-то вроде предсмертного наставления. Через неделю его уже не стало. Я сидел за роялем и разбирал по нотам сцену в лесу «Спящей красавицы», которой я тогда до полной одури увлекался. И как раз я дошел до веселенького «танца маркиз», когда раздались один за другим несколько нервных звонков на парадной, за которыми сейчас же последовал тревожный стук в дверь, когда же дверь была отперта, то вбежала Оля в полном горестном исступлении, с глазами, наполненными ужасом и слезами. Она на ходу повторяла одну и ту же фразу: «Папе

неверующий. Это его «свободомыслие» выражалось между прочим и в том, что он никогда ничего не дарил племянникам на Рождество, зато всегда являлся с чем нибудь довольно роскошным на Новый Год.

[4] Не беспокойся, Камилла, это пройдет, это не серьезно.

дурно, папе дурно, нужно сейчас доктора, папа умирает». Тотчас же я помчался за одним из докторов, лечивших дядю, и с трудом его отыскал в женской палате для тяжело больных Обуховской больницы. Доктор сначала отказывался прерывать начатый обход, но я всё же убедил его, особенно настаивая на том состоянии, в котором находится дочь больного. Однако, прибытие привезенного мною врача оказалось лишним: он нашел уже бездыханный труп. То была третья из близко меня касавшихся утрат. Четвертой, о горе, была смерть мамы, последовавшая почти через год после смерти ее любимого брата.

Глава 22

ДЯДЯ МИША И ДРУГИЕ ДЯДИ КАВОС

В сущности я дядю Мишу оценил только с того момента, когда стал прислушиваться к спору старших во время семейных обедов. До этого времени брат мамы[1] (сын бабушки Ксении Ивановны), занимал меня исключительно тем, что он систематически на те же семейные обеды опаздывал и появлялся в дверях столовой тогда уже, когда все, закусив, сидели за супом. В этот именно момент, точно по расписанию, слышалась тяжелая поступь дяди, а через секунду он входил, с виноватым видом, окидывая глазами общество. Неизменно ему каждый раз за это опаздывание попадало от папы, для которого соблюдение обеденного часа было чем-то священным, на что дядя Миша, помня, что когда-то мой отец носил его на руках, не обижался, а покорно извинившись и наскоро закусив, садился на свое место. Но этот растерянно покорный тон скоро сменялся другим и очень «крепким». Это случалось, как только затрагивалась какая-либо злободневная тема. Иногда дядя Миша сам провоцировал спор, привезя из города, где он делал свои воскресные визиты, ту или иную сенсацию. Иногда сюжет «подавался» дядей Костей и на лету подхватывался его младшим братом.

Я уже говорил выше, какое впечатление произвел на меня спор по поводу национальных похорон Виктора

---

[1] Младший брат мамы Иван Альбертович Кавос жил почти безвыездно на Кавказе и видел я этого красивого, полного, беспечного и, кажется, не очень задачливого дядю Ваню, всего раза три в жизни. Умер он в сравнительно молодых годах около 1890 г., с его же вдовой я познакомился (в Белграде) только в 1930 году.

Гюго, но не менее горячие споры запомнились мне о картинах Репина, выставлявшихся на передвижных выставках. «Не ждали» в 1884 г. и «Убийство сына Иваном Грозным» в 1885 г. Особенно же как-то раз рассвирепел Михаил Альбертович, когда неугомонный забияка Зозо Россоловский, без всякого «решпекта», коснулся особы баронессы Варвары Ильинишны Икскуль. Баронесса была предметом рыцарского культа дяди; попросту говоря, он был в течение многих лет влюблен, совершенно безнадежно, в эту действительно пленительную чаровницу. Целыми днями он просиживал у нее, да и она питала, если и не какие-либо пламенные чувства к нему, то известную нежность, что особенно сказалось, когда он, уже болея грудной жабой, на довольно долгий срок нашел гостеприимное убежище в ее хоромах и когда она самоотверженно за ним ходила, пренебрегая даже своими светскими обязанностями. Но вот баронесса Икскуль, которую Репин увековечил в знаменитом портрете «Дамы в красном платье», (с лицом под черной вуалькой), была вообще притчей во языцех — и даже очень злых языцех — петербургского общества. Иные ее недолюбливали за ее слишком передовые взгляды, дамы же завидовали ее красоте, ее успехам. Всё это были сплетни, ни на чем не основанные, однако, одна из них, принесенная В. С. Россоловским, повергла однажды, за нашим патриархальным обедом, паладина баронессы, Михаила Кавос, в настоящую ярость. Зозо Россоловский, в сущности милый и сердечный человек, отличался вообще бестактностью и поминутно кому-нибудь наступал на мозоли, данная же гневная вспышка чуть не привела к дуэли; насилу моим родителям удалось успокоить Михаила Альбертовича, что же касается Зозо, то он охотно принес повинную, после чего не без некоторого журения был прощен.

Род настоящей дружбы между мной, семнадцатилетним юношей и моим пятидесятилетним дядей, завязался около этого времени — в 1887 г. До этого года нашему сближению уже способствовало увлечение театральными представлениями — Мейнингенцами и Вирджинией Цукки. Тогда дядя Миша увидал, что, едва замечаемый им за длинным семейным столом мальчик,

такой же ярый театрал и поклонник божественного искусства Мельпомены, Талии и Терпсихоры, каким он был сам. Но в 1887 г. и моя страсть к книгам получила особенную пламенность, я стал их забирать десятками у своего поставщика Эриксона, и вот разглядывание разных новинок повело к сближению. Когда я «открыл Бёклина», то мне доставило особую радость, что дядя Миша уже имел представление об этом художнике и даже был очень высокого о нем мнения. В течение нескольких лет, приблизительно до 1891 года, мы только и делали, что возбуждали друг друга восторгами от новых произведений «гениального Арнольда». Теперь дядя уже не спешил сразу после кофия покинуть семейное сборище, но забирался ко мне в «красную комнату» и тут, при тихом свете керосиновой лампы, шло изучение всяких новых увражей или только что прибывших последних номеров заграничных художественных журналов. Иногда к нам присоединялся Сережа Зарудный, изредка брат Леонтий, мой племянник Женяка Лансере и мои гимназические товарищи, приходившие по воскресеньям к вечернему чаю. Всем им очень импонировал мой высококультурный дядя...

Но из-за этих же моих товарищей начались и первые мои размолвки с дядей Мишей. Его раздражало наше молодое всезнайство, необузданное желание эти наши знания выказывать и навязывать другим. Особенно действовал ему на нервы Валечка Нувель — его апломб, его дурные манеры. Спорить с таким недорослем-гимназистом Михаилу Альбертовичу, приятелю знатнейших писателей и художников, казалось зазорным и он избрал для парирования Валечкиных наскоков особый насмешливый тон. Подчеркивая то, что в Валечке было еще мальчишески незрелого, дядя прозвал его «кресс-салатом», по аналогии с той своеобразной травкой, которая играла известную роль в петербургской гастрономии и выращивалась парниковым способом в крошечных корзиночках. Кресс-салат мог служить олицетворением комнатной скороспелой культуры. И вот пропасть между всей нашей группой и дядей Мишей стала постепенно расти; он как-то принялся остерегаться нас, его раздражало то, что такие молокососы «тоже что-то о себе

воображают». В разряд «кресс-салата» попали уже мы все, не исключая язвительного Димы Философова и присоединившегося к нам в ту пору Левушки Бакста.

Дошло и до ссор. Мне особенно памятна одна, когда мне захотелось поразить дядю Мишу только что полученным из-заграницы, изданием «Die deutschen Malerradierer», где, между прочим, были воспроизведены и три очень эффектных офорта Макса Клингера. Но дядя Миша не только не разделил моего восторга, но и жестоко раскритиковал эти офорты, а меня высмеял. Выражая свое презрение, он иронически переделал самое заглавие этого сборника из Malerradierer в Mal-radierer. Я так тогда обиделся, что наговорил любимому дяде разных дерзостей и даже объявил ему, что вычеркиваю его из списка своих знакомых. Ссора длилась недолго, но какой-то холодок в наших отношениях с тех пор появился. Свое недовольство мною дядя выразил между прочим в том, что прервал показывание мне своих коллекций, среди которых меня особенно прельщали литографии Гаварни и Домье. Оба художника были у него собраны в значительной полноте — возможно, что эти листы достались в наследство от его отца, от моего деда Альберта Кавос.

Одна из запомнившихся последних встреч с дядей Мишей произошла в 1894 или 1895 году, но на сей раз не в семейной обстановке, а в гостиной Мережковских. Это был первый мой визит, в компании с Валечкой Нувелем, уже знаменитым в те дни супругам — поэтам. Хоть мы и очень храбрились, однако, очутившись в таком ультра-передовом салоне, мы почувствовали себя порядком смущенными, тем более, что хозяйка дома избрала в обращении с нами слегка насмешливый тон. Помню и тот вопрос, с которым, усадив нас прямо на пол перед камином, она обратилась: «В каком же роде вы декаденствуете?» Но постепенно мы стали осваиваться, не без удачи отвечать на ее язвительные колкости, а уже через час разговор принял вполне свободный характер и как раз на тему о нашем неприятии всякого декаденствования. И вдруг хозяйка вскочила на обе ноги и побежала в соседнюю столовую, откуда послышались

ее визгливые возгласы: «Миша пришел, здравствуй Миша», после чего в гостиную вошел под руку с «Зиновеей Гиппиус»... почтенный мой дядюшка. Тут его близорукие глаза различили нас, греющихся перед камином «совсем как у себя дома», и едва ли это ему понравилось. Одно было под слегка пьяную руку выпить брудершафт с уже прославленной петербургской Сафо и позволять ей «грациозно забываться» в общении с ним, почтенным «общественным деятелем», а другое найти непредвиденными свидетелями такого ущерба собственному достоинству родного племянника, да еще в компании с раздражавшим его забиякой. С другой стороны, ему было пожалуй и лестно, что он предстал перед нами в виде «совершенно своего человека» в таком недоступном для профанов святилище.

Милый дядя Миша. Несмотря на свои иногда и очень язвительные замечания, он был само благодушие, а некоторое тщеславие его было очень безобидного характера. Мне думается даже, что именно из-за этих черт из него, при всём его уме и образованности, «ничего не вышло». Он вполне удовлетворялся небольшими малозначащими и тут же проходящими «салонными» успехами. Сознавая, что его остроумие создает ему известный ореол, он этим довольствовался и пренебрегал более существенными достижениями.

Служил он с давних времен в Петербургской земской управе. Место это было не видное и мало доходное, однако он всё же как-то гордился им. Он и выбрал такую общественную карьеру по убеждению, так как состояние на государственной службе противоречило бы его либеральным взглядам. Будучи человеком усердным и дотошным, он пользовался в Управе всеобщим уважением, но, разумеется, служба эта не могла ни в малейшей степени удовлетворять его, поклонника муз, в духовном смысле. Надо отметить еще ту странность, что этот, наиболее культурный член нашей семьи, сам никаким художеством не занимался. Зато несомненно, что я ему обязан многим, особенно тем, что в раннем возрасте встретил в близком родственном общении человека, который с абсолютным пиететом относился к искусству и обладал способностью разбираться в нем.

Дядя Миша скончался летом 1897 года в Петербурге, в то время, когда я, со своей маленькой семьей, жил заграницей, в Бретани. Его смерть потрясла меня не менее, нежели смерть дяди Кости. С его уходом завершилась очень важная страница не только моей личной молодости, но и молодости всего нашего кружка. Он умер в год, когда только назревал наш журнал «Мир искусства», но, увы, приходится сознаться, что, если бы он еще продолжал жить, он едва ли приветствовал бы выступление на общественной арене тех самых людей, которых он только что величал «кресс-салатом». В характерной полемике между нами и Репиным он наверно принял бы сторону последнего против нас. Прибавлю еще, что, если уже нам было горько увидать врага в лице Репина, художника, которого мы особенно чтили, то мне лично было бы особенно грустно оказаться в том лагере, против которого дядя Миша считал бы нужным ополчиться.

Для полноты семейной хроники необходимо еще рассказать о трех членах семьи Кавос, которые мне с братьями приходились двоюродными дядьями. То были сыновья брата моего дяди Ивана Катариновича, служившего в театральной дирекции в качестве хормейстера петербургской оперы. Мать этих трех братьев была немка (балетная танцовщица), а воспитание они получили в русской гимназии и тем не менее трудно было себе представить более типичных и живописных итальянцев, нежели эти Альберто, Камилло и Стефано Кавос. Все трое, при небольшом росте, обладали очень заметными горбатыми носами, голос же у всех трех имел своеобразно гортанное, характерно итальянское звучание; кроме того, все трое, при необычайной темпераментности, сопровождали свою речь обильными и выразительными жестами. Двое из них Камилло и Стефано могли приобрести этот итальянизм на самой родине своей семьи, так как оба они одно время служили в итальянской армии, а Стефано состарился даже в качестве итальян-

ского офицера и вернулся в Россию только по выходе в отставку. Но старший брат Альберт Иванович, как будто России не покидал вовсе, а между тем как раз он был из них всех наиболее выраженным итальянцем и не только по виду, но и по существу. В нем очень гармонично уживалась русская беспечность с итальянской dolce far niente, он был горазд на всякие шутовские выдумки, его неодолимо влекло к сцене (одно время он даже выступал в качестве актера любителя), а всем своим обликом он напоминал одного из персонажей comedia dell'arte не то пройдоху Труфальдино, не то задиру капитана, не то лукавого и всё же часто проводимого Панталоне.

Однако в смысле отношения к деньгам Альберт Иванович не был похож на последнего. Дядя Берта страдал крайней степенью расточительности и это между прочим сказывалось и в том, что он, будучи моим крестным отцом, задаривал меня всевозможными подарками. При этом Альберт Иванович уже тогда (т. е. в раннем моем детстве, приблизительно до семилетнего возраста), видимо задавался целью направить своего крестника на театральное поприще, так как большинство его даров заключалось в картонных коробках, в которых лежали декорации, кулисы и фигурки действующих лиц. Иные из этих детских театриков были довольно аляповатыми изделиями (это те, которые носили определенно российский характер вроде «Громобоя» или «Ивана Царевича»). Аляповатость эта отталкивала меня, воспитывала в то же время во мне отвращение от всего фальшиво-национального вообще. Другие же детские театрики, стоившие гораздо дороже, были заграничного производства и те были прелестны. При помощи их я устраивал спектакли на потеху моим маленьким друзьям и еще более на потеху самому себе. В каждой такой коробке лежала и брошюрка с текстом данной пьесы, по которой надлежало читать роли выступавших (висевших на проволоках и подпираемых деревяшками) персонажей, но я предпочитал этими либретто не пользоваться, а экспромтом сочинять свой собственный текст, испещренный патетическими междометиями.

Спасибо тебе, милый дядя-папа (так мне полагалось

называть своего крестного), за все доставленные мне когда-то радости. Но почему же впоследствии, Альберт Иванович, ты стал таким редким у нас гостем, а потом и вовсе исчез с нашего горизонта? Не потому ли, что обиделся на то, как была принята в нашем доме твоя молодая жена, в которую ты был страстно влюблен, но манеры которой заставляли желать многого и голос которой отличался невыносимой пронзительностью?

Не подошла к нашему «двору» и жена добродушного дяди Камилло, состоявшего политическим сотрудником «Нового времени». Но тут были причины особого рода. Камилло как-то отважился привести ее к маме на поклон и мама нашла эту мадам Кавос очень скромной, чуть ли не забитой, в сущности же симпатичной. Но можно ли забыть, что эта дама принадлежала до своего замужества к разряду милых, но падших созданий и что Камилло познакомился с ней не в какой-либо светской гостиной, а в месте весьма предосудительном? В романах иной раз можно прочесть, что такие случаи приводят к полной реабилитации, но в жизни это почти никогда не бывает и главной помехой служит то, что сами эти особы, вступив в среду, дотоле им недоступную, продолжают себя чувствовать в ней мучительно неловко.

Остроумнее своих братьев поступил младший брат Стефано — наш дядя Степа. Военное его прошлое в Италии было полно бурных романов и приключений. Будучи дерзким задирой, он не раз дрался на дуэли, за что попадал под арест и даже однажды удостоился сидеть в самом римском Кастель Сант Анджело. Вернулся он доживать свой век в Петербург вполне перебесившимся, а, добытая им жизненная философия, спасла его, несмотря на старания всех наших свах, от «совершения такого бессмысленного шага, как вступление в брак». С конца 1890 года дядя Степа делается непременным членом всех сборищ в семьях Кавос и Бенуа, придавая им своими марциальными манерами очень своеобразную пикантность. Своеобразно прелестен был и его говор, в котором было столько потешных итальянизмов. Я получал громадное удовольствие от одного слушания дяди

Степы, безотносительно к тому, о чем он, всегда с большим жаром, толковал. Поэтому я был сердечно огорчен, когда после двухлетнего отсутствия из Петербурга я узнал, что дяди Степы уже нет в живых.

Глава 23

МОЯ СОБСТВЕННАЯ ОСОБА

Теперь, когда я охарактеризовал ту среду и тех самых близких людей, среди которых я вырос, наступил пожалуй момент, когда я должен рассказать про «центральное действующее лицо» настоящего рассказа, т. е. про мою собственную особу. Однако, задача эта вовсе не легкая. Хоть я с самых ранних лет интересовался этой особой, изучал ее и в зеркале и в своих внутренних переживаниях, но придти к каким-либо определенным выводам мне тогда не удалось, да и впоследствии тоже. Теперь же, когда мне целых восемь десятков лет, оказывается, что задача стала эта еще менее мне под силу уже потому, что я успел, за истекшие годы, много раз меняться. Разумеется особенно справедливы эти слова в отношении внешности. Между кудрявым «очаровательным» ребенком, бегавшим по комнатам родительской квартиры и влезавшим всем на колени, и почтенным, седым и согбенным старцем, каким меня теперь рисует зеркало — даже я сам ничего не могу найти общего. Тут же, однако, прибавлю, что мое внутреннее самоощущение не находится в соответствии с этим объективным и бесспорным показателем. Внутри я себя чувствую совершенно иным и, если не тем младенцем и даже мальчиком или студентом — то всё же существом молодым, еще полным сил и стремлений, исканий — не побоимся слова — иллюзий! Этот «курьез» можно объяснить главным образом тем, что моя подруга жизни, физически и нравственно изменившаяся несравненно менее меня, не перестала относиться ко мне так же, как относи-

лась в своей ранней юности, и что, следовательно, в самом основном и главном нашего бытия мы остались как бы всё теми же[1].

Спешу прибавить, что при всем том я собой никогда особенно доволен не был. Не был я доволен даже тогда, когда, несомненно, был и мил и в разных отношениях приятен. Моя наружность никогда мне не нравилась, она не соответствовала моему идеалу. Я испытывал даже известное огорчение каждый раз, когда я свою физиономию и свою фигуру видел в зеркале. Настоящий же ужас меня охватывал, когда я в комбинации сопоставленных под углом зеркал (у портного, у парикмахера), вдруг видел профиль какого-то уж совсем чужого господина — и господина «мне мало симпатичного». Каких-либо мер, однако, для поправки того, чем меня наделила природа, я не предпринимал и лишь в детстве радовался своему «похорошению», когда надевал на голову какой-либо тюрбан, утыканную перьями повязку или картонный шлем. Позже, с целью хоть чуточку изменить свою наружность, я разгуливал в феске, привезенной братом из Алжира и едва ли не это способствовало тому, что я скорее, нежели полагается, стал терять волосы. О, какое щемящее чувство овладело мной — когда лет двадцати, причесываясь, я заметил в зеркале в своих темных волосах прогалины розовеющей кожи. Да, впрочем, и моя сутулость произошла едва ли не вследствие такой же ребяческой блажи, как ношение фески. Отчасти это произошло от того, что, как уже сказано выше, я вздумал подражать дяде Косте, но, кроме того, мне «нравилось», когда я в зеркале напоминал себе не то самого Ричарда III, не то Риголетто. Эти деформации представлялись мне более пикантными и интересными, нежели мой настоящий образ, казавшийся слишком обыденным и банальным...

Вероятно, вследствие всё того же неодобрения себя — я так и не приобрел способности хорошо одеваться. Но тут было и нечто семейное. Ни мой отец, ни моя мать не уделяли большого внимания своему туалету, да и брат

[1] Увы, обожаемая мною жена внезапно скончалась 30-го марта 1952 года.

Альбер, который во многом служил мне образцом, одевался неряшливо, а ближайший ко мне брат Михаил — «неумело». Совсем скромницами в своих одеяниях были и мои сестры. Напротив, брат Леонтий в штатском платье и Николай в военной форме умели придавать себе всю требуемую «декоративность», но как раз это мне не импонировало. Впрочем, был период в моей жизни, когда я захотел, под влиянием чтения всяких романов, сделаться элегантным дэнди, чуть ли не вторым Брюмелем. Эти старания продолжались даже целых два года, приблизительно с 1884 по 1886 г., и совпали с моими первыми «безумными» театральными увлечениями и с первыми собственными «серьезными» романами. Но именно тут моя бездарность в этой области и сказалась. Сваливаю вину на бездарность, а не на молодость и неопытность. Сколько моих сверстников я видел превосходно одетыми или первосходно умевшими носить одежду; ясно было, что они обладают талантом приобретать и хранить какую-либо «изящную видимость». У меня же это не выходило, и тогда я махнул на себя рукой и совершенно себя забросил. С тех пор и на всю жизнь у меня осталось какое-то абсолютное недоверие к себе в отношении своего костюма, а всякое посещение портного сочеталось с известной моральной пыткой, вследствие чего я откладывал заказ нового платья до последней крайности, а результатом чаще всего оставался недоволен.

Борода у меня стала пробиваться еще четырнадцати лет, а к 17-ти я уже был форменным бородачом и это старило меня удивительно. Но и с бородой и с прической я не знал, что делать. Брить ли бороду или нет? Брить ли ее целиком или оставлять короткие бачки (те бачки, которые так к лицу испанским тореадорам) или оставлять при бачках и подстриженные усы — как это я видел на молодом портрете дедушки Кавос? Пребывание в Париже (с 1896 по 1899 г.) вовсе не подвинуло меня в этом отношении и, в конце концов, я себя так запустил, что даже заслужил среди французских друзей прозвище «человека с первобытной бородой». Оглядываясь назад мне теперь кажется, что, быть может, это было не так плохо и что образ мой имел в себе нечто

даже любопытное. Представьте себе господина несомненно юного, но с густой запущенной бородой, из-за которой просвечивали ярко малиновые губы, с длинными на затылке волосами, выбивавшимися из-под цилиндра, — неизменного в те дни придатка каждого парижанина. Положительно, это было весьма пикантно. Но вот мне тогда казалось, что это безобразно и в то же время у меня нехватало ни воли, ни догадливости выйти из этого положения и принять вид «приличного» человека. Обидела меня природа....

Так обстояло, так и до сих пор обстоит дело с моим наружным обликом. Но почти так же обстоит дело и с обликом внутренним. Редкий человек не представляет из себя мешанины всяких противоречий, во мне же такая «пестрота» объясняется уже тем, что во мне столько разных кровей и что это моя пестрая основа еще раскрашена всевозможными колерами, значительная часть коих дала Россия. Поскоблите русского — и вы обнаружите татарина, — говорит поговорка, но если можно было бы поскоблить мое духовное «я», то обнаружилось бы не одно какое-либо племя, а целых три, причем особенности каждого вовсе с годами не сгладились и каждое до сих пор заявляет свое право на существование. Это касается «рассовых покровов» моей души, — но под ними имеется еще зерно, и мне вот кажется, что и оно не такое цельное и «элементарное», каким ему полагается быть... Были времена, когда такая путаница меня озадачивала и огорчала, но в общем я пронес этот свой духовный груз, не особенно заботясь о нем, если же то одна, то другая особенность вылезала вперед, то «моя регулирующая воля» не особенно реагировала против этого. Je laissais faire. Вернее, мне и не приходилось «laisser faire», так как это делалось само собой. Как-то всё утрясалось и возвращалось к довольно сносному равновесию.

Духовная мешанина не позволила мне решить и один из самых краеугольных вопросов своего бытия. Я так и не решил, кто я таков. Во Франции за меня решило «общественное мнение» — и решило оно с чисто французской прямолинейностью, вернее с чисто французской узо-

стью. Я зарегистрирован в качестве художника-декоратора русских балетов. Так меня представляют в обществе. Естественно, что с такой явной несправедливостью, продолжающейся уже столько лет, я примириться не могу. Однако что мне «поставить на визитную карточку» взамен того? Не помещать же на ней, как это делают иные безвкусные люди, список всяких своих профессий. Даже в узкой сфере театра, разве я не в гораздо большем смысле «постановщик» и то, что называют в кинематографе «animateur». Деятельность же моя отнюдь не ограничивалась театром. Я и художественный критик, я и журналист, я и «просто живописец», я и историк искусства... Если идти по линии тех разных дел, которые я возглавлял и коими заведывал, то я был и редактором двух весьма значительных художественных журналов, я был в течение трех лет и чем-то вроде «содиректора» Московского Художественного Театра, я был и полновластным постановщиком в Большом Драматическом театре в Петербурге, я был управляющим одним из самых значительных музеев в мире — Петербургским Эрмитажем и т. д. Всё это, правда, относится к царству, подвластному Фебу — Аполлону, но не могу же я на карточке поставить:

Александр Бенуа,
Служитель Аполлона.

Следовало бы просто ставить Александр Бенуа. Так я и делаю, но слава моя не достигла такой степени, чтобы подобная карточка, будучи подана в чужом доме или в казенном учреждении, могла бы производить впечатление — ну вроде того, которое производят такие имена или сочетания имен, как Мистэнгет или Морис Шевалье или Чарли Чаплин.

Выходит, что я в каком-то смысле «неудачник», а иные еще прибавят, что я и заслуживаю свою неудачу, что я за слишком многое брался и потому ни в чем не преуспел до конца. С этим можно поспорить. Дело в том, что я сам ни за чем не гнался и сам ни за что не брался, а всё складывалось так, что я был как бы принуждаем делать то одно, то другое. Иногда я брался за

что-либо потому, что мне надо было находить средства существования. И это «навязываемое дело» давало мне заработок. Но чаще я брался за те или иные задачи потому, что меня они соблазняли, что я усматривал в них случай — создать нечто такое, что и мне и другим доставит удовольствие. И я справлялся с возложенными на меня задачами в полной мере, я почти ни в чем за свою жизнь не отведал горечи неуспеха — и всё же каждый раз что-то мешало тому, чтобы на данном успехе успокоиться и извлечь из него исчерпывающую пользу. Я не успевал завершить одно дело, как меня уже захватывало другое, и это другое увлекало в новую область. Из ученого и театрала я становился творцом-художником, из театрального деятеля я превращался в музейного и т. д.

Сыграла тут роль и моя абсолютная непрактичность, мало того, прямая ненависть ко всякой практичности. Под этим же таилась весьма неразумная, но, увы, непреодолимая жажда свободы. Величайшая роскошь, которую только можно себе позволить — это, когда человек всегда поступает так, «как ему хочется». И вот я почти всегда поступал, «как мне хотелось», и поступал я так даже в тех случаях, когда «мне эта роскошь была совсем не по средствам», когда раздавался внутренний голос, пытавшийся урезонить меня во имя простого благоразумия, а то и долга перед семьей, перед обществом... Черта эта, если хотите, романтичная — но, о Господи, сколь неудобная.

Есть во мне еще одна черта, которая тоже повинна в моей «отностительной неудачливости». Каяться, так каяться — во мне нет ни капли честолюбия, зато я в не малой степени страдаю пороком тщеславия. Эта черта чуточку постыдная и люди предпочитают в ней не признаваться, однако сколько самых даже перворазрядных людей этим пороком обладали, скольким он испортил существование и просто погубил их. Суетное тщеславие имеет то свойство, что оно способно удовлетворить человека сразу. Упиваясь сладостью удовлетворенного тщеславия, человек забывает принять надлежащие меры, чтобы данный успех упрочить, подвести под него

фундамент, возвести вокруг него те укрепления, которые могли бы парализовать действие неизбежных враждебных сил. Эта форма удовлетворения суетного чувства становится еще опаснее, когда человек, которому выдался успех, не только ничего не предпринимает, чтобы успех упрочить, но из какой-то «гордости на выворот», сам старается преуменьшить значение его. Он надевает маску скромности, а иногда даже сам против себя «интригует». Эта черта у нас, к сожалению, семейная. Она была очень выражена у моего отца. Я не страдаю этим дефектом в такой же степени, но всё же я им страдаю, и выражение «самоуничижение паче гордости» — мне знакомо по собственному, и притом довольно горькому опыту.

Вот приблизительно таким я щеголяю на арене жизни. Если же теперь обратиться к моей духовной особе — в ее интимных проявлениях, то тут получится нечто пестрое. Удивительно еще, что при этом не получилось уродливой какофонии. Напротив, духовная моя пестрота сочетается в нечто даже гармоничное и приятное — так по крайней мере говорят близкие люди, друзья и широкий круг знакомых. В одном я могу поручиться — я не злой человек и даже, от природы, я очень благожелательный человек. Во мне сильнее многих других чувств говорит известный альтруизм, выражающийся главным образом — в желании доставить моему ближнему радость. На этом построена вся моя художественная деятельность и всё то, что в ней есть неизбежно жертвенного. Но в то же время я никак не могу себя назвать в полном смысле добрым человеком и уже во всяком случае — добродетельным. Последовать зову Христа или Франциска Ассизского, «продать всё и роздать бедным» я не в состоянии. Я не в состоянии себя настолько обездолить и тем менее расстаться с тем, что необходимо для моего духовного равновесия. Моментами я очень жалею, что я не богат и никогда им не был. Мне кажется, что тогда я бы находил особую радость в том, чтобы творить всякие благодеяния направо и налево — однако, спрашивается, хватило ли бы у меня выдержки для таких операций, хватило ли бы толковости? Скорее всего с богатством я просто не сумел бы справиться. А, в

концe концов, мне нравится, что я не обладаю какой-либо обеспеченностью, благодаря чему я как-то и безответственен, мне это состояние гарантирует ту свободу, которую я почитаю за необходимую мне роскошь.

Помянутая только что черта «благожелательности» находится в связи с другой, которая иным представляется какими-то моими «педагогическими способностями». Это верно, что я оказал не малое влияние на развитие, на образование моих друзей и в частности — на того, кто приобрел мировую известность — на Дягилева. Но под этим не было и тени какого-то планомерного воздействия и тем менее чего-то педантичного. Просто, исполняясь восторгом от того или другого, «проявления человеческого гения» и не будучи в силах нести один этот восторг, я бывал вынужден делиться им, мало того, навязывать его другим. Я навязывал свой восторг «для их же пользы» — для того, чтобы и они порадовались так, как я радуюсь. При этом сила восторга во мне всегда такова, что я не терпел возражений и доходил в своем навязывании даже до насилия. Не имея никакого плана, я однако «интриговал» бессознательно и «интуитивно», прибегая к некоторой системе для того, чтобы завербовать кого-либо (к кому я чувствовал влечение) в свой лагерь. Но разумеется, мои эти «интригантские» приемы были не только чисты от какого-либо расчета материального порядка, но они не знали и велений честолюбия. Мне совсем не интересно было «вставать во главе какого-либо движения», какой-либо группы лиц и даже это отсутствие во мне честолюбивых замыслов приводило к тому, что даже там, где я бывал официально «начальником» по своему положению, я старался стать со своими подчиненными на товарищескую ногу, что, разумеется, не всегда способствовало моему авторитету. Эта страсть «заражать других», этот прозелитизм не имел опять-таки в себе чего-либо «общественного». Напротив, мое отвращение к тому, чтобы входить в контакт с толпой, было всегда непреодолимым. Оно и мешало мне выступать на общественном поприще. Ненависть эта, однако, не зиждется на каком-либо «презрении к толпе» — чувство, мне абсолютно неизвестное,

страх же толпы носит у меня скорее патологический характер. Это еще один из моих неизлечимых и весьма «невыгодных» пороков.

Что же касается моего отношения к искусству, то надо различать два момента, я в одно и то же время «любитель искусства» (и знаток его), я и творец — художник. Иначе говоря, я являюсь и получающим и дающим субъектом.

Мой интерес к художественным произведениям, естественно приведший меня и к «знаточеству» стал проявляться с очень ранних лет. Скажут, что рожденный и воспитанный в художественной семье, я просто не мог избегнуть такой «семейной заразы», что я не мог не интересоваться искусством — раз вокруг меня было столько людей, начиная с моего отца, кто знали в нем толк и обладали художественными талантами. Однако, среда средой (не мне отрицать ее значение), но всё же, несомненно, во мне было заложено нечто, чего не было в других, в той же среде воспитывавшихся, и это заставляло меня по-иному и с большей интенсивностью впитывать в себя всякие впечатления. В старину это называлось «священным огнем», «благодатью Аполлона», теперь эти выражения кажутся смешными, но мне они представляются не пустой реторикой, а сущей простой правдой. Бывают натуры почему-то более отзывчивые, более горящие, нежели другие. Что касается меня, то горение во мне было (и продолжает быть) такой силы, что оно даже доставляло мне страдание — страдание, связанное с величайшей радостью и тем самым имеющее в себе нечто родственное с наслаждениями любовными... При этом я вовсе не хочу сказать, чтобы это горение было всегда вызываемо предметами, заслуживающими поклонения. Да и не в том дело, чтобы иметь какой-то «абсолютный вкус», не в том, чтобы разобраться так, как разбирается какой-либо ученнейший профессор эстетики. Вкус вырабатывается постепенно, к тому же я и сейчас затруднился бы назвать те объективные признаки, согласно которым можно одно почитать вполне за соответствующее хорошему вкусу, а другое нет. Испошленная поговорка «о вкусах не спорят» — в основе

своей права. Важно, чтобы этот личный субъективный «совершенно беспринципный» вкус вообще был, чтобы человека к чему-то непреодолимо влекло и чтобы он обладал способностью радоваться тому, к чему этот вкус его приводит. Такое наличие «дара вкуса» я в себе и констатировал во все времена. В детстве, естественно, эти влечения не были мной осознаваемы, но это вовсе не лишало их силы. Я живо помню, как мальчуганом четырех лет мной овладевал своего рода транс перед той или другой картиной или перед каким-либо музыкальным произведением, и я помню, в какую ярость я впадал, когда мне в этом перечили или, что еще хуже, позволяли себе над тем, что мной «отмечено», смеяться. Бывали случаи, когда я почти заболевал от какой-то обиды за что-либо, давшее мне радость — причем в нашем доме такие проявления «неврастенического порядка» отнюдь не были чем-то принятым и привычным. Ведь отец мой, при всей художественности своей натуры, был человек вполне уравновешенный, а уже о матери моей и говорить нечего. И вот как раз мамочкино равнодушие в отношении к чему-либо, мне особенно понравившемуся, вызывало во мне род бешенства. Природная чуткость подсказывала ей как поступать, как меня успокоить, и эти приступы «священного гнева» против нее кончались моим раскаянием — отнюдь, однако, не сопровождавшимся какой-либо «сдачей позиций» по существу.

Но вот в этом горении не было никакой системы. Будучи «одарен вкусом» ко всевозможным и очень разнообразным явлениям, я и загорался от соприкосновения с ними в одинаковой степени. Это затрудняет меня ответить даже на вопрос — к чему именно у меня было определенное призвание творческого порядка... «Случилось» на самом деле так, что я избрал своей основной карьерой живопись, и живопись привела меня к театру, но иногда мне кажется, что могло совершенно так же «случиться», что основной карьерой я бы выбрал музыку, архитектуру или актерство, причем весьма вероятно, что каждая из этих профессий меня также привела бы к театру Выходит, что мое настоящее призвание есть театр...

В качестве курьеза я здесь должен сказать, что, при множественности вкусов, влечений и связанных с ними талантов, я всё же страдаю и отсутствием некоторых из них. Так я абсолютно бездарен к скульптуре и стихотворству. В сознании этого я даже никогда не пробовал свои силы в этих областях. Да и к музыке у меня проявляется своеобразная бездарность или что-то вроде «частичного паралича». Музыка является как бы основной стихией всего моего отношения к искусству и особенно к театру; музыка способна вызывать во мне наиболее сильные эмоции и потрясения, а в моей театральной деятельности именно музыка порождала наиболее счастливые идеи и как бы поддерживала меня в творческом процессе. И наоборот там, где я должен был обходиться без музыки (например, в постановке драматических произведений), я лишался какой-то очень верной опоры. Я и творчески не бездарен в музыке. Если мои импровизации и уступают блестящим импровизациям моего брата Альбера, то всё же и они бывают удачными и «чуть ли не вдохновенными». При всем том, и, несмотря на бесчисленные уроки музыки (фортепианной игры), я так и не выучился самым элементарным правилам, без которых нельзя серьезно посвящать себя музыкальному творчеству. Так например, я очень плохо читаю по нотам, в особенности то, что касается ритма и такта — причем страннее всего то, что в своих «импровизациях» я без труда и без явных ошибок этих правил придерживаюсь. Возможно, что повинна в такой аномалии — неправильная (или мне лично не подходившая) система преподавания, но возможно, что это своего рода органический дефект, повторяю, нечто вроде частичного паралича.

Такой дефект сказывался и на моем отношении к стиху. И здесь можно отметить некоторые курьезы, которые представляю на обсуждение специалистам по художественной психологии. Первый курьез — это моя неспособность что-либо понимать словесное во время того, что слышится музыка. Мне даже доставляет настоящее мучение то усилие, которое я делаю, чтобы схватить смысл спетых мною слов. И одновременно я совершенно лишаюсь слова, когда слух мой занят музы-

кальными звуками — будь то даже гаммы и арпеджио. Я их начинаю слушать, я принужден их слушать и при этом теряю контроль над собственными мыслями. Нечто аналогичное происходит во мне и при слушании стихов. Ритм их начинает меня баюкать, как бы усыплять мое внимание, и настолько, что я перестаю (в данном случае) понимать смысл слов. Разумеется, мне удается и преодолевать эту свою парализованность; мало того, когда я слушаю какую-либо, уже хорошо мне известную оперную арию или романс — одновременное воздействие музыки и слов, этих двух элементов, помогает мне и понимать и наслаждаться, однако именно то, что предварительно я нуждаюсь в каком-то усвоении отдельно того и другого, показывает, что где-то в моем «воспринимательном» аппарате имеется дефект — своего рода «мешающая перегородка»... Не присутствие ли этой именно «перегородки» повлекло меня к балету, к искусству немому, выявляющемуся не в «чуждых» музыке словах, а в естественно рожденных музыкой движениях тела и лица? Упоение, испытываемое мной при «глядо-слушании» какой-либо сцены «Коппелии», «Спящей Красавицы», «Щелкунчика» или «Петрушки», не может идти в сравнение ни с чем. Вот, когда я испытываю поистине божественные эмоции. В глубине души я даже уверен, что, если «Кольцо Нибелунгов» было бы лирико-мимодрамой, то оно бы действовало еще сильнее, нежели оно действует сейчас, что, впрочем, не значит, чтобы я не испытывал при слушании «оперной версии» этого бесподобного произведения величайшее наслаждение.

Что еще сказать о характере моей особы? При изложении фактов моей жизни — этот характер неминуемо будет сам собой выявляться в большей или меньшей степени, но здесь не бесполезно, хотя бы для себя самого «в качестве упражнения на тему всё того же познай самого себя» выделить те черты характера, с которыми я родился и которые, если с годами и притупились, то всё же остались во мне и по сей день. Однако я теряюсь, куда отнести эти приметы — к «характеру» или к «темпераменту»? Одной такой чертой является во всяком случае — вспыльчивость. Она и по сей день внутри

меня — совсем такая же, какою она была в раннем детстве, когда я в минуту овладевавшего мною бешенства ломал игрушки, рвал на себе одежды и колотил няньку. В столь же бурных и «эффектных» выражениях эта черта ныне, разумеется, больше не проявляется, но не проявляется она единственно... из какого-то чувства самосохранения, однако это вовсе не потому, что я боюсь, как бы не наделать непоправимых бед, а потому, что я боюсь, как бы не совершить какую-либо глупость, не сотворить поступка совершенно несоответствующего моему же отношению к данному случаю... Сколько раз в былое время я успевал что-либо «выпалить» несуразное и смертельно обидное, прежде чем я вообще что-либо мог сообразить. Мной в буквальном смысле слова овладевает нечто вроде «вдохновения», род гневного экстаза, в котором уже не остается и тени самокритики. Лишь накопившиеся за долгую жизнь раскаяния за такие «ужасно недостойные», в аффекте произнесенные речи привели, наконец, к тому, что сейчас потребовалось бы уже нечто совсем чрезвычайное и при совершенно исключительных обстоятельствах, чтобы я опять дал волю своему «гневному экстазу».

Другая характерная черта сказывается в моем отношении к работе. Здесь я еще более «во власти вдохновения». Пока это вдохновение владеет мной, до тех пор я работаю удачно, идеи роями кружатся в голове, просятся наружу. Я буквально не успеваю их фиксировать, а те, которые я успеваю, те меня самого иногда удивляют своей «неожиданной удачливостью». Увы, так же неожиданно, как является вдохновение, оно без предупреждения и исчезает. Когда я меньше знал себя и не был научен опытом, то часто пробовал реагировать против этих «капризов своей музы», я упорствовал в разработке того, к чему почувствовал охлаждение. Но тогда я неминуемо портил то, что делал, а за порчей следовало отчаяние, желание всё бросить и скрыть свой стыд перед другими и перед самим собой. Припадки такого бессилия не раз приводили меня к тому даже, что я бросал и запускал на месяцы, а то и годы начатую работу. Но со временем я понял, что эти «размолвки с музой» — нечто весьма безрассудное и у меня постепен-

но выработалось подобие «творческой системы», которой я строго придерживаюсь. С одной стороны, я слежу за соблюдением правила nulla dies sine liena и изо дня в день, как всякий другой профессионал, не ожидая вдохновения, я совершаю известный pensum исполняя только такие работы, которые, будучи необходимыми в общей экономике творчества, всё же не требуют особенного возбуждения. Когда же наступает момент «призыва к священной лире», — то я отдаюсь этому велению всецело и тогда мне выдается счастье совершать своего рода «подвиги» — в какие-нибудь два три часа мне удается сделать то, на что нормально потребовались бы недели... И мне это, действительно, удается, т. е. то, что я делаю в такие минуты, мне самому нравится.

Мне не хотелось бы, чтобы эти последние черты моего «автопортрета» были бы приняты за «безвкусное хвастание». Потребность в хвастаньи во мне с годами исчезла совершенно так же, как потребность в лганье (а каким я был лгуном в детстве и в отрочестве, и талантливым лгуном!). Если же я только что упомянул слово «удача», то это отнюдь не в объективном, а исключительно в субъективном смысле. Для данного вопроса (о моем темпераменте и о том как он сказывался на моей работе) вовсе не важно, действительно ли хорошо, мною рождаемое. Во всяком случае, в своем творчестве я лишен холодного расчета; я всегда нуждаюсь в некоем горении. Вот почему нельзя от меня требовать какой-либо выдержанности. В свою очередь эта же черта располагает ко всему тому, в чем с особой яркостью сказывается «искра Божия». Я в некотором смысле даже «эксперт» именно в этой области. Я отличаю, где светится подлинная искра, а где только ее отблеск или даже просто подделка под нее. За наличие подлинной искры я готов многое простить, но в то же время я исполняюсь безграничного благоговения перед теми явлениями в искусстве, в которых эта искра разгорается в целый костер, особенно к таким явлениям, в которых такой пожар приобретает характер чего-то стройного, в которых стихийное начало вдохновения сочетается с направляющей и сдерживающей волей. Воля бывает подчас чем-то и губительным в искусстве, она приводит к нарочитости,

но мы знаем и такие гениальные натуры, в которых воля и к тому же воля разумная, воля в дивной гармонии сочетается с бурей стихийности. Мы этих избранников потому и называем гениями, потому мы перед ними и поклоняемся, как перед божествами. Их творчество есть сплошное чудо чудесное и какая-то подлинная благодать Аполлона. Увы! Таких чудес мне не дано было совершить. Да и мало кому, в нашу эпоху, это было дано.

Теперь два слова о характере моего творения, преимущественно живописного. Характер, впрочем, я прошу не смешивать с направлением. Что касается до направления, то таковое просто во мне отсутствует. Я природный враг направления, т. е. чего-то предвзятого, что подчиняет свободу творческого излияния. Эта то моя враждебность выразилась и в том, что и журнал нашей группы «Мир искусства» был лишен какого-либо направления; он даже выступал в качестве борца против всякого направленчества. Мы повели борьбу против всего того, что в русском художестве отражало идейные принципы предыдущего поколения. Для этого же поколения принцип свободного творчества не существовал. Целью искусства для него было общественное служение, способствующее проведению в жизнь известных полезных для общества идей. Моим главным опонентом в данном вопросе был мой друг Дмитрий Философов, но моя твердая «беспринципность» одержала верх над его слишком туманной тенденциозностью... Отсутствие определенной идейности перешло затем и в наше театральное дело — в частности им отличались и наши Ballets Russes.

Возвращаясь еще к характеру моего творчества, я должен отметить определенное влечение к тому, что принято называть реализмом. Мои любимые художники в прошлом и в настоящем — фантасты, — но только те фантасты среди них действительно мои любимцы, которым удается быть убедительными, а убедительность достигается посредством какого-то «стояния на земле и глубокого усвоения действительности». Можно сказать, что в этом мои коренные симпатии гармонируют с эволюцией вообще всего европейского искусства, которое

происходило под знаком именно «усвоения действительности». Скульптура готики, ван Дейк, Фуке, Боттичелли, Беллини, Рафаэль, Тициан, Брейгель, Рубенс, Рембрандт и еще сколько самых чудесных мастеров — это всё великие знатоки жизни, это художники, творившие произведения ирреальные и фантастические по существу, однако убедительность коих покоится ни на чем ином, как на бесподобном знании видимости — на «реализме». Напротив, мне чужда живопись отвлеченная и меня не удовлетворяют те художники, произведения которых выдают небрежное и нелепое отношение их творцов к природе, а то просто игнорирование ее. Я вовсе не хочу этим сказать, чтобы и среди такого художественного творчества не было ценных явлений, но пламенность моей симпатии к мастерам, знавшим толк в действительности, бесконечно превосходит то «холодное внимание», которое я уделяю мастерам действительность игнорировавшим...

Одной из особенностей моего личного творчества является определенное тяготение к прошлому. К такому тяготению приложено некрасивое слово «пассеизм» и для удобства терминологии пусть оно за ним и останется. Во мне «пассеизм» начал сказываться, как нечто совершенно естественное еще в раннем детстве и он остался на протяжении моей жизни «тем языком, на котором мне легче, удобнее изъясняться». Своим пассеизмом я заразил и моих лучших друзей — Сомова, Бакста, Добужинского и даже Дягилева. Сильный «пассеистский» привкус был присущ, исключительно благодаря моему влиянию, «Миру искусства» и тот же «пассеистский» привкус был присущ и постановкам всей нашей группы — особенно же моим собственным постановкам. Откуда взялся этот «пассеизм», это страстное желание вернуть к жизни прошлое, «воскресить» его, я не знаю, но возможно, что тут сказалось то, что в своем престарелом отце я имел «живое прошлое». В его рассказах, в его рисунках воскресал не «сегодняшний» день — а времена его далекой молодости и детства. Я и XVIII век мог считать своим уже потому, что мне через моего деда, родившегося еще в дни Людовика XV, Фридриха II и Екатерины II, было «как рукой подать» до той эпохи. Многое в прошлом

представляется мне хорошо и давно знакомым, пожалуй, даже более знакомым, нежели настоящее. Нарисовать, не прибегая к документам, какого-нибудь современника Людовика XV, мне легче, мне проще, нежели нарисовать, не прибегая к натуре, моего собственного современника. У меня и отношение к прошлому более нежное, более любовное, нежели к настоящему. Я лучше понимаю тогдашние мысли, тогдашние идеалы, мечты, страсти и самые даже гримасы и причуды, нежели я понимаю всё это в «плане современности»... Из выдумок Уэльса мне особенно соблазнительной показалась «машина времени», но, разумеется, я на ней не отправился бы вперед, в будущее, а легонечко постепенными переездами и с долгими остановками по дороге, посетил бы такие эпохи, которые мне наиболее по душе и кажутся особенно близкими. Вероятно я в одной из этих станций и застрял бы навеки. Но очень далеко я бы при этом не забирался.

Резюмируя всё сказанное, я ничем похвастать не могу. Если же всё-таки я решаюсь поднести всё то, что стоит на дальнейших страницах этой книги, то это не из какого-то самомнения, а из-за того, что память моя содержит слишком много таких вещей, которые мне кажутся достойными передачи потомству... Я был свидетелем последних лет необычайно пленительной (несправедливо и бессмысленно охаянной и оклеветанной) культуры, и я имел случай наблюдать ее с разных точек зрения, пребывая в разнообразных слоях общества... Это и позволяет мне надеяться, что мой труд представляет известный общий интерес. Если в памятнике, который я таким образом дерзаю сооружать собственными руками данному «отрезку истории», — слишком много (и даже поминутно) говорится обо мне самом, то это объясняется и оправдывается уже тем, что я и сам был «творческим участником» в данной культуре. Кроме того я, большой любитель до воспоминаний (когда они

правдивы и подлинны) и нахожу, что именно личные мемуары наиболее убедительно и ярко отражают описываемое время. В том же, что я буду по мере моих сил честно правдив (не всегда удается отделить Dichtung от Wahrheit) и по возможности точен — я здесь даю читателю клятвенное обещание.

Глава 24

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Невозможно продолжить мой рассказ, не описав ту обстановку, в которой протекло, в составе общей жизни нашей семьи, мое детство, отрочество и юность. Я говорю о нашей городской родительской квартире. Родители мои въехали в нее сразу после своей свадьбы в 1848 г. и в ней же и папа и мама прожили до самой смерти.

Квартира эта осталась в моей памяти, как нечто целое и продолжающее существовать в своей целостности, тогда как уже более века она не существует и перестала быть «нашей». Впрочем, и в те времена, когда она была нашей, она вовсе не во всех своих частях оставалась неизменной. Несколько раз комнаты меняли свое назначение. Так «моей» комнатой становилась то одна из комнат, выходивших во двор, то ее смежная; переезжали и мои родители, уступая свои покои внукам. Это бывало, когда кто-либо в семьях моих сестер заболевал заразной болезнью и все здоровые дети с матерями и няньками перебирались к дедушке и к бабушке. Столовая тогда переносилась в кабинет, кабинет в чертежную и т. д. Но всегда неизменно оставались передняя и «зала»; лишь на время танцовальных вечеров, «балов» последняя — меняла свой характер гостиной — середина освобождалась от мебели, специально сгруппированной для приема визитов, а род гостиной тогда устраивался в соседней «Зеленой», служившей вообще разнообразным назначениям.

То обстоятельство, что «дом Бенуа» был нашим «родительским» домом в полном смысле слова, сыграло

значительную роль во всем моем начальном мировосприятии, — приблизительно такую же роль, какую играют для других людей родовые усадьбы или замки. В смысле своего кубического содержания дом Бенуа, помещавшийся по Никольской улице (впоследствии переименованной в улицу Глинки) под номером 15 — мог, во всяком случае, вполне сравниться со средней величины замком, а так как в известный момент значительная часть его четырех этажей была занята разными членами семьи нашей, то в целом и составило род семейной твердыни или патриархального клана. Для психологии мальчика, имевшего в своем распоряжении совершенно необычайное количество комнат, имевшего на правах близкого родного, доступ повсюду и во всякое время, считавшего и самые лестницы, соединявшие разные этажи — за части своего обиталища — всё это расширяло и разнообразило «ощущение своего». Оно воспитало и какое-то чувство защищенности в отношении всего окружающего — здесь, мол, я настоящий хозяин и никто меня тронуть не может. Наконец, будучи домом старым, уже обретавшим в своих стенах моих прародителей, он был напитан атмосферой традиционности и представлял собой какую-то «верность во времени». Не я и не «мы» только находили в этой «крепости» свое убежище, но здесь уже жили и папа с мамой и дедушка с бабушкой. Почти сто лет назад владели они все этим домом — срок для мальчика огромный — в особенности в городе Петербурге с его всего двухсотлетним прошлым.

Купил дом мой дед наполовину построенным еще в дни царствования Павла I, кажется, в 1799 году. В начале «дом Бенуа» был всего в три этажа (по русскому счету), но в архитектурном смысле он был тогда гораздо красивее, нежели каким он стал потом: он даже был настолько красив со своими группами тройных окон под полукруглыми арками, что его можно было приписать самому Гваренги. К сожалению, папа, которому дом достался в наследство, пожелав увеличить его доходность, надстроил еще один этаж и это обезличило фасад, ибо хотя тройные окна и остались, но как раз типичными полукружиями над ними пришлось пожертвовать. Зато сохранились в целости прелестные маски над окнами

нижнего этажа[1] и нетронутой осталась и характерная парадная лестница.

Эта парадная лестница начиналась внизу с прямого, ведшего вглубь, коридора, под, убранным сочными розетками, сводом, а затем сворачивала влево и опять подымалась широкими всходами между массивными столбами; на каждом повороте открывалась своеобразная перспектива. Всё это носило тяжелый и несколько мрачный характер, но и усиливало одновременное впечатление чего-то крепкого и надежного, почти крепостного. Я был убежден, что фамильные тени продолжают бродить именно по этой оставшейся нетронутой лестнице и должны были встречаться с нами, с их живыми потомками. При луне или тусклом сумраке белых ночей, да и освещаемая отблеском единственного фонаря, продолжавшего гореть на дворе всю ночь, — наша парадная превращалась в настоящую «декорацию для драмы», хоть никаких драм и трагедий в нашем доме за все мне известные периоды, слава Богу, не произошло.

По простоте тогдашних нравов, как уже упомянуто, наша «парадная» не отапливалась и в ней не было швейцара. Лишь дежурный дворник, завернувшись в свою шубу, дремал ночью снаружи в любой холод у входных дверей. До полуночи лестница освещалась газом, рожки которого были заключены в большие стенные фонари, сохранившиеся от времен, когда она освещалась масляными лампами. На ночь эти фонари тушились. Дверь нашей квартиры была со стороны лестницы обита для тепла черной клеенкой, а прибитая на ней гладкая медная дощечка курсивными буквами гласила, что здесь проживает «Николай Леонтьевич Бенуа, архитектор». Звонок был старомодный — надлежало дернуть за рукоять в медной чашечке, чтобы он зазвонил, но звонил он и в передней и в конце длиннейшего коридора у двери в кухню. Замок на входной двери был особый, довольно замечательной конструкции. Изнутри

[1] Маски эти приписывались скульптору Прокофьеву. Их было два типа. Одна изображала страшную, похожую на Горгону «рожу» с разинутым ртом, другая очень миловидную, улыбающуюся особу с курьезно повязанной над головой прической. Чередование выражений ужаса и веселья тоже сыграли свою роль в моей детской психологии.

он открывался поднятием железной подковы, снаружи же можно было его открыть только посредством особого ключа, состоящего из стальной палочки, конец которой, будучи введен в круглое отверстие замка, перегибался (спадал) и таким образом достигал конца помянутой подковы; подкова от нажима поднималась и дверь была открытой... Когда я получил (лет 15-ти) разрешение возвращаться домой ночью в такие часы, когда уже все спали, то, чтобы не будить прислугу, мне разрешалось брать этот «фамильный ключ», и мне до сих пор памятно ощущение холодного, гладкого, перегибающегося стержня, который я нащупывал в кармане пальто. Отчетливо запомнился и звук открываемой им двери — звук, означавший днем возвращение папы со службы. Характерно для моего отца, что он старался никого и никогда не беспокоить. Войдя к себе без звонка, он сам стаскивал и вешал свою тяжелую шубу; без посторонней помощи снимал он и старомодные деревянные калоши, что не всегда сразу удавалось.

Любил ли я нашу квартиру, нравилась ли она мне? На такие вопросы трудно ответить. Многое мне в ней даже определенно не нравилось — особенно после того, как движимый своей отцовской нежностью папа вперемежку с хорошими картинами и гравюрами стал вешать на стенах подношения своих детей и внуков; кто-то из них изуродовал росписью и абажур висячей над его рабочим столом лампы, в зале был поставлен громоздкий, для гимнастических упражнений, турникет, а Коля Лансере тут же держал свой велосипед. Возмущен я был и проникновением в парадные комнаты банальных «венских» стульев гнутого дерева. Впрочем, я и в исконней обстановке многое критиковал, многое (и не без основания) мне казалось «мещанским», уродливым и нелепым. Родители мои с годами всё меньше и меньше обращали внимания на декоративную сторону жизни, еще меньше на нее обращала внимания поселившаяся в 1886 году у нас сестра Катя, а то, что пришлось в квартире разместить ее шестерых детей и бонну, произвело то, что несколько комнат получили (несмотря на соблюдавшуюся опрятность) сходство с цыганским табором. Я же мечтал о великолепных апартаментах дворцового

характера или хотя бы о том изяществе, которое я видел у бабушки Кавос, у дяди Сезара, у дяди Кости или у моего «богатого» брата Леонтия.

Да и не вполне уютно было у нас в квартире. Начать с того, что амфилада комнат, выходившая на улицу, лишь утром освещалась солнцем, да и то как-то сбоку, в остальное же время дня ее затемнял фасад дома Петербургского губернатора. Когда же солнце после полудня ударяло в этот фасад, то наша квартира наполнялась рефлексами, которые сообщали ей какую-то специфическую меланхоличность, и это приобретало даже щемящий характер, как раз в яркие радостные весенние дни. Кроме того, подоконники в парадной половине были заставлены так называемыми «цветами», т. е. вечно зелеными тропическими растениями, отнимавшими значительную часть света.

Я не стану делать подробного инвентаря нашей квартиры, хотя и помню ее в мельчайших подробностях и хотя я был бы так счастлив познакомиться с подобным инвентарем, касающимся обиталища кого бы то ни было из близких моему сердцу художников прошлого. Не решаюсь же я это сделать из опасения, как бы такое описание не выросло в целый трактат.

Но вот спрашивается, была ли обстановка родительской квартиры характерна для нашей среды, для профессии отца и отвечала ли она вполне домашним традициям. На эти вопросы я только отвечу: наша обстановка во всяком случае не была выдержанной, а представляла собой смесь разных типов обстановок. Передняя была, как всякая передняя в «хорошем доме» — с обязательными громоздкими вешалками, с длинным ампирным зеркалом над подзеркальником красного дерева. Особенностью нашей передней было лишь то, что для сидения служил большой деревянный ларь светлого дерева с волютами на боках, и что спинкой этому ларю служила дверка, закрывавшая специальный шкаф, занимавший всю толщину стены и хранивший особенно ценные вина. Необходимой принадлежностью во всякой передней в то время был и большой красного дерева барометр. Наш был конца XVIII века; он хронически бездействовал или врал.

Из передней дверь вела в длинную и глубокую «залу», выходившую окнами на Никольскую улицу. Простенок между окнами был занят зеркалом во всю высоту стены, но оно было перегорожено подстольем, на котором красовались бронзовые золоченые часы и канделябры с пышными, круглыми амурами. Намекая на принадлежность к художеству нашей семьи, один из этих «putti» держал циркуль, другой палитру, а у ног их валялись бюст, фолиант и тому подобное. Из-за того, что подстолье перегораживало зеркало, я мог любоваться своим отражением в нем (во время танцев) лишь до пятилетнего возраста, когда вся моя фигура целиком умещалась в нижнем отделении; но затем моя голова стала всё более и более обрубаться сверху и в конце концов я уже плясал в зеркале обезглавленным. Ничто так ясно не показывало мне, что я росту...

В зале надлежало быть фортепиано (слово рояль привилось позже), стенным бра, люстре и той группе мебели, которая служила специально для визитов. Фортепиано у нас было, но это не был ни Бехштейн, ни Блютнер, ни даже Шредер или Бекер, а это был почтеннейший длинный (палисандровый, а не черный) Гентш, что и было начертано курсивной надписью, инкрустированной над клавиатурой. Каждый новый настройщик при виде этой надписи говорил одно и тоже (чаще по-немецки, ибо все настройщики были немцами); «Ах у вас Гентш, это прекрасная, но уже давно не существующая фирма». Может быть, фирма и была когда-то прекрасной, но, увы, звук Гентша был сухой и холодный, а клавиши туго поддавались пальцам. Это, однако, не мешало Альберу и моей кузине Нетиньке (о ней дальше) извлекать из этого инструмента то бурные, то нежные, то заразительные плясовые и душу веселящие звуки.

При разделе наследства я выпросил Гентша себе, но принужден был отрезать ему треть хвоста, иначе он не влезал в небольшие комнаты нашей квартиры. Когда я прощался со всей моей обстановкой в момент отъезда навсегда из Петербурга в 1926 г., мне особенно тяжело было расстаться именно с этим старым другом.

Насупротив фортепиано помещался помянутый «уголок» для визитов. То был полученный мамой в при-

даное ансамбль Туровского производства (Тур, как и Гамбс, были знаменитыми мебельщиками в середине XIX века) и состоял он из большого дивана, двух бержерок, четырех кресел, двух кушеток и нескольких стульев. Дерево этой мебели было темно-ореховое, крыта же она была синим «капитонированным» бархатом. Форма этой мебели была тяжелая, но всё вместе создавало всё же довольно внушительное и уютное целое, а когда на этом бархате сидели дамы в пышных тогдашних шелковых платьях, то получалось в общем и нечто парадное. Настоящую же парадность этому месту придавал превосходный портрет мамы в молодости работы художника Капкова, вставленный в роскошную золоченую раму висевший над диваном[2]. На столе перед диваном стояла (покоясь на гарусном, имитирующем траву, плато), фарфоровая лампа с букетом цветов на белом фоне. Под столом лежал пестрый ковер Обюссон с желтыми разводами и крупными, яркими цветами. Этот ковер подвергался всяким испытаниям — в тех случаях, когда вытащенный на середину залы, он несмотря на протесты мамы, служил для наших игр. В сложенном пополам виде он становился чем-то вроде салазок для съезжания с той «горы», которую папа устраивал на время гощения своих внуков, на этом же ковре, в течение пасхальной недели, производилось катанье яиц, и случалось, что кто-нибудь раздавит яйцо под ногой и тогда желток проникал в бархатистый ворс; наконец, во время елочных торжеств тот же ковер терпел от леденцов, изюма, пряников и капающего со свечей воска. Но, видно, добротность нашего «Обюссона» была «на высоте испытаний», ибо он и сорок лет спустя, после бесчисленных чисток, находясь на службе у Альбера, продолжал являть всю свою цветистость и яркость, нигде не обнаруживая ни дыр, ни пятен.

В детстве я особенно гордился этим ковром, а также тем небольшим «золотым шкафиком», что стоял в углу залы, а также тем, что на нем стояло. Шкафик был в стиле Буль (что это не был настоящий старинный

---

[2] Ему соответствовала на противоположной стене овальная пастель, работы модного в 1850-х годах Беллоли, изображавшая папу тоже в сравнительно еще молодых годах.

Boulle, разумеется, не играло в моей оценке никакой роли), черно-мраморную его доску поддерживали золоченые амурчики-кариатиды, а вся лицевая сторона была густо забрана орнаментом из медной и черепаховой инкрустации. В замке же торчал чудесный, узорчатый, золоченый (золотой, как мне казалось) ключик. Таким именно ключом, думал я, должна была запираться та комната, в которую был запрещен вход жене Синей Бороды. Однако, когда я повертывал ключик и открывал шкаф, глазам не представлялись какие-то ужасы, а, напротив, по полкам здесь были расставлены особенно драгоценные книжки. Верхняя полка была занята роскошными молитвенниками, (paroissiens, quinzaine de Pâques, бревиэрами), ниже стояли фолианты, среди коих я особенно любил «Le Magasin Franco-Anglais» с литографиями Гюстава Дорэ и альбом «La mozaïque des salons», на нижней же хранились модные журналы молодости мамы, в которых была масса тонко раскрашенных картинок, представлявших дам в широченных кринолинах и ярко цветистых платьях. Самый такой проволочный кринолин где-то хранился у нас и, быть может, мама считала, что он еще пригодится, «к этому еще вернутся».

Комната направо от зала называлась по цвету своих ярких обоев «зеленой». Она служила одно время мне спальней: из нее был выход на балкон — любимое мое местопребывание в летние дни. В глубине «Зеленой» висели две большие венецианские перспективы XVIII века, а по бокам зеркала, на кронштейнах, над комодом рококо, жеманно позировали золоченые и пестро раскрашенные арапы, произведения той же Венеции и того же settecento. Налево из залы был выход в коридор, а ближе к окнам дверь в папин кабинет.

Совсем же в углу залы — папа пробил в стене того выступа, которым средняя часть фасада выдавалась на улицу, маленькое окошко — специально для того, чтобы можно было любоваться видом на всю улицу и на театральную площадь — на манер того, как это допускают английские bow-Window. Вид на Мариинский театр был закрыт рядом домов, примыкавших к нашему, зато Большой Театр, с его строгим колонным портиком, был виден, «как на ладони». Ближе к нам, справа, на самом

углу площади и улицы, стоял милейший особняк XVIII в. графов Мордвиновых, в саду которого, за решеткой, иногда содержались медвежата. Перспективу Никольской улицы завершало красное здание казарм Флотского экипажа и в ней жила та, которой было суждено стать моей подругой жизни. В глубокой амбразуре маленького окна всегда лежал молитвенник папы, и в те воскресенья, когда он почему-либо не мог попасть в церковь, он здесь, перед окошком, глядя на далекие купола Благовещенской церкви, прочитывал про себя обедню.

Двери в кабинет также заслуживали внимания. Впрочем не самые двери, состоявшие из двух створок и глубокой «коробки» — а вот то, что в притолоке были ввинчены крючки, на эти же крючки вешались детские качели. Вся любовь отца к детям и всё его баловение их — выразилось в этой подробности. У какого другого, занятого, вечно что-то писавшего и проверявшего человека, можно было бы встретить подобное «попустительство»? Ведь эти качели действовали не только тогда, когда папы не было дома или когда он отдыхал (последнее случалось иногда по вечерам, после обеда), но и во всякие другие моменты, невзирая даже на то, что у отца сидели какие-либо его служащие, пришедшие к начальнику с докладом. Какого мнения о слабости папы должны были быть эти господа, принужденные из-за нашей шумной возни повышать голос и мучительно прислушиваться к тому, что им говорил папа. В пяти шагах от их беседы Шуренька, Женяка Лансере или Джомми Эдвардс предавались наслаждению взлетать на воздух и оказываться то в зале, то в кабинете. Лишь иногда папа, при таких упражнениях терял терпение или мама подоспевала к нему на помощь, останавливала качающихся и убеждала их, взывая к совести и к «деликатности», отложить игру на потом. Не могла не раздражать папу и наша тут же за стеной игра на рояле, о чем я говорю в другом месте.

Папин кабинет был самой уютной комнатой всей квартиры. Он был квадратный в плане с двумя окнами на улицу. Посреди стоял сделанный по собственному рисунку папы, крытый черной клеенкой, письменный стол

в «готическом стиле». На столе, на специальном плато с желобами, лежал набор циркулей, карандашей, резинок; тут же стояла бронзовая группа Лансере, изображавшая чумацкий воз. Чернильница у папы была необыкновенная, фарфоровая со своеобразной системой наполнения и опорожнения того сосудика, в который макалось перо. Кроме плато и чернильницы, на столе кабинета всегда находилось бронзовое «дупло», с воткнутым в него топориком для отрезания кончиков сигар, и ящик с вышитым букетом под стеклом, в котором хранились марки, сургуч и стальные перья. Этот ящичек был привинчен к столу, во избежание того, чтобы его не уносили. Перед столом стоял крытый кожей превосходный дубовый стул Петровского времени, вроде тех, что приписывают Чипендэлю. Вся же остальная мебель была конца XVIII века и сделана из карельской березы. Это была русская «крепостная» работа, несколько грубоватая, но форма стульев и кресел отличалась оригинальностью. Спинкой служил выгнутый овал, ручки же подпирались дельфинами (чешую которых я любил ковырять), а ножки представляли собой что-то вроде перевитых лентами прутиков. Крыта была эта мебель полосатым зеленым с черным штофом.

Оригинальный столик XVIII века красного дерева стоял позади папиного стола у стены. На нем под стеклянным колпаком красовался изумительно резаный в буксбауме конь — копия с одного из коней, что украшают фасад Св. Марка в Венеции. Эта скульптура приписывалась Брустолоне, но мне теперь кажется, что это была немецкая работа XVI века. На камине в углу, перед зеркалом в раме XVII века, стоял серебряный слепок с знаменитого кубка, приписываемого Бенвенуто Челлини, и толпилась всякая бронзовая мелочь. Доставшийся от деда Бенуа красивый библиотечный шкаф красного дерева был весь набит ценными увражами по архитектуре и искусству. Но главным украшением папиного кабинета служили фамильные портреты, развешенные по стенам. Папа гордился тем, что благодаря этим портретам, у него «совсем, как у царя», но, кроме такого «тщеславного» чувства, у него был к этой портретной галерее настоящий и очень глубокий пиетет. Ему

казалось, что все близкие ему и маме люди находятся вокруг него, а следовательно, что смерть не нарушила связей, соединявших разных членов семьи. Наиболее художественные из этих портретов принадлежали кисти французских мастеров начала XIX века — Буало и Куртейля. Очень хороши были также акварельные портреты прадеда Кавоса, работы Осокина, портрет тетушки Стефани Нечаева и посмертный портрет матери моей мамы, работы неизвестного мастера. Акварельный портрет работы Горавского изображал давно уже скончавшегося дядю Мишель Бенуа, старшего папиного брата, в полковничьем мундире нараспашку, сидящим верхом на стуле, с предлинным чубуком в руке. Наконец, между окнами висела английская гравюра со знаменитой картины Дзоффани, представляющая натурный класс в Лондонской Royal Academy, а над столом с конем «Брустолоне» красовались те две дивные сепии Гварди, которые по смерти отца достались мне и которые, увы, в эмиграции я вынужден был продать.

В углу кабинета, у двери в столовую, находилось «мамино место» — четырехугольный стол и кресло; над ними висела полка, где были разложены толстые поварские книги, лечебники, словари; там же стояли всякие медицинские снадобья, среди них гомеопатическая аптечка, банка с «жизненным элексиром провизора Шуппэ» и другие баночки поменьше с «оподельдоком» — зеленожелатинной мазью для растирания. У мамы, при всем ее скептическом отношении к докторам, была слабость ко всяким таким «домашним панацеям». В гомеопатию же она как-то и верила и не верила; во всяком случае она придерживалась мудрого взгляда: если это и не помогает, то и не вредит.

Вечером, когда кабинет освещался висячей лампой над папиным письменным столом (в это время папа уже кончал работу и занимался раскладыванием пасьянсов или каким-либо клеением), к его столу приставлялся другой стол и у последнего, рядом с мамой, размещались вечерние завсегдатаи: тетя Катя Кампиони, кто-либо из братьев или сестер, нередко Артюр Обер, по понедельникам же неизменно тетя Лиза Раевская, успевавшая,

между обедом и отправлением в театр, пробыть здесь часок в обществе своей дорогой Камиль.

Остается еще упомянуть о столовой и о моем «кабинете», который можно считать — «колыбелью Мира искусства». Остальные же комнаты служили спальнями и были меблированы на «чисто утилитарный лад», а, если в той или другой из них и висела какая-либо картина или стоял какой-либо интересный предмет, то это была «игра случая». Исключения не составляла и спальня моих родителей, особенно с тех пор, как вся специальная меблировка была, вместе с супружеской двухспальной кроватью, роздана в приданое моим сестрам, а зеленая альковная занавеска на кольцах (та самая занавеска, из-за которой папа́ меня голеньким показывал восторгавшимся тетушкам), была отправлена на чердак, как нечто совершенно вышедшее из моды.

Своеобразный характер нашей столовой придавало то, что она была оклеена ярко-синими «дамаскированными» обоями. Прочность этих обоев была такова, что они простояли без переклейки с 1848 года и до самого оставления нашей квартиры в 1899 г. И всё еще этот синий цвет веселил глаз и придавал комнате какой-то прелестный старосветский характер. Этот синий цвет в годы, когда я вообще протестовал (по глупости) против всего, что в нашем обиходе слишком напоминало отжившую эпоху, меня возмущал. Позже, напротив, я как раз оценил особенную прелесть этой старинности и поэтому в каждой квартире, которую мы с женой снимали, непременно одна из комнат получала именно ярко-синюю оклейку. От нас даже пошла, в Петербурге 1900 годов, мода на такие синие комнаты, самый же этот цвет получил в шутку название bleu Benois.

Приятное (тоже очень старомодное) сочетание получалось от этих синих обоев с мебелью красного дерева — с рядом стульев, обступавших большой раздвижной стол, с закусочным столом, с буфетом, с другим буфетом Жакоб (для парадного сервиза) и со шкафом-витриной, в котором были расставлены разные редкости. Среди последних красовалась роскошная кружка Аугсбургского серебра, кубок слоновой кости с историей Эсфири, английские чашки, употреблявшиеся только для шоко-

лада в дни особенно торжественные, бокалы и стаканы с вензелями Бенуа; всё это представлялось мне бесценными сокровищами.

Наилучшим же украшением была картина, занимавшая почти целиком одну из стен. То была копия известной картины Иорданса «Король пьет», изображающей пир в праздник крещения, когда тот, кому попадется боб, запеченный в пироге, избирался «королем» и, в свою очередь, избирал себе королеву, министров и придворных. Наша версия представляла многие отступления от знаменитой композиции на тот же сюжет в Венской галерее, но нельзя сказать, чтобы эти отступления служили к особенному ее украшению, да и общий тон был более темный, краски более тяжелые, нежели в Вене, выдавая позднейшую манеру мастера. Тем не менее наш «Король пьет» был замечательным образцом живописи и, несмотря на некоторые «неаппетитные» подробности, служил подходящим украшением для трапезной. Не проходило дня, чтобы за обедом или за завтраком я ее не изучал. Я был пленен красотой королевы, в которой я находил сходство с нашей Катей, ее же отец, коронованный старик, с жадностью пьющий из своего огромного кубка, мне напоминал папу. Служанки, сгруппированные справа, казались мне похожими на наших прислуг (особенно хороша была фигура нагнувшейся женщины, льющей в кувшин вино, а веселая девушка, оглядывающаяся на зрителя, точно приглашая его принять участие в пире, была совсем живая). Когда у нас пили за здоровье кого-либо, то орущие здравицу на картине как бы присоединялись к нашим тостам. Братскую нежность я чувствовал к тому малышу, который на первом плане, ровно посреди картины, отбивает дробь на барабане. С этим мальчиком, когда я был его роста, я пробовал заговаривать и мальчик как будто улыбался мне в ответ...

«Красная» комната стала служить мне кабинетом с того момента, когда отбыл в плаванье брат Миша, и продолжала быть моей, пока (уже после смерти мамы) сестра Катя не настояла на том, чтобы меня оттуда перевели в смежную чертежную. О, как тяжело я пережил это «выживание» из насиженного в течение де-

сяти лет гнезда. Долгое время я не мог простить этой обиды и почти возненавидел за это когда-то обожаемую Катечку. Вся меблировка и весь убор моей «красной» комнаты были переведены вместе со мной на новое место, а стены там оклеены такими же красными обоями, однако того же прелестного ансамбля не получилось. Очень портило вид моего нового кабинета то, что одна стена была сплошь застеклена (что давало возможность дневному свету проникнуть в коридор). Уже раньше я лишился тех милых скульптурных фигур, изображавших двух дам, бородатого рыцаря и элегантного вельможу, которые я получил во временное пользование от отплывшего Миши и которые он по возвращению пожелал получить обратно. Я успел свыкнуться с этими ультраромантическими (позолоченными) фигурами; очень мне нравились и те золоченые консоли, на которых они стояли и которые представляли — музицирующих детей и головки средневековых шателенок, выглядывавших из каких-то полукруглых оконцев.

У другой стены моей красной комнаты стоял большой диван, исполненный, по специальному заказу папы и согласно моим желаниям, превосходным столяром Биркенфельдом. Красное дерево для него выбрано было первейшего сорта, а крыт он был темно-малиновой кожей. В его боковых устоях были ящики, а на верхней полке были расставлены, под резным венецианским зеркалом, бронзовые и резные из дерева фигуры, раковины, японские статуэтки, чернильница XVI века и т. п. Об эту полку, неминуемо каждый раз, когда он садился на диван, ударялся Дима Философов (превышавший товарищей своим ростом), что и вызывало в нем взрывы негодования. Была же прилажена эта полка к дивану по моему желанию — в подражение тому, что я видел в книге G. Hirth. «Das deutsche Zimmer», в которой широкое место было отведено под немецкий Ренессанс, бывший тогда в особенном фаворе. Диван имел еще и ту особенность, что если дернуть за особые шнуры с толстыми кистями, то сидение и спинка складывались вместе и переворачивались, а на их месте появлялась мягкая и приятная постель. На ней я спал, когда, служив-

шая мне обыкновенно спальней «Зеленая комната», бывала почему-либо занята другими членами семьи.

Лишним было бы здесь приводить список всей той массы вещей, которые наполняли мой кабинет, но я всё же укажу на те, которые были особенно характерны для конца 1880-х годов. Над небольшим шкафиком для книг красного дерева висели фотографии и гелиогравюры с картин моего тогдашнего бога Бёклина; на шкафике красовался слепок превосходной скульптуры Обера «Бык победитель», в углу у окна стояла статуя голого мальчика работы Пименова (позже она была перенесена в папин кабинет), на одном из окон был повешен портрет (подражание живописи на стекле) другого тогдашнего моего бога Вагнера. Кроме того, служили украшением стен акварели Альбера, литографированный портрет дедушки Кавос, декорация эпохи Империи Корсини и три декорации последнего Биббиена. С потолка свешивался фонарь малинового стекла — тоже отголосок увлечения немецким Ренессансом, который я с невестой купили, еще будучи совершенно юными — специально для «нашей будущей квартиры». Наконец, один из внутренних углов комнаты был занят камином черного с желтыми жилками мрамора, а на нем стояли бронзовые часы, изображавшие девочку с обезьянкой. Когда камин топился, то получался особенный уют и нередко я с друзьями предпочитали для наших бесконечных вечерних и ночных бесед не зажигать лампы, а довольствоваться отблеском пламени или тлеющих угольев. Так было более поэтично, более романтично.

Глава 25

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. В ПЕТЕРГОФЕ

С каких лет я себя помню — в точности не могу сказать. Но едва ли мне было больше двух лет, когда папочка, во время бессонницы, которой я страдал, носил меня на руках, стараясь успокоить и убаюкать. Это было не легкое дело. Невыразимый страх овладевал мной в ночную пору. Какие только видения мне ни мерещились! Ходил он со мной по всей квартире. Длинный ряд темных комнат; лишь вдали, в спальне родителей, брезжит огонек ночника и проникает через окна отблеск уличных фонарей. Иногда по потолку возникнет и веером прострелется тусклое отражение проезжающей кареты...

Всё это создавало нечто жуткое. Но жуть усиливалась вследствие тиканья больших часов, стоявших в углу в столовой... Наши часы были очень красивые, английские, XVIII века, со шкафом красного дерева и с подобием храмика на бронзовых колонках в верхней части для механизма и циферблата. В целом часы представлялись мне каким-то живым существом с круглым печальным лицом на длинном теле. Впоследствии я нежно полюбил эти часы, я стал их считать за нечто вроде нашего фамильного палладиума. И не странно ли, что в самый момент последнего вздоха моей матери, умиравшей в соседней комнате, эти, стоявшие на страже времени часы, сами собой остановились[1].

Но, разумеется, двухлетний ребенок, трепетавший на руках своего отца, ничего еще не знал ни о времени, ни о смерти, и боялся я этих часов безотчетно. Особенно

[1] После дележа отцовского наследства наши столовые часы попали к моей сестре Камилле Эдвардс и, каждый раз, когда я бывал у нее, я приветствовал их как старого друга и родного. Но где-то они теперь?

же пугало меня то заикание и поперхивание, чем часы предвещали, что они собираются пробить час или половину. Я в ужасе вскрикивал и зарывался глубже в подушечку и в халат папы. И вот, одновременно с отчетливым громким боем наших часов, откуда-то через пол доносилась странная полуночная музыка. Это било — одни вместе, другие вразбивку — великое множество часов, висевших и стоявших в часовом магазине Сираха, жившего в нижнем этаже нашего дома. Когда же постепенно всё это чужое и страшное смолкало, то слышалось тихое напевание папочки, в котором единственно понятным мне был припев «баю-бай, баю-бай», означавший, что мне нужно спать.

Другие страхи возбуждали во мне портреты на стенах и «темная комната». Ночью я портретов разглядывать не мог, но я знал, что они тут и что особенно один из них продолжает зорко следить за мной глазами. Еще вечером, когда являлась нянька, чтобы унести меня в детскую, портрет уставлялся на меня особенно пристально, его взор упорно всюду следовал за мной... Что же касается «темной комнаты», то таковой назывался чулан, в который вела скрытая в обоях зала дверка. В этом чулане хранился всякий хлам и, между прочим, в особом чемодане маскарадные маски — одни миловидные, другие чудовищные. Все эти личины, с дырками вместо глаз, несомненно, оживали тогда, когда их не было видно. Иногда мне положительно чудилось, что я из залы слышу их шопоты, смех, взвизгиванья... На той же белой стене, в которой была проделана потайная дверка в «темную комнату», у нас неизменно производились сеансы «волшебного фонаря», и как-то раз, тогда именно, когда на стене появилась картина, изображавшая траурное шествие с гробом какой-то принцессы, дверь в темную комнату сама собой бесшумно отворилась и вместо красавицы и несших ее рыцарей зазияла черная дыра... Как было не бояться, как было не видеть во сне кошмары про «черную комнату»? Особенно мне запомнился один тогдашний сон — будто среди дня я иду по зале и вдруг дверка в чулан отворяется и там, на темном фоне, откуда-то сбоку спускается закутанное в белый саван «приведение».

Вообще кошмары мучили меня; я просыпался от них, обливаясь холодным потом, и после этого я уже никак не мог снова заснуть. Навещали меня кошмары более или менее общие всем; плохо кончавшиеся (или грозившие плохо кончиться) взлеты, появления всяких чудовищ — иногда вовсе «невообразимых», иногда же воспроизводивших тех чертей рогатых, мохнатых и когтистых, которые, на лубочной картинке Страшного Суда, мучили грешников. Но особенно часто повторялись мучительные сны про железную дорогу. Их было два варианта. Вариант первый: я стою на траве у самого пути и мне совсем не страшно, я знаю, что поезд ходит по рельсам и меня он не тронет. Но появляется дымок над деревьями, локомотив выскакивает из леса и, вместо того, чтобы пройти мимо, он сворачивает и с какой-то злобой бросается прямо в мою сторону. Я погиб! Второй вариант: напоминает тот сон, который видит Анна Каренина. Опять рельсы, но я не на траве, а на платформе станции. Поезда вообще нет, его ждут, но какой-то незнакомый, бритый, беззубый, скрюченный старичок, похожий на нищего, с палочкой в руке, мурлычит мне под ухо одно и тоже: «едет — не едет, едет — не доедет»... В этом сне, который я всегда как-то заранее «предчувствовал» и от которого я не в состоянии был отвязаться, было что-то особенно гнусное; он неминуемо предвещал какое-либо заболевание, да, вероятно, я и видел его уже в полубредовом состоянии...

Раз я уже заговорил про кошмары, которые вообще в детстве преследовали меня, то расскажу здесь еще один, запомнившийся мне на всю жизнь и показавшийся мне тогда же сном вещим. Приснился он мне, когда мне уже было лет пять или шесть. Будто в гости ко мне пришел незнакомый мальчик, который сразу мне особенно полюбился и с которым я стал играть, точно мы были всегдашними друзьями. Он был старше меня, вовсе не хорошенький, но какой-то весь прелестный, а одет он был в красный костюм, обшитый белой тесьмой. Мы играли с ним в разные игры, но вдруг он исчез и я почувствовал, что стряслась ужасная беда. Я бегаю по комнатам, ищу мальчика, зову его, но он не откликается. И, наконец, я вижу — в коридоре стоит машина и в

ней бьется мой мальчик, стараясь высвободиться от мнущих и раздирающих его члены рычагов и шестерней...

Должен тут же сказать, что всякие механизмы вызывали во мне непреодолимое и таинственное притяжение. Так например, несмотря на запрет, я не в состоянии был противиться соблазну нажать кнопочку на часах, стоящих у мамы на комоде. Стоило эту кнопку нажать и часы тоненьким, но отчетливым голоском звонили сначала тот час, который прошел, а затем и те четверти, которые приближали время к следующему часу. Вещица эта была дорогая и «памятная» привез ее не то дядя Сезар, не то дядя Костя с Лондонской всемирной выставки. В момент боя я смотрел на заднюю стенку стеклянного ящичка, где, приведенные в движение, молоточки на упругих прутиках отстукивали то, что полагалось, по полукруглой серебряной чашечке. Эти часики, в противоположность к столовым «громадным», казались мне добренькими и я, разумеется, нисколько их не боялся.

Еще более милыми были золотые часы на длинной, надевавшейся через голову, цепочке, лежавшие в кармане папиного жилета. Они были совсем плоские, с тонко выгравированным на крышке видом Венеции. Что это была именно Венеция, я знал с тех же незапамятных времен, когда меня баюкал папа, да и вообще о существовании какой-то Венеции я, кажется, знал раньше, нежели я «осознал» существование Петербурга. В нашей квартире было развешено не мало видов города маминых родителей. Но вот это крошечное изображение площади Св. Марка на крышке часов особенно зачаровало меня — в ней всё так сияло золотом, а четкая перспектива уводила глаз далеко далеко... Каждый день и по несколько раз в день я, сидя на коленях у отца, требовал, чтобы он мне показал свои часы. Получив их в руки, я не уставал любоваться этим видом или же прикладывал к часам ухо, чтобы услышать их еле слышное тиканье. В довершение моего удовольствия папа отворял две крышечки на обратной стороне и тогда появлялся целый волшебный мирок. Одни, блиставшие золотом и серебром колесики вертелись быстро, другие медленно, третьи делали полуповорот то в одну сторону, то в другую. Всё это было живое, суетливое и я был уверен, что, если бы за-

глянуть еще дальше, влезть в часы, то там открылись бы и те микроскопические человечки, которые всю эту хитрую машину приводят в движение.

Дальнейшая судьба этих часов, когда-то принадлежавших моему прадеду, композитору Кавосу, оказалась менее печальной судьбы тех больших «столовых». По смерти папы они достались в наследство его внуку Коле Лансере. Покидая в первые месяцы революции 1918 г. надолго Петербург, он спрятал их в потайной ящик письменного стола, также перешедшего от деда. За время отсутствия Коли почти всё его имущество было разграблено, но тяжелый письменный стол трудно было вынести, и воры, обшарив все его ящики и вынув оттуда содержимое, самый стол не тронули и до тайника не добрались. Какова же была радость Николая Евгеньевича, когда, по возвращении, он нашел часы (и еще кое-какие драгоценности) там же, куда он их положил. Радость его была такова, что он даже забыл погоревать о многом другом (и более ценном), что пропало безвозвратно.

Если вглядеться в полустертые, едва еще различимые тени той далекой поры, то рядом с папой и на фоне какой-то «домашней обыденной суеты», выступают еще фигуры моей кормилицы, остававшейся при мне лет до трех, и сменившей ее моей первой няньки. Впоследствии я слышал, что моя кормилица была «красивой бабой», что даже братец Альбер за ней приударял, но мне запомнился лишь ее полукруглый, расшитый кокошник над высоким лбом, гладкие причесанные пряди волос и масса бус на белой рубахе. Возможно, что няня была вовсе не старая, но тучная, неповоротливая и рыхлая, она производила на меня впечатление древней старухи. Больше всего мне запомнилось, что она была бабушкой того бойкого курносого Коли Лукина, который, одетый в синюю шелковую рубашку, приходил иногда по праздникам, чтобы играть со мной. Он был лет на пять старше меня.

Отцу, как архитектору Высочайшего двора полага-

лась на лето казенная дача в Петергофе[2] и ему предоставлялся один из тех «кавалерских» домов, которые были расположены вдоль аллеи, идущей от Большого Дворца к Старому Петергофу. Эти «кавалерские» дома, сооруженные еще при Александре I, были одноэтажные, крепкой деревянной стройки, они покоились на каменном фундаменте и отличались изящной простотой, вообще свойственной архитектуре той эпохи. Выкрашены они были в коричневый цвет с белыми барельефами над окнами и с зелеными ставнями-ширмочками на окнах. Эти низкие зеленые ширмы особенно врезались мне в память, вероятно потому, что проснувшись утром, я их видел первыми, а над ними видел густую листву лип, от которых в комнатах стоял сладкий дух и зеленый полумрак. Занятно было примечать, как через узкие скважины этих ширмочек мелькают головы людей, проходивших мимо нашего дома.

Каждая группа кавалерских домов обступала широкий двор, а к каждому дому примыкал со стороны двора садик из сиреневых кустов с цветочными клумбами. Среди этих кустов устраивалась обычная резиденция мамы и сестер, которые, расположившись вокруг круглого стола, то шили, то вязали, то занимались хозяйскими делами — чисткой ягод, варкой варенья, лущением горошка, и т. д. В хорошую погоду за этим же столом по утрам мы всей семьей пили кофе. За ним же я помню и папочку в светлом чесунчовом костюме. Это, вероятно, бывало по воскресеньям или по праздникам, когда ему не нужно было ехать на службу в город. Вход в занимаемый нами дом был со двора, но окна парадных комнат и спальни родителей выходили на помянутую аллею-улицу. Близко от нашей дачи шел «спуск», приводивший к фонтану Евы и к средней аллее Нижнего Сада. В начале спуска слева расстилалась, окруженная деревьями, полянка; на ней, почти у самой дороги, любила сиживать нянька, предоставляя мне возиться в высокой траве и изредка окликая меня, если я отваживался выбегать на

[2] Я могу себя считать до некоторой степени «уроженцем» Петергофа, так как, родившись 21 апреля (3 мая) в нашем родительском доме в Петербурге, я уже недели две после этого был перевезен на лето в Петергоф.

дорогу, на которой «не дай Бог» меня могли раздавить проезжавшие экипажи. Я эту полянку не любил — она была слишком близка к дому и ничего особенно интересного на ней не было. Возненавидел же я ее окончательно после того, как меня там укусила наша черная собака Трезор, которую я так долго дергал за уши и за хвост, что, наконец, она меня и цапнула. Я отделался легкой царапиной, но потекла кровь и это меня так напугало, что я поднял рев, точно меня зарезали. Бедного Трезора за это отстегали плетью, а няньке была произведена строгая распеканция, почему не доглядела.

Бесконечно более соблазнительным представлялось мне спуститься вниз к фонтану Евы и особенно к тому, находившемуся вблизи фонтана холмику, который дети называли «горкой», хотя он едва возвышался над общим уровнем окружающего парка. Взобравшись на эту горку, я сразу воображал, что сделался большим и что вижу оттуда беспредельно далеко во все стороны. Кроме того, было так занятно без всякого труда взбираться на горку и опрометью нестись с нее вниз. На горке собирались и другие дети с их няньками, кормилицами и гувернантками. Пока эти особы между собой судачили, малыши затевали игры в лошадки, в пятнашки, а то делали пирожки из тут же насыпанной кучи песка. Но обратный путь шел уже действительно «в гору», и это было толстухе-няньке не под силу, особенно, если я требовал, чтобы она взяла меня к себе на руки.

«Горка» имела еще то преимущество, что, когда начинал накрапывать дождь (явление в Петергофе не редкое), то, стоило сделать несколько шагов, как уже ты оказывался в одной из четырех беседок, стоявших вокруг фонтана Евы. В этих беседках собирались все, кого застигал дождь в этой части парка. И занятные же были эти беседки, выходившие со своими зелеными трельяжами и белыми колоннами в сторону фонтана! Через решетки трельяжа было весело смотреть, как продолжали бить и водяным букетом рассыпаться густые струи вокруг беломраморной статуи.

Две из этих четырех беседок представляли собой внутри странную конфигурацию. Уступая линии проложенных еще Петром I дорожек, архитектор (Гваренги)

срезал свои постройки решительным образом, ничего не меняя на фасаде, а потому задние стены этих скромсанных павильонов приходились к передним под углом настолько острым, что и ребенок не мог пропихнуться в оставшееся узкое пространство. Такая несуразность занимала но как-то и тревожила меня. Снаружи «дом как дом», а внутри его точно приплюснули, причем, вероятно, что-то было раздавлено, «скрыто», «спрятано». Я даже видел сны, будто срезанные стены расступаются и я вхожу в какие-то новые и огромные палаты. На яву я затем пробовал «проверить» эти сны и искал, где могла бы быть приснившаяся мне лазейка, но вместо нее я натыкался всюду на выбеленную штукатурку. Это чувство заключенной в беседке тайны осталось у меня на всю жизнь, и даже в 1918 г. (когда мы последний раз жили в Петергофе) те же фантазии сразу принимались меня тешить. Детские воспоминания особенно обострялись благодаря запахам: несколько приторный и тяжелый запах шел от масляной краски, в которую были выкрашены зеленые трельяжи павильонов, и сливался он с освежающими ароматами бьющей воды и всей окружающей листвы.

В России меня когда-то называли «певцом Версаля»; это потому, что я не раз (с 1897 г.) выставлял этюды Версальских садов или исторические фантазии из эпохи Людовика XIV. И, действительно, Версаль произвел на меня в первый же день моего «личного знакомства» с ним, в октябре 1896 г., потрясающее впечатление. Однако, это впечатление не может идти в сравнение с теми чувствами, которые я испытывал, когда маленьким мальчуганом ходил, держась за руку отца, по Петергофским аллеям, когда я цепенел в восхищении от вида падающего по золотым ступеням каскада у Марли (так называемой Золотой Горы) или когда, стоя совсем близко внизу у водопада Большого Грота под Большим дворцом, меня осыпала водяная пыль, и я через нее видел, как взлетают, среди сияющих на солнце золотых божеств, струи водометов!

Среди чудесных Петергофских фонтанов были и такие, которые на меня навевали некоторый страх. Я побаивался тех огромных золоченых рож, которые вверху

Золотой Горы извергают потоки воды, сбегающей затем по беломраморной лестнице до нижнего бассейна. Но еще больше я боялся двух Менажерных фонтанов около той же Горы, которые бьют необычайно сильным столбом. Когда их пускали, они на глазах постепенно росли, пока ни достигали своей предельной высоты. Если тогда долго всматриваться в их непрестанно клокотавшую макушку, то получалось впечатление — точно этот массивный и тяжелый белый столб валится на вас. К страшноватым фонтанам принадлежали и черные драконы вверху Шахматной горы, а также фонтан Нептун в Верхнем Саду... Черный «железный» повелитель морей, в короне с острыми зубцами и с трезубцем в руке более походил на Вельзевула, нежели на греческое божество. Под ним копошились всадники, оседлавшие морских коней с рыбьими хвостами, а вокруг из воды широкого бассейна торчали толстые морды дельфинов, извергавшие водяные дуги.

Были в Петергофе и потешные, веселые фонтаны. Таковы были те голенькие, в землю вросшие карапузы, что держали над головами подносы, а на подносах подобие стеклянных колпаков («клошей»), образуемых бьющей водой. Еще потешнее были Гриб и Елочка у Монплезира. Как весело было, когда какого-нибудь, приехавшего из Петербурга, гостя́ приглашали отдохнуть под шапкой «Гриба» или на скамейке около металлического деревца и когда перед ним ничего не подозревавшим, вдруг образовывалась сплошная стекловидная пелена воды или его со всех сторон орошали тонкие струйки возникавшие из ветвей искусственной елки. Дамы визжали, мужчины смеялись, но были и такие, которые обижались и сердились. Самая же забавная шутка была та, что скрывалась за одним из мраморных павильонов у Ковша Самсона. Я очень любил это незамысловатое зрелище и подымал рев, когда папа на прогулке отказывался зайти к этому детскому фонтанчику. Но как было не плакать, когда меня лишали удовольствия снова увидеть этих плавающих друг за дружкой уточек и преследующую их собачку. Собака лаяла «тяв-тяв», уточки кричали «ге-ге-ге», а посреди сидел на вертящейся коч-

ке пастушок с волынкой, из которой он как бы извлекал жалобные звуки.

От этих разнообразных петергофских впечатлений — смешных, страшных и восхитительных — вероятно, и произошел весь мой дальнейший культ не только Петергофа, Царского Села, Версаля, но и всей эпохи «барокко». Много при этом значило то, что Петергоф моих детских лет не был обездушенной, бальзамированной мумией-музеем или объектом научного исследования. Это был еще совсем живой и продолжавший служить своему назначению организм. В Петергофе жили царь, царица и царские дети и от этих остававшихся на недосягаемой высоте особ, имевших для детского воображения в себе нечто сказочное, излучалась на всю их резиденцию какая-то радостная торжественность. Таким же должен был быть Версаль, когда и в нем жили его настоящие хозяева, задавая тон всему свету. Эту «душу Версаля» я постиг по Петергофу еще в те годы, когда я о Версале и истории Франции не имел никакого представления.

Должен упомянуть я здесь и о цели одной из моих обычных тогдашних прогулок. То была скромная башенка, стоявшая недалеко от нашего дома — в конце поперечного канала; она походила на перечницу, и мне казалась довольно внушительной. То, что в ней никто не жил, что она была всегда заперта, что стояла она, окруженная деревянным помостом, через скважины которого поблескивала вода — всё это сообщало этому месту таинственный характер. Мой детский ум населял эту пустоту, не допуская мысли, что такой «каменный дом» может стоять пустым (на самом деле он служил водокачкой). Помост был ветхий и моментами даже мои маленькие ножки, несшие маловесившее тельце, проваливались в какую-то труху, что меня очень забавляло. Особенно нравился рыхлый хруст, получавшийся при этих провалах и те толпы муравьев, которые разбегались тогда по доскам. Няня, остававшаяся сидеть на скамейке, только стонала и молила, чтобы я вернулся к ней, сама же из-за своей тучности не рисковала ступать на ветхое дерево.

Но пора вернуться к дому, к тому летнему нашему дому, который я как-то «осознал» уже тогда, между тем

как городскую квартиру, в которой проходило три четверти нашего существования, я всё еще не примечал. Мне нравилось в Петергофском доме, что комнаты в этом нашем летнем обиталище были такие громадные, высокие и просторные, а из-за близости деревьев — темноватые; мне нравилось и то, что сойдя пять ступеней, я уже оказывался среди кустов, у того самого стола, за которым мама и сестры проводили целые дни.

Под боком у мамы и я здесь пристраивался на всё утро, пока меня не поручали для прогулки няне. Тут я рисовал или слушал, что мне читали, или что на своем ломаном русском языке рассказывал мосье Paul гувернер моих братьев, такой всегда аккуратненький, одетый в бархатный коричневый сюртучок и в светло серые клетчатые штаны. Отсюда же, уверенный в том, что меня во всякую минуту защитит мама или няня, я следил за играми Коли, Иши и Миши, к которым присоединялись соседние маленькие Кавосы, Кроны, Лихачевы. Их шумных буйных игр я сторонился, но Иша вытаскивал меня иногда из-под материнской опеки и заставлял вместе с другими бегать по двору. Будучи мальчиком необычайно добрым и обладая удивительной способностью играть с малышами, Иша никогда не злоупотреблял моим к нему доверием и всячески меня оберегал. Это было не излишним, когда компания мальчиков в азарте теряла свои приличные манеры и превращалась в отчаянных безобразников. Самые невинные игры — в пятнашки, в горелки, в кошки-мышки, в серсо или в воланы — приобретали моментами буйный и свирепый характер, иногда возникали и форменные баталии, во время которых, несмотря на строгие запреты, пускались в ход палки и камни. Тут, того и гляди, меня могли затоптать...

Сам Иша имел большую склонность к спорту — спорту, как его тогда понимали в формах очень скромных и незатейливых. Зимой все эти мальчики и часть девочек бегали на коньках, летом же они участвовали в разных состязаниях. Не проходило дня без того, чтобы Люля, Коля, Иша и Миша не отдавались гребле на лод-

ке и плаванью под парусами. В поощрение специально этих морских забав папа даже соорудил в одном из углов нашего обширного двора высокую мачту — совершенно такую, какая бывает на настоящих кораблях. По ее веревочным лестницам старшие мальчики взбегали, как обезьяны, и, взобравшись до площадки, производили там, к ужасу мамы, акробатические упражнения. В праздничные дни мачта «иллюминовалась» бесчисленными пестрыми флажками и на комбинации некоторых из флажков братья учились языку морских сигналов. Особенно мне врезалось в память то пиршество, которое было однажды устроено Ишей в палатке под мачтой, по поводу одержанной им победы на каком-то состязании... Чего, чего только не нанесли в этот день мальчики в палатку, сколько бутылок шипучего меда, квасу, ланской фруктовой воды, сколько тарелок с закусками и сладостями! Мне ужасно хотелось проникнуть туда, но один я не решался. Наконец, Иша вспомнил обо мне и ввел меня в компанию своих шумных товарищей — кадетиков в форменных блузах или мальчиков, одетых, как полагалось, в морские рубахи. Лица у всех были загорелые и раскрасневшиеся, шум от разговоров и смеха стоял невообразимый, холст палатки пронизывали лучи яркого солнца, на земле уже валялись выпитые бутылки. Мне дали отведать всяких запретных в обыкновенное время вещей. И до чего же мне тогда понравились соленые грибы и какие-то колбаски! Совершенно же райским Иша объявил изобретенное им блюдо: огурцы с медом.

Эти «морские экзерсисы на суше» кончились однако печально. Они даже чуть не стоили жизни одному из мальчиков — французу Гастону, который был взят к моим братьям для практики языка. О чем-то поспорив на узенькой площадке мачты, Гастон оступился и слетел с трех или четырех саженей на землю. Убиться бедняжка не убился, но всё же сломал себе ногу. Каким высокопатетическим осталось в моей памяти то, что за сим последовало. Как тут все засуетились, как забегали, какой пошел гомон и крик. Не кричал только Гастон, а лежал зеленый, точно мертвец, крепко стиснув зубы, чтобы до конца «оставаться спартанцем». Его подняли и понесли через весь двор. Войдя в дом, с величайшей осто-

рожностью положили на черный клеенчатый диван, что стоял в папиной чертежной. Больше всего был огорчен маленький Крон — невольный виновник катастрофы; он стоял в изголовьи, проливал слезы и всё что-то шепотом приговаривал...

Рядом с такой, почти трагической картиной запомнилось мне, среди первых впечатлений, связанных с Петергофом, еще одно — более сентиментального порядка. В той же группе домов, к которой принадлежала наша дача, стоял небольшой деревянный флигель, окна которого меня очень интересовали. Проходя с няней мимо них, я всегда останавливался для того, чтобы полюбоваться птичками в многочисленных клетках, висевших одна над другой по обе стороны одного из окон. На подоконнике стояли горшки с цветами, а какая-то старушка бывала занята то поливанием их, то кормлением птиц. И вот однажды эта сморщенная старушка заметила меня под оконом и ласково, тоненьким голоском, стала приглашать зайти. Нянька заартачилась, но старушка мне понравилась и я так настойчиво стал тащить свою Филипповну за руку, что она уступила и мы поднялись на крылечко, а из сеней вступили в глубокую темноватую, сплошь заставленную мебелью комнату. Вблизи старушка оказалась старичком: ошибка же объяснилась тем, что голова его была повязана, как повойником, и еще тем, что старичок был гладко выбрит и розовые его щечки казались мягенькими, пухленькими. Крошечным он показался даже мне, трехлетнему, а одет он был в выцветший, весь заштопанный халат из узорчатого шелка с китайцами, пальмами и павлинами на нем. Это был древний, очень сгорбленный старичок и из того, что шамкал его беззубый рот, я еле различал какое-то мудрено звучавшее приглашение посидеть и отведать его угощений. Меня сразу потянуло к клеткам и особенно, к большой золоченной, с ярко пестрым попугаем в ней. Тут же вышмыгнула откуда-то мартышка, начавшая скакать со шкафа на шкаф и корчить рожи... За этим первым визитом последовали другие. Уж очень меня манили к себе все эти диковинки, да и сам старичок с китайцами на халате притягивал меня тем более, что он потчевал меня пряниками, до которых я был большой лакомка;

няньку же он усаживал за чаепитие с вареньем. Когда в следующем 1874 году мы снова на лето приехали в Петергоф, то я в первые же дни пожелал навестить нашего знакомого, но увы... его уже не оказалось, а вместо него теперь жил в том флигеле музыкант придворного оркестра, и из открытого окна неслось неистовое мычание его фагота. Это опустевшее, завешенное тюлевыми занавесами окно, тогда дало мне впервые ощущение невозвратной утраты. Позже я узнал, что старичок этот доживал на покое свой почти столетний век, а состоял он когда-то в пажах при Екатерине II, позже же на службе в Дворцовом ведомстве. Жил он на этой казенной квартире безвыездно летом и зимой, в течение многих десятков лет.

Несомненно в том же 1874 году я познакомился со страшной, но и как-то поманившей меня тайной Смерти. В один ясный праздничный день, идя с отцом по дамбе Купеческой пристани, я заметил на воде, на небольшом расстоянии лодочку с сидящими в ней двумя городовыми, которая плыла по направлению к дамбе. Мое внимание, впрочем, было привлечено не столько самой лодочкой, сколько тем, что она волокла за собой. Этот предмет удивительно меня заинтересовал. Как раз в эту минуту папочка повстречался со знакомыми, они остановились и между ними завязался разговор; я же, прильнув к перилам помоста, мог вдоволь изучать то, что происходило внизу. Теперь лодка пристала к лесенке, которая вела к сторожевой будке, и городовые совещались с третьим полицейским, вышедшим к ним навстречу. В лучах солнца я мог теперь вполне разглядеть и то, что было привязано к корме лодки и что мягко колыхалось в волнах. Это было нечто похожее на большую куклу с раскинутыми руками и ногами; кукла была голая, а бледное тело ее было точно размалевано цветными пятнами; головы не было видно: она оставалась за лодкой, глубоко свесившись под воду. Никакого ужаса я не испытывал; наоборот меня что-то приковало к этому зрелищу — я оторваться от него не мог. Когда разговор между «большими» прервался, я поспешил указать папе на то, что меня так заинтересовало, но он только воскликнул: «Ах, Боже мой, да это утопленник!» и сразу

потащил меня прочь, причем пришлось отрывать мои цепкие пальцы от массивных перекладин перил. Позже выяснилось, что то был труп матроса с одной из царских яхт, потонувшего несколько дней назад во время купанья и что полиция везла труп к кладбищу, расположенному на самом берегу моря, по другую сторону дамбы.

Эта дамба играла не малую роль в жизни дачников. Я лично очень был огорчен, когда во время Первой мировой войны ее и пристань, к которой она вела, уничтожили. Петергоф лишился одной из своих достопримечательностей. Ввиду малой глубины Финского залива пароходы не могли подходить к самому берегу, а потому и была построена эта дамба, выступавшая на добрую четверть версты в море. От берега сначала тянулась земляная насыпь («дамба» в точном смысле слова), но дальше она переходила в мост, на бесчисленных сваях, приводивший к общественным купальням (слева женским, справа мужским), в конце же моста находились те деревянные постройки, в которых помещались кассы пароходного общества, жилища для служащих и самая пристань.

Купеческая пристань в цветущую пору петергофского пароходства, (пора эта кончилась около 1900 г.) была весьма оживленным местом. Сюда дачники являлись встречать приезжающих по морю из Петербурга, сюда же приходили вереницы провожающих, охотники же до морского купанья распределялись между купальнями. Чрезвычайное многолюдство в праздничные дни придавало гавани характер ярмарки, чему способствовал и неистовый галдеж наемных извозчиков, для стоянки которых была отведена сбоку очень обширная дощатая площадка. Извозчики накидывались на прибывавших, стараясь перебить друг у друга седоков, и почти силой устраивая их в свои ландо, колясочки и пролетки. Так и слышались со всех сторон традиционные зазывания: «ваш-сиятельство», «ваш-благородие», «ваш-степенство»! Тут же, на площадке, в гордой обособленности, ожидали своих господ «собственные» экипажи с их величественными бородатыми кучерами, а в свою очередь среди них выделялась кучерская аристократия — при-

дворные кучера, по-иностранному бритые, с их товарищами — выездными лакеями; как те, так и другие с золотыми позументами на ярко-красных шинелях и с набок надетыми треуголками. Когда масса прибывших оказывалась размещенной, — господские лошади двигались стройным топотом, извозчичьи клячи беспорядочной, путаной рысью — и буквально на весь Петергоф раздавался грохот. Услыхав его, даже дачники, жившие за версту или за две от пристани, узнавали, что «пришел пароход», и тогда, если кого ожидали к завтраку или к обеду, то говорили прислуге: «они сейчас будут, можно подавать».

Услыхав в известный час такой топот на дамбе, мы знали, что приехал и наш папа, и тогда принято было идти к нему навстречу. Мы доходили до другой достопримечательности Петергофа — до высокого, выкрашенного в черный цвет свайного моста, который был перекинут через овраг, отделяющий Новый Петергоф от Старого. На пологом подъеме к этому мосту внизу и показывались перегонявшие друг друга возницы, а среди них и постоянный папин извозчик; вскоре можно было различить и папочкино милое лицо под широкополой соломенной шляпой. Въехав на верхнюю дорогу и заметив нас, папа останавливал дрожки, слезал с них и, схватив меня, начинал целовать и подбрасывать в воздух, приговаривая свои всегдашние смешные ласковые словечки. Затем он сажал меня рядом с собой, и мы шагом доезжали до кавалерских домов — я гордый тем, что сижу рядом с папой в экипаже, тогда как моя нянька плетется, едва передвигая ноги, пешком...

С кавалерскими домами связаны у меня и первые воспоминания о домашних пиршествах. На семейные праздники (1-го и 15-го июля) собиралось человек сорок, если не шестьдесят, и тогда приходилось обедать в саду за поставленными в два ряда столами. На этих пиршествах я помню баловавшего меня поэта Якова Петровича Полонского, тогда еще ходившего без костылей и очень увлекавшегося живописью; помню еще и трех моих двоюродных дядей — Альберта, Камилло и Стефано Кавосов, из коих двое младших служили в итальянской армии, а поэтому, находясь наездом в Петербурге, явля-

лись на семейные торжества в своих эффектных мундирах. С этой же поры я отчетливо помню и другого своего дядю (мужа покойной тети Софи) Митрофана Ивановича Зарудного, блестящего краснобая и очень нарядного щеголя, к сожалению, тогда уже злоупотреблявшего вином. Помню, как, стоя в траве на коленях перед далеко не привлекательной тетушкой Екатериной Анджеловной, он, подняв персты к небу, дурачась, клялся ей в вечной любви; помню и то, как, посадив меня на высококолесный свой шарабан, он гнал рысака, сея всеобщий ужас по улицам Петергофа. Запомнился мне с тех пор и тот случай, как дядя Митрофан, мчась таким же бешенным аллюром по Самсониевской аллее, опрокинул шарабан и его седоков в канал.

Однажды среди наших гостей я заприметил новое лицо — молодого человека с заостренной бородкой, одетого совсем не так, как другие — в кафтан без пуговиц и в шаровары. На ногах у него были мягкие черкесские сапоги, а на голове странная кавказская шапочка. Уже одно это было поразительно, но еще поразительней было то, что являлся этот молодой человек всегда верхом на казацкой лошади. Почему-то в мое сердце вкралось сразу недоброе предчувствие, да долго и не пришлось догадываться: уже к концу лета (1874 г.) он был объявлен женихом моей сестры Кати.

Обеих сестер, и старшую Камишу и младшую Катю, я нежно любил. Это были совсем взрослые барышни, которые годились мне в матери и которые старались одна перед другой излить на своего крошечного братца запасы своей материнской нежности. Выходило, точно у меня не одна, а целых три мамы, но одна из них возбуждала во мне какое-то особое чувство, которое я не знаю как назвать иначе, нежели как словами «художественный восторг». Катя считалась вообще очень хорошенькой, я же в ней видел прямо-таки свой идеал. Пожалуй, будет вернее сказать, что это была моя первая (разумеется совершенно безотчетная, но всё же пылкая) влюбленность, и это чувство я «почти осознал», как раз тогда, когда мне сообщили, что Катя выходит замуж за Женю Лансере. Как-то раз меня позвали в гостиную, сунули в руку длинный узкий бокал, на дне которого

было немножко желтоватого вина и пригласили выпить за здоровье Кати и Жени. Все вокруг уже держали такие же бокалы, но у них вино, пенясь, переливалось через край и капало на пол. У всех был необычайно радостный вид, все стукались своими бокалами друг с другом, и весело что-то приговаривали. «Что же Шуренька, чокнись и ты со мной, — нагнулась ко мне Катя, — ведь я невеста, я выхожу замуж за Женю. Чокнемся!» Но Шуреньке было не до чоканья. Я выронил свой бокал из рук и он разбился, («это к счастью, это к счастью!», загудели вокруг гости), сам же, заливаясь слезами, помчался к себе в детскую и, рыдая, зарылся в подушки. Что только не предпринимали, чтобы меня утешить — ничего не помогало. Я не понимал, что значит «выйти замуж», я даже не представлял себе отчетливо, что сестра теперь вскоре покинет наш дом, но всё мое существо возмутилось против того, что вот этот чужой человек станет близким к «моей» Кате! Я почти занемог от жгучей ревности. К самой свадьбе, которая была сыграна через несколько недель, я уже «примирился с судьбой», успокоился, а после свадьбы Женя и Катя уехали в Париж, где и прожили всю зиму. Там-то и сделала высокоталантливая ученица Зичи — Мэри Эттингер их необычайно удачный двойной портрет.

Глава 26

БРАТ ИША

Осенью того же 1874 года наша семья пережила большое горе. Скончался мой брат, мой любимый брат Иша. Любили ли Ишу другие братья так же, как я? Одно из самых тяжелых впечатлений того времени связано у меня как раз с фактом, который, казалось бы, доказывал обратное. Иша как-то напроказил в «зеленой комнате», служившей тогда спальней для двух старших братьев, для Альбера и для Люли. Оба были уже учениками Академии художеств и в семейной иерархии были включены в разряд «больших», чему вполне соответствовала их внешность — их рост, их возмужалость и особенно их бороды. И вот эти-то двое «больших» так взбесились поступком Иши (он нечаянно разбил какой-то гипсовый бюстик), что набросились на него и расправились с ним жестоким образом.

Как сейчас вижу дикую картину, которая предстала тогда передо мной. Сначала послышалась перебранка в зеленой комнате, потом какая-то необычайная возня в зале, затем топот по коридору и, наконец, уродливо толкающаяся группа, состоявшая из Альбера, Люли и Иши, ввалилась в столовую. Через секунду Иша лежал на полу... Откуда-то появилась веревка, и его, не обращая внимания на вопли, братья связали и связанного потащили в последнюю комнату, где бросили на доску, прикрывавшую ванну. О, как возненавидел я тогда этих мучителей, как они сразу же потеряли весь свой престиж. Ни родителей, ни сестер не было дома, прислуга же оставалась на кухне и ничего не слыхала. По совершении казни оба «палача» удалились, и в квартире водворилась жуткая тишина. Не понимаю, почему моя нянька, снача-

ла напуганная яростью братьев, теперь не поспешила развязать Ишу и никого не позвала на помощь, но во всяком случае Иша оставался некоторое время лежать привязанный к крышке ванны, причем, верный своим спартанским принципам, он лишь изредка стонал и скрежетал зубами.

В первый раз я в тот же день увидел мамочку в гневе. Вообще она никогда нас не бранила, а старалась действовать убеждением и усовещеванием. Но здесь, когда, вернувшись домой, она нашла своего сына в таком ужасном положении, она воспылала негодованием. И какое же я получил удовлетворение, когда я увидал смущение обоих мучителей, их жалкий, поникший вид, их опущенные головы! Как я ликовал, когда мама их же самих заставила развязать Ишу и растереть его наболевшие члены. И как я принялся целовать бедного моего любимого брата.

Вскоре после того случилось с Ишей другое, более опасное злоключение — его укусила одна из наших собак. Иша, узнав, что с Полканом творится что-то неладное, сбежал во двор, но не успел он показаться, как пес бросился на него и вцепился ему в плечо; дворники тут же прикончили пса лопатами, а раненого Ишу понесли домой. В те времена неизвестна была прививка против бешенства и существовало лишь поверье, что, если прижечь сразу рану каленым железом или хотя бы чистым спиртом, то укушенный будет спасен. Раздев Ишу и найдя рану (которая была не глубокой) мама стала обмывать ее этим примитивным средством. Я отчетливо вижу картину: Иша сидит, выделяясь силуэтом на фоне окна, дрожит мелкой дрожью и всё же изо всех сил крепится, чтобы подавить боль и пережитое волненье, а мама, с помощью Ольги Ивановны, прикладывает ему примочки, черпая спирт из поставленного на пол таза.

Увы, теперь трудно решить, могло ли спасти Ишу доморощенное средство. Месяца через два моего бедного брата не стало, но скончался он от совсем другой причины. Иша заболел воспалением брюшины (или брюшным тифом) и после недели мучений, столь же мужественно им перенесенных, он скончался, будучи всего четырнадцати лет отроду. Самая смерть явилась неожи-

данно. Еще утром он перебрался на кресло, пока ему меняли постельное белье. Незадолго до этого его перевели из красной комнаты, в которой он жил вместе с Мишей, в просторную комнату на улицу, служившую спальней родителей. Раза два я забегал туда, движимый неясной тревогой, но он лежал молча с осунувшимся от страданья лицом... Выбитый из обычной колеи, я слонялся по комнатам, встречая во всех какой-то раздраженный отпор. К вечеру же мы все братья собрались в Зеленой, меня усадили за стол, дали карандаш и бумагу и я принялся рисовать. Что-то нависало всё больше и больше. С другого конца квартиры доносился шорох, звон посуды, стоны Иши и иногда увещевание мамы принять лекарство. А потом всё окончательно затихло и я понял по тому, как переглядывались между собой братья и по раздававшимся рыданьям прислуг, что произошло нечто ужасное...

Через еще несколько минут послышались знакомые, лишь очень замедленные шаги папы. Войдя, он тихо произнес: «Иши больше нет, он умер». При этом папа не плакал, но лицо его было полно глухого страданья. Да и я, обыкновенно, плакавший по всякому поводу, на сей раз не заплакал — хотя и ощутил всю меру своего несчастья. Вследствие этого ощущения, я и запомнил каждый дальнейший момент злополучного вечера.

Гурьбой мы последовали за папочкой и вошли в спальню. Именно от Иши среди всяких других, мной любимых «страшных» рассказов, я узнал, что мертвые начинают дурно пахнуть, а потому, когда я вошел мне показалось, что сказанное им уже и подтверждается. В комнате действительно стоял тяжелый и приторный, никогда раньше мной не слышанный дух, но это пахло от всяких лекарств и особенно от мускуса, который Ише вспрыскивали за несколько минут до смерти. Сам Иша лежал на боку — точно спал. Лицо его спокойное и даже слабая улыбка играла на устах. Я подумал — вот он увидел ангелов...

Вдруг из передней послышались какие-то протестующие возгласы. То был голос жениха моей старшей сестры Матью Эдвардса. Он быстрыми шагами вошел в спальню, еще решительнее запротестовал, когда мама

подтвердила, что: «Jules n'est plus». Подойдя к кровати, он дотронулся до покойного, затем, присев рядом, еще раз заявил: «c'est impossible, il n'est pas mort, il dort» и, обращаясь прямо к Ише, он несколько раз воскликнул: «Well, my boy, wake up, it's no time to sleep». О, как мне захотелось, чтобы совершилось одно из тех чудес, о которых любил рассказывать Иша, чтобы открылись эти глаза, чтобы он повернулся, привстал... Но тщетно взывал добрый Мат. Иша оставался нем, без движения, теплота не возвращалась и, наконец, сам Мат поверил в непоправимое: он опустился на колени и, уткнув свою рыжую голову в одеяло, принялся, громко всхлипывая, молиться.

Сейчас вслед за этой сценой «неудавшегося воскресения» — началось жуткое «убирание» покойника. Прислуги, под руководством мамы и Камиши, принялись омывать тело (мне удалось украдкой увидеть это через щель между половинками двери), а тем временем папа, при помощи братьев и Мата, — соорудили в кабинете, под портретами дедов, своего рода катафалк, для чего был использован высокий чертежный стол, а в головах повешено большое скульптурное распятие. Потом, одетого уже в гимназический мундир, Ишу общими усилиями понесли из спальни в кабинет и положили на это возвышение, окружив его зажженными свечами. Еще две подробности поразили меня. На закрытые веки Иши положили по большому медному пятаку, а в ноздри запихали вату. На всё это я смотрел с крайним любопытством. Что Иша совсем недавно еще бывший таким живым, разговорчивым, превратился в абсолютно бледную, недвижную и немую статую, что от него (как мне казалось) пахнет, что глаза его могут против его воли открыться (и потому на них и положили тяжелые пятаки) — всё это до того меня «интересовало», что я как-то и «не успевал» предаваться тому горю, которому предавались остальные. Я даже нарушал несколько раз общее сосредоточенное молчание, задавая весьма нелепые вопросы. Мне было всего четыре с половиной года и я еще не умел представляться, а всё, что случилось, было столь необыкновенным, столь странным... И вот что удивительно: мне при этом вовсе не было страшно, наоборот,

мной постепенно овладевала особенная экзальтация, то особенное чувство, которое неминуемо посещало меня в детстве при каждом событии, особенно потрясающем.

Дальнейшее сохранилось в моей памяти более отрывчато. Смутно помню появление у гроба Иши старого патера Лукашевича, смутно помню и то, как я в последний раз вижу Ишу в открытом гробу, в церкви св. Екатерины, куда его поставили на ночь перед погребением. Несколько лучше запомнилась картина погружения гроба в яму посреди того склепа, который в церкви Католического кладбища был отведен под место погребения нашей семьи. Но и эта церемония в сводчатой, пахнувшей сыростью капелле не произвела на меня большого впечатления. Меня развлекали масса лиц, обступивших могилу и, в особенности, одетый во всё белое père Cournan который, совершал самый обряд в сослужении еще двух священников в черных с серебром ризах. Мне запомнилась и моя глупая «острота», которую я счел нужным выпалить из-за какого-то непоборимого желания обратить на себя внимание. Я вдруг повернулся к маме и громко спросил; «Его, вероятно, потому называют Курнан, что у него курносый нос?» Мне за мою остроту попало, но на некоторых лицах я увидал улыбку, и этого уже было достаточно для сознания какого-то успеха, до чего иногда дети, пожалуй, еще более падки, нежели взрослые.

Все последующие дни были заполнены разговорами об Ише. Я же не переставал рыться в его тетрадях и рисунках, отыскивая давно знакомые его композиции или же натыкаясь на еще мне неведомые, и среди них на очень страшные и странные. Но кто мог теперь мне их объяснить и растолковать? Кому из братьев было дело до меня? Сестра Катя была далеко в Париже, а сестра Камиша целыми днями просиживала со своим женихом. Папочка же и мамочка были оба такие грустные, они так странно меня ласкали, что я не решался к ним приставать с вопросами. Поразила меня еще одна вещь. Разбирая бумаги Иши, мама набрела на тот брульон, в который он что-то еще записывал накануне дня, когда он почувствовал первые приступы недуга. То было классное сочинение по немецкому языку о «Марии Стюарт». И

что же, эта черновая запись кончалась фразой, которую вложил Иша в уста несчастной королевы, в момент, когда она идет на казнь: «Meine letzte Stunde hat geschlagen». В таком совпадении даже не имевшая склонности к мистике мамочка не могла не увидать своего рода предчувствие. Если кого, может удивить, что на четырех с половиной-летнего мальчика эта фраза, к тому же на чужом языке, произвела впечатление, то я укажу на то, что по-немецки, благодаря своей бонне Лине, заменившей как раз в том году русскую няньку, — я уже кое-что понимал, а про судьбу Марии Стюарт я слыхал от того же Иши.

Глава 27

ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ

Моим главным развлечением в детские годы (приблизительно до 8 лет), были «солдатики», всякого вида и образца. Их я любил так, как только мог любить свои войска какой-нибудь немецкий «серенисимус» — великий охотник до «парадов». Друг дома А. П. Панчетта меня даже прозвал «бум-бум», ибо именно так я сам называл солдат, когда еще не умел произносить настоящие слова, но грохот барабанов проходивших мимо наших окон полков уже вызывал во мне особенное возбуждение. «Бумбумом» называл меня этот милый человек до самой своей смерти, случившейся тогда, когда мне стало лет под сорок, и я из прежнего «милитариста» давным давно успел превратиться в завзятого «пацифиста».

«Солдатиков» было у меня несколько сотен. Одни были оловянные, другие бумажные, вырезанные папой, наконец, в удовлетворение моей страсти, папочка мне делал их из игральных карт, которые он перегибал пополам в высоту и обкрамсывал по краю с заострением кверху. Такая форма позволяла им стоять довольно стойко, но истинную радость мне всё же доставляло не стояние их, а падение. Если, бывало, дунешь на первого, он валился на соседа, тот на третьего и вся линия оказывалась «убитой». Никаких жестоких чувств я при этом не испытывал, впрочем, думаю, что и современный летчик, бросающий бомбу на город, тоже в этот момент «ни о чем, специфически жестоком» не помышляет. Он скорее так же «невинно веселится», как Шуренька веселился, когда ухлопывал свои бумажные легионы.

Из оловянных солдатиков особую слабость я питал к тем сортам, которые стоили дороже и которые явля-

лись как бы аристократией среди прочего населения моих коробок. Это были «кругленькие», «выпуклые» солдатики, причем кавалеристы насаживались на своих коней и для большей усидчивости обладали штифтиком, который входил в дырочку, проделанную в седле лошади. «Спешенные» такие всадники имели препотешный вид; они оставались с расставленными ногами, точно они замочили себе штаны (неприятное чувство замоченных штанов было мне тогда хорошо знакомо), и вместе с тем в таком виде они походили на настоящих кавалеристов, у которых от езды тоже ноги становятся колесом — брат Коля в позднейшие годы являл живой пример такого типичного кавалериста. Эти «толстые» солдатики продавались в коробках, в которых обыкновенно помещались еще всякие другие вещи: холщевые палатки, которые можно было расставлять, пушки на колесах и т. п. Всё это было страшно интересно и я действительно блаженствовал, когда расставлял всё это на столе, создавал себе иллюзию, что всё это настоящее. Если же к этому прибавлялись оловянные тонко-ажурные кусты и деревца, а также те восхитительные домики, которые папа мне вырезал и клеил, — то иллюзия правда становилась еще полнее.

Вся эта домашняя военщина, будучи привозной, заграничной, довольно дорого стоила. Напротив, почти ничего не стоили военные игрушки народные, иначе говоря те деревянные солдатики, которых можно было купить за несколько копеек на любом рынке. К сожалению, эти солдатики по формату не соответствовали оловянным — самые маленькие из них раза в три превышали самого большого оловянного солдатика. Это обстоятельство однако не мешало мне любить и свои деревянные полки. Нравились они мне по двум причинам — и потому что они были раскрашены в особенно яркие и глубокие «колеры» (например голубые мундиры с желтыми пуговицами, при белых штанах), и потому, что они восхитительно пахли, «пахли игрушками», — пахли тем чудесным запахом, которым густо были напитаны и игрушечные лавки. Самые замечательные игрушечные лавки были Дойниковские в Апраксином рынке и в Гостином дворе, но по игрушечной лавке имелось и на на-

шем «фамильном» Литовском рынке и на недалеко от нас отстоявшем Никольском.

Эти деревянные солдатики «пролетарского» характера были разных типов: одни были крашеные, другие просто из белого дерева; были пехотинцы, были кавалеристы, были генералы. Но особенное удовольствие мне доставляли барабанщики, стоявшие у своей будки, или целый полк с офицером во главе. Барабанщик выстукивал дробь — стоило только повертеть за ручку, вделанную в кубик, служивший подставкой; что же касается «полка», то тут фигурки в светлоголубых формах при белых штанах были нашпилены на деревянные, скрепленные накрест полоски, которые раздвигались и сдвигались, вследствие чего солдатики то размыкали, то смыкали ряды.

Но не одни солдатики пленяли меня среди простонародных игрушек: были еще такие, с которыми я познакомился в самом раннем детстве, но которые и позже вызывали во мне настоящую радость. К ним принадлежали, например, кланяющийся господин, одетый во фрак по моде 1830-х годов и его пара — дамочка, «делавшая ручкой» и одетая в широкое и короткое розовое платьице. Сколько я этих «Иван Петровичей» и «Марий Степановных» на своему веку переломал! И как был я счастлив, когда, принявшись в 1890 годах систематически собирать игрушки[1], я приобрел несколько последних экземпляров этих удивительных «живых статуэток», изобретенных еще во времена Гоголя и с тех пор неизменно повторяющихся мастерами Троицкого посада. Тут же нужно помянуть с «сердечной благодарностью» и о тех игрушечных «усадьбах», перед которыми, под дребезжащую струнную музычку, плавали гусята, а также о всяких пестро раскрашенных птицах и зверях из папье-машэ (барашки, делали мэээ, птички — пью, пью, пью), о турке, глотающем солдат и т. п. Вспоминая выше о своем милитаризме, я позабыл упомянуть о предмете моего особенного вожделения — о большом солдате (из папье-машэ), на котором был красный мундир и у кото-

[1] Вся моя большая коллекция игрушек была в 1920-х годах приобретена Русским музеем в Петербурге, где она до сих пор, вероятно, украшает Бытовой отдел.

рого была такая милая, круглая, розовая рожица с черными усиками. Он стоял вытянувшись, выпятив грудь, и браво держал ружье. Ростом он был с меня! Когда я, наконец, лет трех получил такого солдата и полагавшуюся при нем полосатую будку, то я точно получил себе живого товарища. Я даже клал его вместе с его неотделимым ружьем к себе в кровать под одеяло, а в его будку я мог свободно влезать. Временами, впрочем, я и сам походил на воина, нахлобучив на голову игрушечную каску или же облачившись в рыцарский панцырь. При панцыре полагался и шлем с забралом и очень страшная кривая сабля. Все эти предметы были сделаны из картона и оклеены золоченой бумагой.

Если бы дать себе волю, то моя глава об игрушках могла бы разрастись в целый трактат. Однако я никак не могу не упомянуть еще о двух категориях «игрушек» — о том, что я бы назвал «карликовым миром», и о том, что можно объединить термином «оптические игрушки». И то и другое отвечало, пожалуй, еще в большей степени существу моего характера; то и другое имеет связь с театром и со всяким художеством, воспроизводящим жизнь.

Что касается до «карликового начала», то, мне кажется, это было во мне нечто наследственное, ибо, несомненно, уже у папы была страсть ко всему крошечному. Эту свою страсть он выражал в тех моделях, которые он клеил как для своих детей, так даже и для «представления начальству». У него в книжном шкафу, рядом с целой деревней чудесных домиков, привезенных им в 1840-х годах из Швейцарии, хранилась модель Стрелинского вокзала, которую папа когда-то склеил для представления ее самому Государю Николаю Павловичу. Такие же модели (рассказывали братья) он делал раньше почти для каждой своей значительной постройки — больше для собственной утехи, нежели по необходимости, тратя на это кропотливое дело массу времени.

И вот в 1875-м году, ко дню моего рождения, папа пожелал особенно распотешить младшего своего сынка этим своим искусством. Для этого он вздумал склеить целую «квартиру», которая должна была заменить доставшиеся мне по наследству от братьев деревянные

«комнаты» столярной работы, довольно-таки нелепые и громоздкие (ведь мог же я из одной комнаты в другую проползать на четвереньках через соединявшие их двери)! Приготовления к этому подарку держались в секрете, но я очень скоро заподозрил, что нечто особенное зреет для меня, да и пробегая по папиной чертежной, куда он с Альбером или с Леонтием, по окончании очередных серьезных дел, уединялись, я мог, бросив украдкой взгляд на рабочий стол, заметить какие-то крошечные рамы для окон, что-то вроде кухонной плиты, что-то похожее на фортепиано. Наконец, день моего рождения, 21 апреля 1875 года, наступил. Когда я, тщательно причесанный, в бархатном костюмчике с кружевной отделкой и в новых полосатых чулочках, вышел сияюще-смущенный в столовую, то между двух горшков с гиацинтами, я узрел настоящее чудо, сразу наполнившее мое сердце восторгом. Будучи, как большинство детей, лишенным чувства благодарности (назойливым и никчемным мне тогда казалось все эти поминутно повторявшиеся понукания: «Dis donc merci Chourinka»), я на сей раз всё же «до краев сердца» переполнился этим чувством и даже расплакался. Маме и тут же стоявшим с поздравлением прислугам показалось, что Шуреньке опять не угодили и уже собирались меня за это журить, но я, преодолев конфуз, всё же успел между судорожными рыданиями промолвить: «Я заплакал, потому что боюсь это испортить»... после чего я зарылся головой в папин халат и бешено стал его (т. е. именно халат) целовать.

Правда, этот домик был бумажный, картонный, комнаты были не выше пяти вершков, да и комнат было всего три, из которых одна, большая, служила залой, другая и столовой и спальней, а третья кухней, но зато всё это изумительно воспроизводило настоящую и притом довольно «шикарную» квартиру. В зале, оклеенной белыми обоями, «топился» (холодным пламенем из красной фольги) камин, над ним перед зеркалом стояли канделябры и часы, у окна (со слюдой вместо стекла) были повешены кружевные занавески, в углу стоял рояль с поднимавшейся крышкой; стены были украшены картинами в рельефных рамочках. В оклеенной красными обоями столовой, кроме обеденного стола и стульев, стоял

ёще «удобный» диванчик, кресло-качалка и большой буфет с настоящей фарфоровой и стеклянной микроскопической посудой, а смежная со столовой кухня была полна кастрюль, тазов, сковородок, на стене же висел колокольчик, который заливался тоненькой дробью, если отворяли «входную» дверь. В петербургских домах только тогда стали вводить общественное водоснабжение, но уже в моем домике был водопровод, по крайней мере на это указывали кран и раковина.

Официальными жильцами моей квартиры значились куколки, очень мило одетые: господин и дама (для дамы пришлось прикупить железную кроватку с матрацом и подушками, тогда как господин удовольствовался диваном, на который я его укладывал, не снимая фрака). Однако подлинным обитателем был, разумеется, я. Мне и не нужны были эти «фигуранты», которых я вскоре и спровадил в коробку со всякой всячиной, раз я мог сам часами просиживать перед «своей» квартирой, расставляя мебель, накрывая стол, возясь с камином, у которого, за металлической решеточкой, лежала лопаточка и щипцы. При этом я воображал, что «сегодня будут гости», что вот гости явились и им из кухни несут вкусные вещи. Мне не приходило в голову, что тут нужна еще хозяйка, но с какими-то всё же воображаемыми товарищами, с Петей и с Сашей, я мог подолгу разговаривать, они меня навещали в «квартире» и с ними же я продолжал беседовать, когда бонна укладывала меня спать.

Культ «маленького» достиг настоящего маньячества, когда, в русском переводе, я познакомился с Гулливером (прелестное издание «Зеленой библиотеки»). Ах, как мне тогда захотелось попасть в столицу лилипутов, заглядывать в окошечки их домов и наблюдать, как они живут в своих крошечных квартирках! Я давал себе слово, что буду крайне осторожен при прогулках по их улицам и что никого из них не задавлю. Я так живо представлял себе этих человечков, их лошадок, их костюмы, вооружение, что моментами мне казалось, точно я, как Гулливер, действительно, уже когда-то держал их в руках, точно действительно чувствовал, как они дрыгают в перепуге ногами, точно я их подносил под самый нос, чтобы лучше разглядеть. Да, может быть, я и

впрямь всё это видел в своих, всегда очень реальных снах. Вечером, когда тушили лампу, я начинал вглядываться в полумрак освещенной ночником комнаты в надежде, что кто-нибудь на комоде или на висячей полке вдруг и закопошится, и это окажется лилипут. Случись этой действительно, я наверно и не испугался бы, тогда как умер бы от страха при появлении какого-нибудь мохнатого-рогатого. Меня интересовал и точный размер гулливерских лилипутов. Когда мне прочли в книжке, что они были семидюймовой высоты, то я просто обиделся — это уже не были бы те совсем маленькие людики, в существование коих я так слепо верил и с которыми так хотел войти в общение! Как было бы приятно брать их в карман, вынимать во время прогулок — пусть погуляют среди травки, которая должна им казаться дремучим лесом. Но годы шли, а лилипуты не удостаивали меня своим посещением — приходилось довольствоваться марионетками и всякой другой неодушевленной мелочью.

Здесь же нужно упомянуть о тех замках, о целых городках, которые продавались во время вербного торга и в которых, как и в картонажных рыцарских доспехах, доживали свой век мечты отошедшей в вечность романтики! О «романтике», как о некоем литературном движении, пятилетний мальчик, разумеется, никакого понятия не имел, но о замках я знал, что в них жили разные персонажи из любимых сказок: рыцари, принцы и принцессы, Синяя Борода, Людоед, которого в виде мышонка сожрал Кот в Сапогах и т. п. Да и про самые замки мне много рассказывал Иша и я знал, что у них подъемные мосты, что их окружают зубчатые стены с башнями по углам; я приблизительно знал и то, как выглядят замки внутри, какие там лестницы, переходы, залы. Многое такое я видел в папиных путевых альбомах, но со многим я знакомился как раз по тем замкам из пробки, о которых я упомянул только что.

Кто создавал эти чудесные и прямо-таки поэтичные вещицы? Кто был тот милый, уютный художник, который, вероятно, задолго до Вербного торга подбирал пробки, разрезал их на пласты, клеил их, сочинял самую

архитектуру, бесконечно варьируя комбинации элементов, из которых складывались эти крошечные сооружения. Этот же анонимный волшебник выкладывал скалы, на которых возвышались его многобашенные замки, ярко зеленым мхом, сажал по ним крошечные рощи из перьев, он же вставлял в пробочные берега зеркальца, представлявшие пруды чистой воды. Какие тончайшие пальцы лепили этих малюсеньких восковых лебедей, что подплывали к ажурным перильцам пристани? Неужели этот архитектор, доживший вероятно до глубокой старости, «пережил себя» и познал коварную переменчивость вкусов? Неужели он терпел нужду, боролся за жизнь, производил все эти чудеса для того, чтобы заработать десятка два рублей за те семь дней, что длилась Вербная неделя? Постепенно мода на эти замки стала проходить. Их уже редко кто покупал, хоть и стоили они не больше рубля или двух; никого не трогала их подлинная поэтичность. Над ними стали смеяться, как над непонятным пережитком «глупой» старины. И странное дело, даже у меня, хотя не обходилось и года, чтобы я не приобретал такого замка, даже у меня не сохранилось их ни одного. Хрупкие эти изделия требовали большой осторожности, их следовало бы держать под стеклянными колпаками! Но и колпаки ломались от недостаточно осторожного обращения прислуги и меня самого.

Радость, совершенно подобную той, которую я получал от этих вербных замков, испытывал я при виде того, что было сгруппировано в одной из зал Академии художеств. Через нее надо было проходить, отправляясь в комнаты, отданные под «конкурентов». Так как папа всегда меня брал с собой, когда делал свой обход знакомых академистов[2], в том числе и моих двух братьев, то

---

[2] Папа имел звание профессора, но не состоял профессором-преподавателем Академии художеств, с которой у него в те времена, несмотря на личную дружбу со многими ее членами, были несколько натянутые отношения. Эти обходы и не были для него чем-то обязательным. Просто он был всегда готов преподать начинающим архитекторам что-либо из своего колоссального опыта, поделиться своими энциклопедическими знаниями по архитектуре и памятникам прошлого. Часто он тут же брал карандаш и быстро, с поразительным мастерством, набрасывал какую-либо

я побывал в этом «зале моделей» несколько раз. Это была просторная, но не очень светлая комната. В самой глубине ее и в наиболее освещенной ее части возвышался дивный купол римского San Pietro, а перед ним в некотором беспорядке были расставлены, прямо на полу, знакомые мне Исаакиевский собор, Михайловский замок, Петербургская биржа, Смольный монастырь и десяток античных руин. Каждая такая миниатюрная постройка была представлена со всеми подробностями, с крышами, трубами, колоннами, подъездами, колокольнями и шпилями. Вот где воочию я видел город Гулливера! Мне разрешалось пройтись среди этих зданий, из которых не многие превышали мой рост и во внутрь которых я мог заглядывать через окошечки. Часть этих зданий стояла как бы разрезанная пополам, что позволяло различить и внутреннее убранство, местами весьма роскошное. Но выше всех и прекраснее всех казался мне именно собор Св. Петра! Мало того, когда я очутился уже зрелым человеком перед папским собором в натуре, я не ощутил столь же сильного восторга, какой я испытывал ребенком, когда цепенел перед этой «величественной» массой, хотя она и не превышала высоты одной сажени (двух метров). Ничего я еще тогда не знал о «художественном значении» этого памятника, о том, когда и кем он был построен, я имел только смутное представление о том, что это «самая большая церковь на свете» и что она находится в Риме, где живет папа, — не мой папа, а папа римский, «царь всех священников». Этот мой восторг был поистине непосредственным и подлинным! И именно этот восторг от собора Св. Петра, вместе с таким-же подлинным восторгом от Рафаэля, остался как бы путеводным талисманом на всю мою жизнь. Постепенно он отложился в моей душе в целую систему неопровержимых и совершенно для меня ясных аксиом, и каждый раз, когда мной овладевали сомнения в отношении «чего-то главного», я, благодаря этому талисману спасался от деморализации. Впоследствии все эти модели были (благодаря моим же стараниям и после многих лет небреж-

---

деталь, профиль карниза, волюту орнамента. Глядя, как просто он это делает, мне и в голову не приходило, каким редким даром он владеет и в результате каких трудов получилась эта легкость.

ного отношения) расставлены в залах нижнего этажа Академии художеств, но увы, модели Св. Петра среди них не было; она погибла за несколько лет до того в пожаре 1900 года. Она была слишком велика, чтобы пожарные могли ее вынести через единственную дверь той залы, в которой была сгруппирована эта бесподобная коллекция.

Глава 28

ОПТИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ

Всякие оптические игрушки занимали в моем детстве особенное и очень значительное место. Их было несколько: калейдоскоп, микроскоп, праксиноскоп, волшебный фонарь; к ним же можно причислить «Гуккастен» и стереоскоп. Из них калейдоскоп был в те времена предметом самым обыденным. В любой табачной лавочке, торговавшей, наряду с сигарами и папиросами, и дешевыми игрушками, можно было за несколько копеек приобрести эту картонную трубочку, которая на одном конце имела дырку, а на другом матовое стекло. Стоило посмотреть в дырку, как внутри обращенной к свету трубки появлялось удивительное зрелище, благодаря пересыпавшимся цветным стеклышкам, отражавшимся в стенках зеркальной призмы. Пронизанные светом, превратившись в драгоценные камни, эти кусочки, при каждом повороте трубки, соединялись, рассыпались и укладывались во всевозможные новые фигуры. Бывали и дорогие калейдоскопы с металлической трубкой, оклеенной цветной кожей с визирем, который можно было как в микроскопе выдвигать вперед. Но цветные фигуры получались в ней не более удивительные, а к тому же надо было с ними обращаться бережно. И ни в каком случае не разрешалось такую трубку вскрыть и изучить ее внутренность. Напротив, жизнь каждого дешевого калейдоскопа вскоре оканчивалась именно такой операцией. И до чего же было забавно, когда высыпешь на ладонь пригоршню, снова превратившихся в поломанные стекляшки, недавних яхонтов и рубинов!

Микроскоп не был игрушкой. Брат Иша унаследовал его от Альбера, который завел себе более усовершен-

ствованный, но в руках Иши старый Бертушин микроскоп служил еще лучше, нежели у своего первого владельца — ведь Иша был так пытлив, он столько знал, он столькому учился помимо своих гимназических уроков. Однако для такого маленького мальчика, каким был я, микроскоп был, разумеется, игрушкой и игрушкой тем более чудесной, что она никогда мне прямо в руки не давалась. Помню, как Иша бережно кладет на стеклышко пыль, снятую с корки сыра, я же не могу дождаться, когда «это будет готово» и когда, закрыв один глаз и приложив другой к холодной меди, я увижу какой-то очень страшный мир; нечто вроде тех мохнатых чудовищ, которые меня навещали в кошмарах. Да уже не от этих ли сеансов и шло мое представление о рогатых, косматых и до тошноты гадких существах? Меня начинали мучить вопросы, где домики, норки этих зверей, и зачем Боженьке понадобилось создать их, да еще посадить на такую вкусную вещь, как швейцарский сыр?

Вероятно, мало кому сейчас известно, что означает эффектное слово праксиноскоп, а между тем это была та самая штука, которая пол века назад заменяла кинематограф. Мало того, от праксиноскопа, от принципа, лежавшего в основе его, кажется родилась и самая идея живых картин. В своем простейшем виде это был картонный барабан, в котором проделаны узкие, вертикальные надрезы. Внутрь барабана кладется лента с изображениями разных моментов какого-либо действия — скажем, девочки скачущей через веревку, двух дерущихся борцов и т. п. Приложив глаз к одному из надрезов, мы видим только ту часть ленты, что по диагонали круга находится насупротив. Но стоит дать ладонью движение барабану, свободно вращающемуся на штативе, как изображения начинают мелькать и сливаться, а так как каждое изображение представляет уже слегка измененное предыдущее, то от этого слияния получается иллюзия, будто девочка скачет через веревку или, будто борцы тузят друг друга. Разумеется, барабан сделав круг, подводит к тому же месту, к начальной картинке, но неизбалованному тогдашнему зрителю и того было достаточно, что девочка, не сходя с места, всё скакала да скакала, а борцы, оттузив друг друга, снова принима-

лись тузить, пока барабан не остановится. Сюжеты на ленточках бывали и более затейливые, а иные даже страшные. Были черти, выскакивающие из коробки и хватавшие паяца за нос, был и уличный фонарщик, взлезающий на луну и т. п.

Зоотроп — вариант праксиноскопа[1]. Здесь принцип оставался тот же, но видели вы не самую ленту, а отражение ее в зеркальцах, которые были поставлены крест на крест в середине круга. Из картинок этого типа (обыкновенно нарисованных ввиде силуэтов) мне особенно запомнилась вальсирующая пара. Иллюзия того, что эти фигурки вертятся, была полная, причем казалось, что они и рельефно выступают. Этот аппарат нравился мне особенно потому, что он принадлежал к явлениям «из карликового мира» — это лилипутики танцовали мне на забаву, и я мог чуть ли не часами глядеть на такое милое зрелище. Мне кажется, что я перепутал здесь термины: то, что я говорю о праксиноскопе, относится к зоотропу и наоборот. Надо бы проверить по энциклопедическому словарю.

У дяди Сезара был чудесный праксиноскоп с массой лент, но была у него и другая оптическая «штука». Это была большая «иллюзионная камера» — целое сооружение на особом постаменте, в которой большие фотографии, вставлявшиеся в нее и ярко освещенные, получали удивительную рельефность и отчетливость. Окончательная же иллюзия получалась тогда, когда прикрывалось освещение сверху и картины освещались транспарантом, причем день сменялся ночью, на небе оказывалась луна, в воде ее отблеск, на улицах зажигались фонари, Везувий выкидывал (неподвижное) пламя и красная лава текла по его склонам. Самой же эффектной была картина, изображавшая какое-то пожарище (Тюильери, сожженное в дни Коммуны?). Днем вид представлял унылые серые развалины, но на транспаранте они оказывались объятыми бушующим огнем, тысячи искр летели по небу и жутко чернели силуэтами наполовину уже обгорелые стены. Наслаждение, получаемое мною при виде этих

[1] Все эти дико звучащие научные термины не были мне известны в детстве. Для меня все эти аппараты просто назывались «вертушками».

картин было тем более острым, что мне не так-то легко было добиться подобного спектакля. Сам дядя Сезар был слишком занят, чтобы заниматься мной, барышни-кузины или их гувернантки не умели зажигать специальную лампу и переставлять эту довольно тяжелую машину, оставалось прибегать к помощи милого и всегда любезного кузена Жени, но он не всегда бывал дома.

Не меньшей приманкой, нежели этот гуккастен[2] дяди Сезара, служил мне стереоскоп дяди Кости, но о нем я уже рассказал в первой части этих воспоминаний. У моего папы был тоже стереоскоп, но более скромный, более примитивный и лишенный удобства «манипулирования». Зато карточки, которые были у нас в доме — являлись особого рода редкостями стереоскопии. Это не были фотографии, а раскрашенные литографированные рисунки — теоретически скомбинированные так, чтобы разглядывание их в два стекла давало слитый рельефный образ. «Предрасположение» мое к стереоскопии сказалось в том, что я и этими «отвлеченными» образами мог упиваться часами. Особенно меня восхищало то, как геометрические построения, напоминавшие те формы в которых подавалось в те времена мороженое или пеклись парадные торты, лепились, вырастали так, что, казалось, — они вот-вот коснутся моего носа! Иные же удалялись в бесконечную даль.

В сущности «штука», которая меня так восхищала у дяди Сезара, была тем же, только усовершенствованным гуккастеном, с которым еще ходили в моем детстве «раешники» по улицам Петербурга. Пять или шесть таких раешников забавляли нетребовательную публику и во время Масляничного гулянья на Марсовом поле, да и редкая деревенская ярмарка обходилась без того, чтобы не появлялся один из этих «разносчиков зрелища». Ходили раешники и по дворам, и тогда к коробке его прилипали дети самых различных классов, ибо всем было

[2] Это немецкое слово гуккастен не было употребительно в моем детстве; его заимствовал я из записок А. Т. Болотова (18 в.), который любовно останавливается на том, как он такой гуккастен устроил у себя на квартире во время стоянки русских войск в «губернском городе» Кенигсберге. Товарищи, глядевшие в него, верить не хотели, что перед ними лишь нарисованные изображения, а не действительность...

настолько интересно поглядеть через большие круглые застекленные отверстия на картинки, вставлявшиеся внутри коробки. Особенно заманчиво было послушать потешные пояснения к ним дававшиеся раешником. Картинки русских гуккастенов были самые незатейливые, кое-как раскрашенные, а то это были просто иллюстрации, вырезанные из журналов и наклеенные на картон. Зато чего только не «врал» раешник! Запомнились особенно классические пассажи: «Вот город Амстердам, в нем гуляет много дам». «А вот город Париж, приедешь и угоришь, французы гуляют, в носу ковыряют». Про королеву Викторию гласило так «А вот город Лондон, королева Виктория едет, да за угол завернула, не видать стало». Хороший раешник знал десятки всяких прибауток, причем он их вариировал, стараясь потрафить вкусу данного сборища публики или даже высказаться на злободневные темы. Бывало, что он и такое «наврет», что «дамы» — горничные, швеи или просто какие-либо девчонки — шарахались в сторону, и, прыская от смеха, закрывались передниками. В газетах высказывалось возмущение такими непристойностями раешников (причем, надо сказать, что самые картинки были всегда самого невинного характера), я же тогда этих непристойностей просто не понимал, и если что меня влекло к коробке раешника, то это больше как бы самый «принцип» — вот увидать хотя бы дрянную картинку, но в таких условиях, которые придавали ей характер чего-то волшебного. Однажды меня так затолкали «уличные мальчишки», желавшие увидать то, чем я любовался, что я упал и больно ударился при этом о коробку. Такая бесцеремонность меня до того рассердила, что, не успев сообразить до чего опасно вступать в бой с этими маленькими разбойниками, я схватил свою шапку и стал бить ею по их физиономиям. Это, кажется, единственный случай в моей жизни, когда я уподобился Роланду, причем к собственному удивлению, я вышел из этого испытания с честью — правда при поддержке дворника Василия.

Из всех оптических игрушек, когда-то меня пленивших, не было ни одной столь замечательной и значительной, нежели Волшебный фонарь. Два этих слова вызывают и по сей день во мне особые ощущения. Впрочем, в

родительском доме, в котором французский и русский языки имели одинаковые права и в котором очень многое называлось иностранными словами — выражение «Волшебный фонарь» не было в таком ходу, как слова: Lanterne Magique или по-латыни — Lanterna Magica.

Самый аппарат у нас был неказистый и стоял он на полке рядом с прочим детским скарбом, но и он обладал способностью вызывать в темной комнате на пустой белой простыне самые удивительные образы; в те времена, не знавшие кинематографа, этого было достаточно, чтобы возбуждать в зрителях (и не только в детях) восторг. Стоило зажечь лампу, помещавшуюся внутри жестяной коробки, вставить в «коридорчик» между лампой и передней трубкой раскрашенное стеклышко, как на стене появлялись чудесно расцвеченные, совершенно необычайных размеров картины!

Характеру волшебной таинственности Лантерны-магики, особенно способствовало то, что эти представления должны были, по необходимости, происходить в темноте. Темнота настраивала на особый лад. Темная комната — страшная комната. Когда мне случалось проходить вечером одному через темную нашу залу, я предпочитал идти, зажмурив глаза и находить путь ощупью, только бы не увидеть «чего-либо такого, от чего можно помереть со страху». А вот тут эта враждебная и страшная темнота оказывалась желанной и заманчивой. Да она уже никому более из детей и не казалась страшной, раз в темноте набиралось столько народу и со всех сторон во мраке доносились знакомые голоса, смех, вспышки ссоры или сдержанное хихиканье. В таких условиях не страшно даже и пугнуть другого — подкрасться к кому-нибудь и внезапно схватить его за ногу или дернуть за косу.

Уже самые приготовления к «сеансу» Волшебного фонаря вызывали волнение. Вот старшие братья устанавливают на табурете «машину». К стене прикалывается простыня, мы же зрители устраиваемся на собранных со всех углов стульях, а кое-кто и впереди, просто на полу. Домашняя традиция требовала, чтобы на этих спектаклях непременно присутствовала прислуга и в первую голову наши две горничные Степанида и Ольга

Ивановна. Присутствие их было особенно желательно мне. Если бы я знал в те времена что либо о греческой трагедии, я бы сравнил их роль — с ролью античного хора. Они наперерыв старались выражать свое изумление, восторг или сожаление перед всем, что появлялось на простыне, и хотя бы они видали это много раз и знали всё наизусть, их ахи и охи необычайно усиливали наше собственное настроение...

Но вот зрители все разместились, впереди малыши, позади кто постарше. Лампа, стоявшая на столе перед диваном, вынесена в другую комнату, и двери плотно, плотно закрыты, и тогда кажется, что вся комната погрузилась в непроницаемую тьму. Однако прежде, чем что-либо появилось на простыне, начинает сильно попахивать копотью — лампа в фонаре имеет неисправимую привычку дымить. Пахнет и накаленной лаковой краской, которой покрыта жестяная коробка, но эти ароматы способствуют только мистике момента. Тут же неизменно в начале сеанса повторяется одна и та же сцена. Мама заглядывает через приотворенную в темноту дверь и встревоженным голосом произносит фразы: «Mon Dieu, que cela sent mal!..» «Смотрите дети, будьте осторожны, как бы не наделать пожара!» Это вторжение трезвого благоразумия раздражает. Все в один голос протестуют, но с другой стороны становится как-то и лестно. Оказывается, что наше таинство связано с какой-то опасностью. Это *мы* можем наделать пожар, это *наше* колдовство может закончиться всамделешней ужасной катастрофой! Такая перспектива почему-то даже веселит.

Но вот на простыне появился большой, правильный светлый круг и в этот круг сбоку наползает первая, выросшая в громадную величину, картина. Раздаются крики! Произошла «вечная» ошибка. Стеклышко неправильно вложено и изображение появилось вверх ногами; распорядители полушопотом обмениваются упреками. Но далее всё идет как по маслу и оттого что на секунду мы увидали хорошо знакомый образ опрокинутым, иллюзия от спектакля нисколько не нарушается.

Наши сеансы волшебного фонаря обычно начинались со сказки про «Спящую красавицу». У трона стоит колыбель новорожденной принцессы; ее окружают ко-

роль с королевой и несколько фей. «Это добрые феи», — поясняет картину Миша, что, однако, давным-давно всем известно. Но почему же феи отвернулись от младенца и с ужасом глядят в одну сторону? Объяснение появляется тут же, ибо по мере того, как феи продвигаются влево и исчезают за круглым краем, справа вылезает, длинный крючковатый с бородавкой нос Карабосихи и ее протянувшаяся с грозящим пальцем рука. Ах, зачем ее не пригласили! Следующий эпизод. Горбунья, окруженная пламенем, творит свое проклятое колдовство, она зловеще подняла палочку и напрасно ее умоляют о пощаде другие феи и царственные родители. Принцесса заснет от первого укола и будет спать целых сто лет... В дальнейшем, увы, историю прерывают весьма досадные пропуски. Так, выросшая писаной красавицей принцесса входит в комнатку к старушке, сидящей за веретеном, но от следующей самой фатальной сцены — сохранились лишь полруки и веретено — остальное погибло от падения стекла на пол. Или вот принц привязывает своего коня у ворот заросшего шиповником замка, но от сцены, где он целует спящую принцессу, видно было только изголовье роскошной кровати и ее, увенчанная короной головка.

Сказочная часть программы на этом не прекращалась. Вслед за «Спящей красавицей» скользили по светлому кругу истории про «Мальчика-с-пальчика», про «Золушку» или про «Кота в сапогах». Стекла эти были не так давно куплены, они были целы и горели всей яркостью своих красок. Зато в конце сказочной серии обязательно показывалась одинокая картина, про которую никто уже не помнил, к чему она когда-то относилась (это стекло сохранилось еще со времени детства старших братьев). Но фрагмент этот производил потрясающее впечатление. То было погребальное шествие. Густой толпой, голова к голове, выступали благородные синьоры в «средневековых» костюмах, а сейчас за ними продвигался и самый несомый на плечах гроб. Кто лежал в нем, какому полу и возрасту принадлежали его останки, никто не знал, но нельзя было сомневаться в том, что то была особа царского рода, так как провожали ее коронованные персонажи, да и на гробу лежала корона. Если

Альбер оказывался с нами (несмотря на свои двадцать лет и на свою бороду, он не меньше нашего наслаждался таким спектаклем), то он осторожно пробирался к роялю, бесшумно отворял крышку и принимался под сурдинку играть траурный марш Шопена... И до чего же эти звуки способствовали усилению впечатления!

Были в нашей коллекции картинок для фонаря и видовые сюжеты. Стоили они дороже других, так как они были вделаны в дерево и тонко раскрашены от руки. Несколько из этих «драгоценностей» пережили всех своих более ломких товарищей и две из них я хранил и в позднейшее время наряду с другими наиболее трогательными сувенирами детства. Разглядывая их на свет, я каждый раз испытывал магическое их действие. Происходившее более чем полвека назад восставало передо мной, как живое, и мне даже начинало казаться, что я снова слышу знакомые шорохи в потемках и вдыхаю копотный запах.

То были: «Вид в Саксонской Швейцарии» и «Капелла зимой при луне». Особенно хороша была Капелла. Благодаря не особенно хитрому трюку, двери ее отворялись, и тогда внутренность оказывалась залитой светом. Уверяю вас, что, отдаваясь в детстве наслажденью от разглядыванья этих картинок, я испытывал чувство бесконечно более сильное и глубокое, нежели то, которое теперь дает и очень усовершенствованный красочный фильм. Ведь всякое произведение искусства, будь оно самое наивное, становится прекрасным, раз оно находит доступ в душу — а говорить нечего, что «Капелла зимой при луне» доступ этот находила, и даже в такой степени, что у меня навертывались слезы умиления.

Сеанс завершался комическими номерами и «вертушками». Комические стекла изображали всякие гротескные рожи (иные из них представая на простыне в исполинских размерах не только смешили, но и пугали) или то были целые движущиеся сценки. Стоило, например, дернуть за ручку, торчавшую из-за деревянного обрамления стекла, как вмиг у повара на блюде вместо свиной головы оказывалась его собственная, а на его толстенной фигуре появлялось свиное рыло. Был и такой еще сюжет: мальчик весело катается по льду, но дернешь

за ручку, и он уже в проруби, из которой торчат одни лишь ноги. Эффектнее всех была картинка, изображавшая жирного купца, угощающегося блинами; один блин за другим попадал в широко разинутую его пасть и у нас на глазах пухла его утроба. Боже, какой смех вызывала эта примитивная юмористика.. Хохотали дети, но пуще других хохотала почтенная Ольга Ивановна, причем вероятно для богомольной, стародевичьей постницы в этой картине было и нечто соблазнительное.

Вертушки служили апофеозом сеансов. Они представляли в них «чисто эстетическое начало». В своем роде это были эмбрионы тех причудливых разводов и тех красочных окрошек, которыми нас теперь услаждают разные авангардные беспредметники вроде Леже, Кандинского, Маркусси, Миро, Массон и т. д. Но у их эмбрионов было большое преимущество перед новомодными проявлениями того же художественного принципа: эти окрошки двигались, они вращались и сочетались в самые неожиданные «красочные симфонии». Одни при вращении производили впечатление, точно они разбрасывают узоры во все стороны и притом налезают на зрителя; другие, напротив, как-то всасывались внутрь и представляли собой подобие воронок или мальштремов. В обоих случаях оставалось непостижимым, откуда берется такая неисчерпаемость цветистой материи и куда она проваливается. При вертушках тоже требовалась музыка, причем «оператор» изощрялся, чтобы рисунок движущихся арабесок совпадал с ритмом звуков. Когда я сам научился производить кое-что складное на фортепиано, то я с особым удовольствием брал на себя роль такого музыканта. Не знаю, получали ли большое удовольствие от моих импровизаций слушатели, но сам я впадал при этом в своего рода транс. Мне начинало казаться, что это я вместе со звуками произвожу всю эту красоту.

Всё до сих пор рассказанное относится к фонарю, служившему еще моим братьям. Он был небольшого формата, стенки местами были продавлены, а труба давно потеряна... Но на елку 1878 года я себе выпросил новый собственный фонарь и уже это было нечто несравненно более эффектное и внушительное. Коробка фонаря была вдвое больше, увеличительное стекло было

снабжено диафрагмой, свет лампы обладал силой достаточной, чтобы, при круге, достигавшем до потолка, образы оставались яркими и отчетливыми. Тогда же мне были подарены, вместе с новыми сериями сказочных стекол, помянутая «Капелла зимой» и еще какие-то пейзажи, которыми я особенно любил поражать своих маленьких гостей. Но мог ли я тогда думать, что я еще увижу, благодаря волшебному фонарю, и такие «оптические иллюзии», в которых всё изображенное будет двигаться, в которых и даже самые фантастические сказки будут развертываться во всём очаровании красок, пения, музыки и словесных диалогов?.. Что бы сталось со мной, если бы в 1878 году на семейной елке новенький фонарь показал бы на белой стене нашей залы — то, что теперь может видеть где угодно и сколько угодно даже и весьма малоимущий ребенок?

Глава 29

ЛЮБИМЫЕ КНИЖКИ

Моей первой книжкой был, несомненно, «Степка-растрепка», в оригинальном немецком издании Der Struwelpeter. Каким-то необъяснимым чудом этот же самый, уже до меня служивший братьям экземпляр, сохранился до сих пор и находится здесь со мной в Париже. Когда-то более чем восемьдесят лет тому назад мой Степка-растрепка лишился своего оригинального картонажного переплета и с тех пор его заменяет обложка собственного папашиного изготовления из зеленой «мраморной» бумаги. Внутри книжки тоже не всё благополучно, некоторые листы надорваны, целая страница в одной из историй отсутствует совершенно, а именно про мальчика-ротозея... Но в детстве я так привык к отсутствию начала этой истории и так научился добавлять воображением то, что предшествует моменту, когда ротозей попадает в воду канала, что когда я в цельном экземпляре «Степки-растрепки» увидал полную версию этой истории, я был даже как-то разочарован.

А вообще какая это чудесная книжка — ныне забракованная специалистами в качестве антипедагогической. Известно ее возникновение. Автором ее был детский доктор, который для забавы своих маленьких пациентов рассказывал им сказки, снабжая их тут же примитивными иллюстрациями. Кому-то пришло в голову собрать эти истории и побудить доктора издать их — и вот успех получился совершенно неожиданный. Книга оказалась сразу в руках у всех мамаш, нянюшек и самих ребят, и с тех пор издание книги было повторено бесконечное число раз; мало того, она переведена на *все* языки! Существовала и русская версия (она-то и назы-

валась «Степкой-растрепкой»), но то было не дословное повторение, а скорее своеобразный вариант со внесением в него специфически русских бытовых черт. В чисто художественном смысле рисунки в русском издании, принадлежащие известному иллюстратору 40-х и 50-х годов Агину, превосходят рисунки оригинала.

Чудесное свойство «Штрувельпетера» заключается в совершенной его убедительности. Сколько вообще нарисовано на свете всяких фигур и сцен на забаву и поучение малышей, какие отличные художники отдавали иногда свои силы этой задаче — и однако ничто так не убеждает, ничто так не поражает воображение ребенка, как те наивные фигуры и нелепые сцены, из которых состоит «Struwelpeter» доктора Гофмана. Впрочем, и самому автору этой «архигениальной» книжки не удалось затем достичь такой же силы художественного воздействия. Существует еще несколько детских книжек того же автора и в них рисунки сделаны пожалуй старательнее, исполнение обладает большим совершенством, но ни одна из этих, в своем роде тоже очаровательных, книжек («Bastian der Faulpelz», «Im Himmel und auf Erden») не может сравниться с первым созданием благодушного медикуса, так удивительно потрафившего вкусу и воображению детей. И до сих пор каждая из фигур «Штрувельпетера» для меня представляет нечто совершенно живое и как бы даже реально существующее. В детстве же я верил, что улицы, по которым пай-мальчик дает себя вести за ручку своей маменьке есть наша Большая Морская и что канал, в который свалился Ротозей, соседний с нашим домом Крюков канал. Да и «парадная» лестница, на которую вышла дама, запрещающая своему сыну сосать палец, — была для меня нашей парадной, а дверь, из которой вылетает страшный портной, — это дверь наших соседей Свечинских! Именно то, что есть в этих рисунках наивного и чистосердечно обобщенного, — то самое дозволяет детскому уму добавлять эти картинки личным воображением. Я бы не запомнил столь многое в «Штрувельпетере», если бы на картинках было больше подробностей. Но кроме того, дети отлично разбираются в так называемой «художественной правде», хоть ребенок и не имеет понятия о смысле этих слов. В

«Штрувельпетере» есть именно та самая подлинная непосредственность, которая подкупает детскую фантазию и подкупает настолько, что ребенок не отдает себе отчета в нелепостях и неточностях, а эти нелепости и неточности он исправляет и дополняет благодаря особой яркости своих первых восприятий жизни...

Наконец, сюжеты «Штрувельпетера» вполне подходят к ребяческим интересам и в сущности содержат, как бы в эскизах, некий «компендиум живой драмы». Что всё это преподнесено в дурашливом виде, вовсе не лишает убедительности и лишь смягчает силу впечатлений, которые без того могли бы «ранить» воображение и оставить в нем болезненные следы. Специалисты педагогики это-то и проглядели, когда они забраковали «Штрувельпетера». Жестокого и страшного каждый, и даже наиболее оберегаемый, ребенок, видит достаточно вокруг себя — но его охраняет какая-то специфически детская душевная броня. Он видит всё иначе, по-иному, в известном смягчении, и самое ужасное становится благодаря тому «почти приемлемым». Именно такой «приемлемый ужас» присущ и историям «Штрувельпетера». Всё страшно, многое даже жестоко, но «манера» с которой это поднесено, та детскость, что была в авторе и чем насыщены его рисунки, это делает страшное и жестокое забавным, ничуть не подрывая убедительности.

Моей симпатии к «Штрувельпетеру» я остался верен на всю жизнь. Если впечатления от разных классических картин, в частности, от Рафаэлевских стансов (о чем дальше), способствовали образованию моих «эстетических основ» (в глубине души — и несмотря на весь мой эклектизм, я всё же «классик»), то «Штрувельпетер» утвердил во мне способность чувствовать и распознавать правду и именно правду художественную, иначе говоря такую, которая более правдива, нежели и самый точный объективный «фотографический документ». На такой основе выросла затем моя симпатия и к Людвигу Рихтеру, и к Дорэ, и к Бушу, и к Оберлендеру, позже к Ходовецкому и к Менцелю, к Брейгелю, к нидерландским и французским примитивам, к итальянским кватрочентистам, к Рембрандту и т. д., и т. д. И наоборот, я особенно чуток к распознаванию лжи в искусстве, тогда

как за внутреннюю правду и подлинность я готов простить какие угодно недостатки и недочеты. Наконец, к своему собственному творчеству я был потому строг, временами даже несправедлив, — что слишком часто сознавал в нем отсутствие того дара непосредственности, которым мне особенно хотелось бы обладать. Если, оглядываясь назад на свое творчество, я из него решился бы что нибудь спасти, то сюда не попали бы те картины, которые принесли мне в свое время наибольший успех и что в момент их создания казались мне удовлетворительными, а напротив то скромное, наивно непосредственное, что меня подчас роднит с автором «Штрувельпетера».

Любимой книжкой после «Степки-растрепки» была в раннем детстве (тоже немецкая) история про путешествие какого-то «дяди Швальбе» на воздушном шаре. В очень ясных и на сей раз «академически умелых» картинках мы видим, как любитель-путешественник подымается над родным городом и при этом якорем зацепляется за церковного петуха, которого и увозит с собой в поднебесье. После разных похождений мы попадаем с ним на макушку Египетской пирамиды, куда к нему приползает крокодил и, наконец, мы переселяемся на луну, внутри которой имеется уютнейшая комнатка. В ней аэронавт, в обществе лунного сторожа, подкрепляется сыром и пивом, но, в конце концов, сторож выбрасывает Швальбе в черную пустоту. Всё это чистейшая чепуха, но почему-то она оказывала удивительную притягательную силу. Уж не шевелились ли в мальчике 1870-х годов инстинкты воздухоплавания, приведшие последовавшие поколения к овладению воздухом?

Такими же вернейшими спутниками моих детских лет, как Степка-растрепка и дядя Швальбе были еще три книги, о которых я не могу умолчать. Одна из них познакомила меня с «моим другом» Арлекином, другая — ввела меня в царство музыки, а разглядывая третью — я переносился в древний классический мир, — в его божественную ясность и гармонию. Название первой книги я не помню. Она еще в детстве исчезла из нашего обихода и сколько я ни старался потом ее разыскать у букинистов, мне это так и не удалось. Вероятно, она при-

надлежит к большим библиографическим редкостям. Однако я отчетливо помню каждую из картинок и мне сдается, насколько можно доверяться детским воспоминаниям, что эти картинки имели нечто общее с Домье. Одно несомненно — то были литографии и притом раскрашенные[1]. Из отдельных проделок Арлекина (именно им и посвящена вся книжка) мне особенно запомнилась одна с протянутым шнурком через улицу. На одной картинке Арлекин занят приготовлением своей злой шутки, но уже вдали виднеется фигура Кассандра, медленной походкой придвигающегося к фатальному месту; во второй Арлекин, спрятавшись за углом, натянул шнурок и почтенный старец, споткнувшись об него, летит вверх тормашками. Другие проделки (вроде кражи всякой снеди) носят еще более «преступный» характер, и кончается история уже совсем плохо. Арлекина судят и приговаривают к повешению, но к счастью палач, движимый жалостью, освобождает его от петли, и на последней картинке Арлекин бежит со всех ног по полю с черной маской на лице — дабы отныне никто не мог его узнать. Вдали же на горизонте, виднеется виселица с каким-то болтающимся тряпьем.

Об Арлекине я еще буду говорить, рассказывая про балаганы, но и здесь будет кстати сказать два слова о моем культе Арлекина, о моей настоящей влюбленности в эту странную фигуру. Я видел о нем сны, я сам мечтал «стать Арлекином», я обожал маленького арлекина, фигурировавшего среди фантошек, привезенных мне бабушкой из Венеции, и всем этим культом Арлекина (которому я, несмотря на его современное опошление, остался верен до сих пор) — я обязан «силе» впечатлений, полученных именно от данной книжки. Несомненно, что не получи я их вначале дней своих — я бы не считал Арлекина «своим другом» и даже чем-то вроде своего доброго гения. И как раз этот образ юного, прелестного существа — остался для меня «подлинным», тогда как,

[1] Эти строки были давно написаны, когда совершенным чудом я в Фонтенебло у уличного букиниста на рынке нашел-таки эту книжку. Называется она «Fourberies d'Arlequin» и иллюстрации действительно прелестные, принадлежат карандашу художника Baric.

познакомившись впоследствии с «основным видом» данного персонажа из Итальянской комедии, я огорчился и как-то обиделся за своего героя. Арлекин — с бородой, Арлекин-бродяга, Арлекин, смахивающий на уродливого арапа! Впрочем, почему не считать, что и на картинах Ватто или Жилло под уродливой маской с черным подбородком (или даже с бородой) скрывается тот же милый, поэтичный образ моего лукавого красавца и что этот проказник вовсе не чужд благородных побуждений. Когда в балаганных представлениях я видел, что феи балуют его и даже дарят ему волшебную палочку, я вовсе не удивлялся этому и принимал это как нечто, Арлекином вполне заслуженное...

В папиной библиотеке было очень много иллюстрированных книг, но в те времена раннего детства огромное большинство внушало мне лишь «решпект», не далекий от отвращения (особенно неприязненно я относился к большущим архитектурным фолиантам, в которых было столько планов и чертежей). Но было несколько книг, которые я любил и которые я особенно часто требовал, чтобы мне их показывали. На первых местах среди этих любимцев из папиной библиотеки стояли «Похождения Виольдамура» и «Душенька» — две русские книги, состоявшие из одних картинок, тогда как текст к ним находился совершенно в другом месте и был напечатан на страницах другого формата. Впрочем в тексте я и не нуждался. Повесть «казака Луганского» о Виольдамуре я так и не удосужился прочесть, даже впоследствии, а «Душеньку» Богдановича хоть и прочел, но тех впечатлений, которые возникали во мне от рисунков Федора Толстого, я при этом чтении не получил; мало того, текст после рисунков показался мне пошловатым и глуповатым.

Картинки «Виольдамура» принадлежат перу остроумного и наблюдательного любителя-художника Сапожникова, издавшего эти оригинальные литографии пером в 1840-х годах. Еще до чтения повестей Гоголя, когда я не имел еще понятие об его «эпохе», во мне, благодаря этой серии картинок, создалось полное представление о Гоголевском Петербурге, который был когда-то и «папиным», когда папа был молодым человеком.

Сама повесть заключается в следующем. Родители Виольдамура прочили его в гении, он и превзошел науку музыки, выучившись играть на всевозможных инструментах; это, однако, не помешало жестокой неудаче сопровождать его до самой гробовой доски. Да и доски-то ему не удалось получить — он умер в нищете на улице и место его вечного упокоения было отмечено всего только еле заметным холмиком. Верная же его собака (о, как я любил этого Аршета), которую Виольдамур когда-то щенком спас из воды, не пожелала пережить своего горемыку-хозяина и тут же на могиле издохла.

Вообще горемычных историй я терпеть в детстве не мог и прямо даже ненавидел те специфические горемычные истории, которыми уже тогда русские педагоги-писатели и писательницы считали долгом кормить юношество, якобы воспитывая в нем сострадание и другие благородные чувства. Надуманность и ложь этих писаний я угадывал инстинктивно и протестовал, если кто из больших пытался мне прочесть подобную историю. Но Виольдамур был чем-то совсем иным. Во-первых, это была книга для взрослых, затем это была «смешная» история — смех сквозь слезы или вернее слезы сквозь смех. Мне было очень жалко Виольдамура, но не для возбуждения жалости была эта история сочинена, и художник, ее иллюстрировавший, меньше всего заботился именно о жалости. Ему было интересно наглядно представить, «как всё это произошло», и объективизм автора выражается в том, что его образы взяты прямо из жизни и что они похожи на самое обыденное и чрезвычайно типичны.

Особенно меня занимала серия сцен, в которых Виольдамур переходит от одного инструмента к другому, каждый раз возбуждая всё более или менее громкую реакцию в своем воющем псе. Инструменты, имеющие вообще для детей особую притягательную силу, были изображены со всей присущей каждому «жутью». Далее замечателен был эпизод с концертом Виольдамура — как его приятели на все лады, и даже под угрозой пистолета, навязывают прохожим билеты и как несчастный виртуоз в элегантнейшем фраке и по моде завитой выходит на эстраду перед рядом именитых слушателей. Но

не восторг возбудило его выступление, а негодование, ибо они, вместо арии, услыхали лишь поперхивание и кашель. Несчастный как раз перед концертом жестоко простудился! Не менее захватывал любовный эпизод — особенно момент, когда Виольдамур в замочную скважину пытается увидать то, что происходит в квартире возлюбленной и вдруг получает удар по носу от отворившейся двери, через которую на лестницу выступает его счастливый соперник. Более же всего я трепетал перед картинкой приготовления Виольдамура к самоубийству. Для того, чтобы особенно поэтично обставить свою кончину, непризнанный гений завесил комнату траурной драпировкой, а сам, надев на манер факельщиков, широкополую шляпу с флером, уселся в гроб, собираясь с выражением трагического восторга писать свой собственный Реквием.

Мне кажется, что и в своем искусстве я весьма многим обязан подобным детским впечатлениям. Эти рисунки Виольдамура, так характерно отражающие мещанский быт Гоголевского Петербурга, дожившего с незначительными изменениями и до моего детства, казались мне совершенно близкими. Подобно тому, как я с детства «дружил» с Арлекином, я был «знаком» со всеми этими музикусами, понимал их чувствования и переживал с ними их радости и горести. Вместе с тем сцена писания Реквиема явилась одним из звеньев в той цепи, которой оплетена вообще моя жизнь. Когда Смерть явилась за моим братом Ишей, чтобы оторвать его навеки от нас — я не понял, кто Она и какова Ее роль в жизни и в природе. Но вот в картинке реквиема Виольдамура я почему-то ощущал некое «эстетическое значение смерти», ее красоту и она притягивала меня, хотя в то же время и пугала мучительным образом.

И еще вот что удивительно — даже в лучезарной, напитанной истинно эллинским духом, серии излюбленных мной рисунков графа Ф. П. Толстого к «Душеньке» Богдановича — меня, пожалуй, более всего приковывала та сцена, где Душенька встречается со Смертью. Я всё любил в этом замечательном и чудесном творении русского поэта-художника, столь высоко вознесшегося над своим литературным вдохновителем. Обворожительно

прекрасно в нем всё, что передает женские чары, прелесть любви, дивные видения царства Венеры, Олимпа, чертоги Амура и т. д. Но среди всей этой «райской симфонии» — гениальной паузой, страшной угрозой того неминуемого конца, «который ожидает всякого», является именно момент, когда Душенька в отчаянии от утраты, по собственной вине, своего супруга (Амура), на коленях умоляет костлявое «чучело с плешивой головой», чтобы оно скосило и ее той косой, которой оно подрезает степные травы, олицетворяющие всё живое на земле.

Опять-таки может показаться мало педагогичным, что мне, четырехлетнему, пятилетнему мальчику давали в руки такие книги! Впрочем, когда я говорю давали, я выражаюсь неточно, ибо мои маленькие руки никак бы не могли взять и удержать такой огромный альбом, как «Душенька», который в раскрытом виде имеет по крайней мере полтора аршина ширины. Мне его не давали в руки, а папа клал альбом на стол, меня же усаживал на стул, подложив одну или две подушки. При этом, бывало, происходил и маленький диспут между родителями. Мамочка находила, что мне вредно глядеть на такие картинки «qui pourraient lui donner des idées». И она не ошибалась, я не равнодушно глядел, как Душенька «совершенно голенькая» входит в воду купальни или как она позже, без единого покрова, лежит в объятиях своего супруга под завесой, распростертой крылатыми детьми. Ничего еще не зная о любовных утехах и имея даже весьма сбивчивое представление о поле я, глядя на эти картинки, несомненно «отравлялся», «подпадал известной отраве». Но, если взглянуть на дело с другой стороны, то и папочка, едва ли отдавший себе отчет в «опасности», был по-своему прав. Его глубоко художественной натуре доставляло удовольствие то, что эти изображения мне нравились. Внутри себя он должен был чувствовать, что, глядя на эти образы, я, как бы готовил в себе известный фундамент, на котором могло бы вырасти в дальнейшем «всё сооружение моего художественного развития». Если при дальнейшем росте этой постройки папа утратил контроль над ней, то виной этому явилась слишком большая разница в годах между

нами а также и то, что по своему воспитанию он принадлежал к совершенно иной эпохе, нежели годы моего отрочества и юности...

Вообще вопрос о том, в чем должно заключаться воспитание художника — точнее какое воспитание полезнее всего для тех, которые призваны развиваться в художников — вопрос этот остается для меня и до сих пор неразрешенным. Одно можно только сказать — про художников (точнее про тех, кто готовятся стать художниками), что для них общий закон не писан, а писан иной закон. Им нужна своеобразная «эстетическая и моральная гигиена». Я при этом вовсе не имею в виду какое-либо преимущество художественных натур перед другими; не в том интерес, — выше ли, ниже ли стоит художник по сравнению с другими людьми, а в том, что, несомненно, он обретается в какой-то иной плоскости и, пожалуй, именно в этом весь смысл его существования. Моральное развитие художника должно идти своим особым путем и этот путь лежит в иной сфере, нежели моральное развитие «простых смертных». Вся его натура так устроена, что даже в самом своем бессознательном периоде он по-особенному выхватывает из окружающей жизни то, что ему может «пригодиться». Бывает, что сопротивление окружающей среды этому процессу только усиливает такую страсть к выхватыванию. В моем случае сопротивление мамочки было очень слабым и я лично с ним просто не считался, а «поощрение» папочки было очень деликатным и благодаря этому я мог развиваться согласно тем импульсам, которые лежали внутри меня и которые определили весь мой жизненный путь.

Я сейчас не стану останавливаться на всех литературно-художественных увлечениях своих детских лет, но для полноты я всё же не могу не упомянуть о моих любимых сказках Перро, Эмиля Сувестра, госпожи д'Онуа и Андерсена, о Мюнхаузене, а также о «романах» графини де Сегюр. К десяти годам моими любимцами становятся сокращенные романы Финимора Купера, «Робинзон Крузо», и Жюль Верна, «80.000 верст под водой» которого была первая самостоятельно мной прочитанная книга.

Из всех французских сказок моими любимыми были

«Мальчик-с-пальчик», «Белая кошечка» и «Чудовище и красавица». Первая из этих сказок, которая, как и многие другие, была мне известна и во французской и в немецкой редакции, вызывала очень странную смесь бесконечной жалости и какого-то неоосознанного «садизма». Я переживал все ужасы вместе с заблудившимися ребятишками, от которых, ожесточившиеся в нужде родители, предпочли избавиться, но я почему-то был не прочь, чтобы Людоед, хотя бы одного из них пожрал, и я откровенно радовался тому, что он зарезал всех своих прекрасных дочерей, имевших странную привычку спать с коронами на голове. До одури я мечтал об обладании семиверстными сапогами Людоеда, хотя и считал весьма неудобным каждым взмахом перелетать все семь верст без возможности по дороге остановиться, где захотелось бы. При моем обожании кошачьего царства (вечно у меня был под рукой котенок, которого я мучил своими исступленными ласками), сказка об очаровательной принцессе, превращенной в белую кошечку, доставляла мне несказанное удовольствие, и я не уставал ее слушать в мамином чтении (иногда среди ночи, в долгие часы бессонницы). Впрочем, мое обожание (я настаиваю именно на этом слове) кошек не совсем согласовалось с «благополучным» исходом сказки. Я бы на месте принца, явившегося освобождать кошечку-принцессу предпочел бы, чтобы так она и оставалась кошкой, тогда как в том, что он всё же сдавшись на ее убеждения, решился отрубить ей голову, я видел не только жестокий, но и в некоторой степени неблагоразумный, ненужный для счастья поступок. Самой же любимой историей, самой страшной и в то же время самой пленительной, — была для меня сказка о «Чудовище и красавице». Без содрогания я не мог глядеть на картинку Берталя в томике «Bibliothèque Rose», когда над обнимающим обреченную дочку отцом подымается косматая лапа чудовища. Я вполне понимал и чувства этой девушки, которая, будучи тронута беспредельным вниманием к ней чудовища, в конце концов из жалости и для того, чтобы его утешить, признается ему в любви. Эта сцена одиноко страдающего под кустом кошмарно безобразного рогатого существа, которое удалилось в сад с роскошного бала, дан-

ного им в честь пленившей его девушки, — трогала меня до слез и мне впоследствии всегда казалось, что это превосходный сюжет для театра.

Многие сказки Андерсена принадлежали тоже к моим любимым, но не те, в которых чувствовались какие-то «моральные» тенденции. Иные из них я и вовсе не ценил, хотя мамочка, из педагогических соображений, старалась мне разъяснять все те прекрасные мысли, которые в них вложены. Зато «менее осмысленные» сказки Андерсена про «Стойкого оловянного солдатика», про «Дорожного товарища», про «Старый дом» и более всего про «Русалочку», — принадлежали (да и до сих пор принадлежат) к любимым мной особенно нежной любовью. И во всех них странная смесь печальной драмы с чем-то радужным и чудесным являлась главной основой их трогательности. В «Солдатике» (как в Гулливере или в «Щелкунчике» Гофмана) я, кроме того, особенно ценил прелесть всего этого миниатюрного игрушечного мира. В «Русалочке» меня пленила смесь горького со сладким, а также то переплетение всяких миров, к которому почему-то в детстве особенно влечет. В частности, мир подводный меня необычайно притягивал, и я не раз, купаясь в Финском заливе, рисковал захлебнуться пытаясь долго оставаться под водой и воображая, что я уже в царстве морского царя, у которого такие очаровательные дочки. Что у последних рыбьи хвосты, вместо ног, меня не смущало; напротив, я бы сказал, что это даже сообщало этим особам, в существование которых я абсолютно верил, особую прелесть. Вообще в детстве, да и позже я был очень жаден до вещей фантастических с примесью чего-то жуткого или даже ужасного. На этой склонности построена и моя любовь к Э. Т. А. Гофману, с которым я познакомился, когда мне было пятнадцать лет. На этой склонности покоится и моя нежность к книжке Эмиля Сувестра «Le Foyer Breton», в которой этот типичный для эпохи Juste Milieu автор, передает всякие бретонские легенды. Впрочем, я не уверен, чтобы эта нежность была вызвана именно текстом Сувестра; вызывали ее главным образом прелестные иллюстрации, принадлежащие одному из самых тонких рисовальщиков романтической эпохи — ныне несправедливо забытому

Пенгильи. Иные из этих картинок оставили во мне неизгладимое впечатление. Особенно запомнились: сцена, где прекрасная дама оказывается привязанной к скелету своего мужа, или где за бретонским крестьянином, кружась, несутся крохотные кориганы, или еще та картинка, на которой представлено появление гроба в комнате гостиницы, у самого алькова, куда улегся путник. Такие сцены мерещились мне в часы бессонницы; я как можно плотнее с головой укутывался в простыню, только бы как-нибудь нечаянно не увидать этих злобных кориганов или такой вот окруженный свечами гроб!

Совсем в другом роде было наслаждение, которое я получал от всего шутливого и вздорного. Но это уже такая широкая область, что я никак не в состоянии перечислить хотя бы главное. Задача облегчится, если я просто назову четыре имени: барона Мюнхаузена, в качестве гениального литературного враля, и трех рисовальщиков: Берталя, Буша и Оберлендера, в качестве «изобразителей смешных вещей». Разумеется, сопоставление трех последних имен позволительно только в «сувенирном аспекте» — потому что все трое одинаково на меня действовали в детстве. Если же взвесить их действительное художественное достоинство, до которого мне тогда не было дела, то величины эти окажутся несоизмеримыми. Берталь — милый французский забавник, очень ловко рисовавший и создавший несколько уютнейших книжек вроде «Маши Разини» или «Гоши Долгие руки» (не знаю их французских названий — в детстве у меня были лишь русские переиздания, рисунки которых всё же печатались и раскрашивались в Париже); истории в них уморительны, а картинки, нарисованные нервным штрихом и аппетитнейшим образом раскрашенные, полны жизни. И всё же это только «детские иллюстрации». Другое дело Буш и Оберлендер... Но что сказать об этих двух «коллосах юмора», к которым я еще присоединяю первого сотрудника Punch'a Dicky Doyle, и Гюстава Дорэ! Впрочем Буш в свою очередь возвышается над другими. Буш, как автор рисунков и одновременно как сочинитель текста, несомненно, явление гениальное, равное по своему калибру Домье, а то и Свифту или Рабле. Его творения наполнены стихией сме-

ха, но под этой стихией, ничуть не омрачая ее, лежит стихия трагическая. Поистине чудесное сочетание и тем более чудесное, что вбираешь его в себя совершенно естественно, сам того не замечая.

Многие нынешние педагоги еще менее любят Буша, нежели Степку-растрепку. Но на то они и «педагоги». Мне же кажется, что нет лучшей «книги жизни», нежели Буш: недаром немцы издали его полностью в виде настоящего кодекса, назвав таковой «Der Hausschatz»! А впрочем, я не хочу пускаться в какие-либо споры о воспитательных преимуществах или недостатках Буша, и ограничусь выражением лично моей душевной благодарности этому чудесному другу детства, оставшемуся мне другом и до самой старости. Что бы сталось со мной, каким бы я был, какой бы мне представлялась жизнь, как бы я ее вынес и как бы ее оценил, если бы у меня не было, рядом с другими «спутниками жизни», вот и этого «шута горохового», шута мудрейшего, шута обладавшего изумительным даром в нескольких штрихах создавать самые разительные образы и подобия, врезающиеся в воображение и навсегда в нем поселяющиеся...

Буша я впервые познал на листах «Münchener Bilderbogen». В этих «полународных» картинках я познакомился впервые и с Оберлендером, а также с массой вещей интересных и ценных, в том числе и с историей костюма, — что мне в дальнейшем так пригодилось. Отдельные эти, превосходно раскрашенные листы Мюнхенского издательства Браун и Шнейдер отец дарил мне по всякому случаю — то на елку, то в день моего рождения, то тогда, когда я болел какой-либо болезнью. Однако, папа не давал мне их трепать. Оценивая по-должному их высоко художественное значение, он, после первого просмотра, собственноручно наклеивал их на картон (по листу с каждой стороны), после чего наклеенные листы клались в им же склеенную папку. Бывало так, что одна сторона такого картона содержала какую-либо историю Буша, Оберлендера или Штейба (скажем, историю про виртуоза пианиста — первого или странную историю про оживленные игрушки — второго или милейшую историю про ученого пуделя Ка́ро — третьего), а оборот — нечто поучительное — например, сцены из древней

истории или из быта краснокожих индейцев. Разумеется, смешная сторона имела больший успех, но попутно рассматривалась и менее интересная сторона — и постепенно, благодаря этому, где-то складывался запас разных ценных познаний, подносившихся в весьма приятной форме. Ведь и эти полезные картинки «Münchener Bilderbogen» были отлично скомпанованы и нарисованы; чуждаясь сухого педантизма, они обладали достаточной документальной достоверностью. Рядом с мюнхенскими картинками следует, для полноты, назвать выходившие в подражание им «Deutsche Bilderbogen», издававшиеся, кажется, в Штуттгарте. И среди них встречается не мало прелестных листов, но не было среди сотрудничавших в издании художников — ни Буша, ни Оберлендера. В общем эти «Deutsche Bilderbogen» представляют собой как бы более академическую версию той же идеи.

Перечисление моих фаворитных книг и картинок может привести к заключению, что у нас в доме доминировала немецкая культура. Это было бы естественно, если вспомнить, что мать моего отца (моя родная бабушка) была немка (из петербургских немцев), а кроме того, весьма значительная часть петербургского общества тяготела в те времена к немцам, а среди аристократии и буржуазии существовал обычай поручать первое воспитание детей немецким боннам, которые вербовались главным образом в остзейских провинциях. И всё же заключение, что у нас в доме преобладала немецкая культура, было бы неправильно. Если отец и очень любил чисто немецкое настроение уюта (Gemütlichkeit), если, действительно, у нас немецкие бонны и гувернантки не переводились, если мама, несмотря на свое итальянское происхождение, faisait grand cas в отношении немецкой педагогики, то всё же уклон в нашем космополитическом семействе был скорее в французскую сторону. Родители наши постоянно вплетали в свою речь французские фразы, охотнее писали письма по-французски, молитвы нас учили читать по-французски... Двое же моих братьев были настоящими энтузиастами Франции и французов, они даже считали своим долгом (вероятно, под впечатлением франко-прусской войны, которую они пережили в «разумном» возрасте) ненавидеть немцев и всё немецкое.

Что же касается меня, то, прежде чем стать убежденным и безусловным «космополитом», презирающим бессмысленные и столь уродливые народные ненависти, я в детстве и в юности был попеременно то французом, то немцем, то итальянцем, а то и русским? Последним наверное преимущественно, но сам я того не сознавал и периодами принимал свою русскую национальность даже за нечто чуть не совсем лестное... Но об этом подробнее постараюсь поговорить в другом месте, здесь же я только признаюсь, что чисто русские детские книжки (оставляя в стороне «Виольдамура» или «Душеньку», которые не были детскими книжками), я просто терпеть не мог. Меня раздражало в них и плохое качество иллюстраций да и весь их дух — тот слюняво-сентиментальный стиль, в котором преимущественно писалась у нас литература для юношества.

О некоторых французских моих любимцах я уже упомянул, но их на самом деле было гораздо больше. Среди этих любимцев был и журнал — прелестная «Semaine des Enfants». В моем обладании были переплетенные томики, относившиеся к 1850-м и к 1860-м годам этого журнальчика, когда в «Semaine des Enfants» участвовал еще юный Гюстав Дорэ. Достались же мне эти томики по наследству от сестер. В них я впервые познакомился с произведениями графини де Сегюр, урожденной Ростопчиной. Странно было встретить это русское имя в соединении с французской фамилией и еще удивительнее было, что эта русская дама так хорошо сочиняет, да по-французски! Истории про «Харчевню Ангела Хранителя («L'Auberge de l'Ange Gardien») и «Воспоминание Осла» («Les Mémoires d'un âne») я прочел и не раз именно в «Semaine des Enfants», и был необычайно восхищен ими. Помнится, как однажды я даже умолил маму сократить одно из моих пребываний в гостях у сестры Камиллы (а это гощение у доброй, разрешавшей вытворять всякие шалости, Камишеньки — я вообще почитал за большое счастье), так как дома я оставил недочитанным какой-то особенно захватывающий эпизод. Какова же была моя радость, когда у кузины Ольги, поселившейся в 1880 г. в квартире рядом с нашей, я набрел на целую серию красных тисненных золотом книжек Bibliothèque Rose,

успех которой среди детей был главным образом и обязан сотрудничеству графини де Сегюр. Тут я не только еще раз перечел «L'Auberge de l'Ange Gardien», в которой действует живописная и с натуры списанная фигура русского генерала, но и продолжение этой повести, целиком посвященное доброму чудаку. Повесть про «Le Général Dourakine» была запрещена русской цензурой (особенно за тот пассаж, в котором рассказывается про порку в полицейском участке), но это лишь обостряло наслаждение от такого чтения. Ведь в русском обществе искони процветало своего рода невинное фрондирование и было принято критически относиться к правительству, в котором и стар и млад видели какой-то заговор мракобесия против просвещения. Но до чего же мы тогда были далеки от настоящего представления о мракобесии и о невежестве!

С английскими детскими книжками, (если не считать опять-таки переводных и переработанных «Робинзона» и «Гулливера») я познакомился тогда, когда меня стали учить английскому языку. Особенно благодаря моей «второй» англичанке — курьезнейшей старушке, о которой я храню особенно нежную память, хоть и была она, как две капли воды, похожа на злых фей, изображенных Берталем и Дорэ. Именно по рекомендации этой милейшей Miss Evans моя библиотека обогатилась всякими иллюстрированными и не иллюстрированными английскими книгами. Благодаря ей у меня появились альбомы Кальдекота, Гриневей, романы Диккенса, Мариэтта. Особенно я ценил действительно прелестные картинки Caldecott'а в классической истории: The House that Jack built и историю Англии в картинках Pictures of English History, которая у меня уцелела по сей день. Почти все картинки в последней книжке (их по четыре на странице) изображают то убийство, то войну, то казнь. Но это-то мне и нравилось. Кроме того, мне нравились и яркие краски костюмов и какие-то «настроения» в пейзажах. Иные из этих картинок врезались до такой степени мне в память, что я должен делать усилие, чтобы представить короля Альфреда Великого или Шекспира перед Елизаветой иначе, нежели так, как это несколько наивно изображено на этих картинках. Впрочем, с аппетитно-

стью английских рисовальщиков я познакомился, кроме того, сделав однажды приобретение за рубль на Вербном базаре книжки-альбома со сказкой про «Желтого карлика» («The yellow Dwarf»). Это было русское переиздание, но красочные картинки во всю страницу были отпечатаны в Лондоне. Теперь я знаю, что эти картинки, среди которых особенно прекрасной мне казалась двойная, где происходит что-то с феей и с индюками, принадлежат Уолтеру Крэну и художник этот в дальнейшем не сохранил моей симпатии, но благодарен я ему остаюсь до сих пор — вот именно за ту радость, которую он мне, русскому мальчику, тогда доставил. Если я не ошибаюсь — приобретение этой книги было моим первым самостоятельным поступком библиофильского порядка и надо отдать мне справедливость, что он делает некоторую честь моему вкусу.

Глава 30

МУЗЫКА В МОЕМ ДЕТСТВЕ

Невыразимые радости доставляли мне в детстве все начертательные и пластические художества (и даже архитектура), но, если сравнивать такие вообще плохо поддающиеся сравнению вещи, как впечатления, доставляемые разными отраслями искусства, то, пожалуй, всё же наиболее интенсивные ощущения я получал от музыки. Да и в хронологическом порядке первые особенно разительные впечатления я получил едва ли от картин, а скорее от всякого рода музыки. Наконец, я очень рано стал чувствовать влечение к какому-то личному «музыкальному изъявлению». Меня тянуло к инструменту, и то, что у меня выходило из-под пальцев, было чем-то «непосредственным» — тогда как мое рисование часто носило скорее характер чего-то надуманного. Бывали периоды в дальнейшей жизни, когда я совсем обходился без карандаша и кисти, как-то не ощущая в них нужды, но без музыки, без слушания ее и без возможности вызывать самому какие-то музыкальные звуки, я не был в состоянии прожить и неделю. Так, очутившись четырнадцати лет в имении сестры, где не было тогда рояля, я выучился довольно бегло играть на гармонике, а в следующем году я специально захватил туда же цитру, только бы иметь возможность что-то музыкальное производить и слышать.

В течение моей жизни я имел не мало случаев наблюдать как музыка действует на детей. Однако, я так и не встретил ребенка, который столь же чутко и восторженно реагировал на музыку, как реагировал я сам, и это в годы самого раннего детства. Стоило кому-нибудь в зале заиграть на рояле, как трехлетний Шуренька,

чем бы он в это время не был занят, срывался с места и как полоумный летел на эти звуки. А играли у нас в доме много и не только на рояле, но и на скрипке, на виолончели, на фисгармонии и на других инструментах. Устраивались домашние концерты и в такие вечера нельзя было меня уложить спать.

Музицировали все, начиная с моих родителей, братьев, сестер, кузенов и кузин и кончая разными друзьями дома. Однако, как я уже указывал, ничто во мне не будило таких «категорических велений», таких «захватывающих стремлений», как импровизации Альбера (что это были импровизации, я разумеется, тогда не знал). Один его совершенно особенный «удар» по клавишам пронизывал меня как электрический ток и это ощущение было отнюдь не болезненным, а только «восхищающим» — в самом буквальном смысле слова. Я вдруг возносился куда-то в иной план и начинал как бы витать в совершенно особой сфере. Иногда Альбер, очень нежно со мной обращавшийся, подчинял свой дар иллюстрированию каких-то им же выдуманных историй. Таким образом я, не имея никакого представления о програмной музыке (как раз в те времена этот вопрос вызывал отчаянные споры у меломанов) подпадал ее прельщению. Я весь замирал, когда мой брат, сочиняя на ходу историю, подчеркивал ее соответствующими, тут же возникавшими мелодиями и гармониями. Образы, рождавшиеся в течение слушания, приобретали благодаря звукам необычайную яркость. Я утопал в блаженстве, когда «райская» музыка озаряла какие-либо волшебные сады и дворцы и, напротив, мороз пробегал по коже, когда «страшная» музыка подводила к какому-либо ужасу и чертовщине. Я знал, что можно изобразить звуками (теперь бы я сказал подчеркнуть звуками) любое движение, действие, походку, бег, преследование, полет, плавание, бурю и т. д., а также можно изобразить появление доброго начала; предательское подползание зла, страх, радость, смех, горе, молитву, проклятие. И вот всё это подавалось мне — истинному баловню судьбы, всегда в «свежем» виде, в формах, тут же возникавших. Альбер редко повторялся, а вполне, пожалуй, и никогда. Каждый раз музыкальная мысль облекалась у него в

наряд, если не всегда более совершенный, то во всяком случае новый...

Впрочем, наряду с переменчивой и зыбкой музыкальной фата-морганой Альбера, я знал и любил вещи «утвержденной формы». Не скажу, чтобы я с детства проявлял какой-либо очень образцовый вкус. О, нет! Напротив, я любил вперемежку и вещи «знаменитые», и вещи, в те времена самые обыденные, как русские, так и иностранные. Папочка должен был играть мне военные марши и русские песенки, (которые он играл по слуху с собственной гармонизацией). У мамочки был свой репертуар, и среди него одна пьеска, оставшаяся в ее памяти от лет, проведенных в Смольном институте. Сестры исполняли в четыре руки увертюры Моцарта и Беллини, свою крестную маму — тетю, Машу Андерсин, я засаживал для того, чтобы она мне играла «Руслана», а брат Леонтий, великий обожатель итальянской оперы, мастерски имитировал манеру петь разных Николини, Котони и других артистов, исполнявших шедевры Россини, Доницетти и Верди. Превыше же всего в раннем детстве я ставил две вещи — модную пьеску в четыре руки «Le Réveil du Lion» Контского и «Ave Maria» Баха — Гуно, исполнявшиеся у нас кузеном Сашей на фисгармонии и Альбером на скрипке.

Родные мои забавлялись моим восторгом и моей музыкальной памятью. Зная, что я где-то занят в задних комнатах, сестры нарочно начнут играть «пробуждение Льва» и как бы глухо их игра на дальнем расстоянии ни звучала, но, достигнув моего слуха, она сразу забирала меня, я бросал рисованье, солдатиков или любимую книжку с картинками и мчался по коридору в залу, чтобы поспеть к моменту, когда вслед за вступлением раздастся бойкая и бодрая музыка, представлявшая самый скок льва по пустыне. Много я с тех пор слышал более прекрасных и самых гениальных музыкальных измышлений. Некоторые среди них понуждали меня также к «пластическим выявлениям» (желание «танцовать музыку» осталось у меня даже до сих пор), но ничто не двигало меня так решительно, не вселяло в меня такого, я бы сказал, «героического упоения», как «Le Réveil du Lion»,

эта пустенькая, ныне кажуащся наивной и банальной пьеска.

Напротив, «Ave Maria» рождало во мне, пятилетнем мальчугане, какой-то сладкий-сладкий экстаз. Перед моим воображением реяли ангелочки, я видел отверстые небеса, мягкий свет лился из облачных высот, на которых, «как у Рафаэля», восседали Бог и Святые, И все эти возникавшие во мне картины навевали на меня упоительную истому и поистине неземную радость. Счастье мое, что тогда никто из окружающих не нарушал моего упоения какой-либо критикой этого произведения; никто не произносил по адресу Гуно слово «святотатство» за то, что он дерзнул свою «оперную мелодийку» наложить на ткань великого архигения. Но в нашей простодушной среде и не было кого-либо, кто занимался бы строгими пересудами, а вещи брались так, как «они говорили сердцу»... И в конце концов для чего же музыка и служит, как не для такого сердечного воздействия?

Я где-то, кажется, уже рассказал, почему из меня всё же не вышло музыканта. Одной из главных причин, во всяком случае, был тот странный «частичный паралич», которым я страдаю в этой области. Я так и не выучился свободно читать по нотам, записывать свои измышления и даже справляться с простейшей вещью — со счетом. Но тут было и нечто другое. Если бы я серьезно занялся музыкой, то я только мог стать музыкантом-сочинителем тогда, как к виртуозничанью, к исполнению созданного другими, я скорее чувствую своего рода «отчуждение». Между тем я очень рано понял, что мне не дано создавать такие вещи, которые вполне соответствовали бы заложенным во мне музыкальным идеалам. Иногда я сам изумлялся какой-либо удаче в сплетении звуков, которая при импровизации у меня складывалась под пальцами. Но, если я это запоминал, если раз придумавшееся я повторял два и три раза, то оно переставало мне нравиться, и слишком явным становилось то, что удача была случайной, нечаянной и не столь уже значительной... Так это бывало уже тогда, когда лет десяти я отдавался своим музыкальным (столь наивным) фантазиям, когда, кроме «чижика» и участия в «Собачьем вальсе», я пробовал играть на рояле темки собствен-

ного сочинения. Помню, например, как я «сам себя поразил», сочинив на даче у дяди Сезара что-то «удивительно торжественное», причем это удивительное получалось главным образом от скрещения рук (то есть правая рука, перекинутая через левую, играла в басу). Но уже через неделю я убедился, что ничего удивительного и поразительного в этой моей находке нет. Разочаровался я и в том «гимне торжествующей любви», который я сложил в дни своего «первого серьезного» сердечного увлечения, а позже — в музыке своего балета, успевшего однако сложиться в целую сюиту. После этого разочарования я уже и не пытался сочинять нечто «большое», «прочно связанное», «цельное», а довольствовался тем, что тешил себя (иногда и близких, когда бывал в ударе) удачами мимолетными.

В этой главе о музыке нужно еще сказать о моих музыкальных преподавателях, однако, если бы я стал рассказывать о каждом из них, то в виду их большого числа, это заняло бы слишком много места. Ограничусь тремя: моей belle-soeure Машей, пианистом Мазуркевичем и моей кузиной Нетинькой Храбро-Василевской[1]. Было совершенно естественно, что когда такая чудесная «профессиональная музыкантша, какой была моя невестка Мария Карловна Бенуа, поселилась на одной даче с нами, то она предложила маме свои услуги в преподавании мне фортепинной игры, на что мама с радостью согласилась. Да и я отнесся к этому с полной готовностью и сел за первый урок с чувством, что вот я очень скоро выучусь так же играть, как Маша. Но уже первый урок кончился маленькой драмой и я покинул его огорченный и надувшийся. Маша была слишком нетерпелива, слишком требовательна относительно всяких мелочей, а я «такого тона» в отношении к себе вообще не терпел. Второй урок кончился криком с ее стороны, слезами и бешенством с моей и беспомощным посредничеством с маминой. На третьем уроке вся затея и кончилась. Некоторое время после этого я даже «ненавидел» Машу, считал ее за своего рода врага и обидчика. Теперь же издали (из какой

[1] В своем месте я уже говорил о моих летних уроках с Талябиной.

дали!) мне кажется, что Мария Карловна была и действительно не права. Она сразу стала меня учить подобно тому, как и ее учил ее строгий папаша, не любивший шуток в музыке, — Карл Иванович Кинд, а со мной следовало начать со вселения в меня известного доверия — с того, чтобы меня чем-то заинтересовать и даже позабавить.

Подобная же история вышла с несчастным Мазуркевичем — говорю несчастным, ибо это был очень красивый поляк, лишившийся в какой-то железнодорожной катастрофе ноги. Он был настоящий виртуоз и его игра в начале меня очаровывала. В то же время мне было безумно жаль его самого и я дал себе слово, что не стану ни в каком случае огорчать этого калеку, что буду усердно исполнять всё, что он от меня потребует. О, эта одинокая нога, эти костыли, которые он не без ловкости прислонял к роялю и снова схватывал и подкладывал себе подмышки. О, это его ковыляние, этот стук гутаперчевых оконечностей по полу... Всё это было так ужасно, так разворачивало мне душу!.. Сначала всё шло хорошо, но уже на пятом уроке — та же драма возобновилась. Мазуркевич потерял терпение: убедившись, что я плохо усваиваю учение о такте и счете, он «позволил себе» сделать замечание в раздраженном тоне, и все мои благие намерения разлетелись. Я заупрямился, я его возненавидел, а через десять уроков ему пришлось отказать, так как я решительно заявил, что больше учиться у Мазуркевича не хочу. Заметьте, что я сам при этом заявлении плакал — и плакал из жалости к своему несчастному преподавателю...

Тут и появилась в качестве преподавательницы музыки — кузина Нетинька. Это была, действительно, моя кузина, хотя разница в годах между нами была более, чем в сорок лет. Но именно то, что Нетинька не была мне тетушкой, а двоюродной сестрой, производило то, что при всём моем обожании ее я никакого к ней решпекта не чувствовал. Нетинька, не будучи вовсе красавицей, была необычайно приятной особой и к тому же в ней была масса благодушия и вся она была такая ясная, веселая. Между тем я знал, что ей не с чего быть ясной и веселой: жизнь у Нетиньки сложилась трудная, муж ей

попался нехороший: он бросил ее без средств на содержание многочисленного семейства, а сам проживал где-то в своем поместье на юге. И вот в том тяжелом положении, в котором очутилась тогда Нетинька, ее выручила необычайная ее одаренность. Заработок ее складывался из уроков музыки и, в более значительной степени, из того гонорара, который она получала, играя танцы на балах. А играла танцы Нетинька поистине божественно, так что «ноги сами начинали ходить». В 1880-х годах она стала своего рода знаменитостью в Петербурге, в течение бального сезона ее брали нарасхват и даже образовывалась очередь из желавших получить госпожу Храбро-Василевскую к себе тапершей. Случалось, что уже назначенные балы откладывались, если Нетинька была занята. Эта-то дивная музыкальность Нетиньки являлась едва ли не главной основой моего обожания ее...

И всё же как учительница музыки и Нетинька оказалась для меня совершенно непригодной. Ее приход каждый раз доставлял мне удовольствие, однако успехов я не делал никаких. На сей раз это происходило не из-за какой-либо incompatibilité de caractères, а единственно из-за того, что я и она, несколько цинично относились к делу. Мы, в сущности, с немого согласия, разыгрывали в течение тех пяти лет, что продолжались уроки, известную комедию. Сидели мы за роялем положенное время, я играл гаммы, экзерсисы, я играл пьески, кончался же урок обязательным четырехручием, но при этом я бессовестно «мошенничал», а она потворствовала этому мошенничеству. Происходило это так. Каждый экзерсис, каждую пьесу, каждую мою часть в «четырех руках» — она сначала проигрывала, я же по слуху сразу это запоминал и дальше всё шло, как по маслу. Нетиньке следовало бы проверять, действительно ли я что-либо усваивал, но она удовлетворялась тем, что ей казалось, будто я делаю успехи, на самом же деле как раз главное усвоение «музыкальной системы» — чтение нот и свободное понимание такта — этого не было. Я только приобрел большую беглость, разученные (по слуху) пьесы обогатили гармонические приемы в моих собственных импровизациях, но я как был, так и остался музыкальным неучем и совершенно безграмотным в смысле музыкального языка.

Мне, впрочем, думается, что сама Нетинька была из того же десятка. И у нее всё держалось на памяти, на слухе, на инстинкте, на «вдохновении» и меньше на знании. Но как чудесно она пользовалась своими природными данными. Какие она исполняла блестящие вальсы, мазурки, полонезы, польки, кадрили, многое в собственном, иногда довольно фантастичном, но всегда эффектном переложении. Между прочим ей целиком принадлежали два номера — ухарский галоп на мотивы «Джоконды» Понкиелли и восхитительно звучавшее переложение вальса из «Евгения Онегина»[2].

Кто же были моими любимыми авторами на рубеже детства и отрочества? Совсем любимого автора или авторов у меня, пожалуй, тогда не было, но всё же от многого я был в упоении — главным образом от опер и главным образом от «Фауста», являвшегося вообще «царем оперного репертуара» тех дней. Даже Альбер, индифферентно относившийся к музыке, не им играемой (да и к своей он не питал никакого «уважения») возлюбил Фауста и знал его от первой ноты до последней наизусть. Фантазии на Фауста были даже одним из его средств воздействия на женские сердца. В них он вкладывал всю силу страсти, на которую он был способен. Сейчас после «Фауста» у меня шли «Аида», «Риголетто» (гораздо меньше я ценил «Травиату» и «Трубадура»), «Вильгельм Телль», «Севильский цирульник», несколько позже «Король Лагорский», еще позже «Нерон» Рубинштейна. Первые же произведения музыки, которые меня, действительно, свели с ума, были «Кармен», которая до Петербурга доехала в 1882 или 1883 году и «Коппелия» — в 1884 году. Благодаря своей памяти я играл целые сюиты каждого названного произведения. Через нашу домашнюю виртуозку, Марию Карловну, я познакомился с увертюрой «Тангейзера» (всю оперу я услыхал гораздо

[2] Курьезно, что та же Нетинька давала уроки моему будущему другу, Диме Философову, с которым лично в те годы я еще не был знаком. Чтобы меня подзадорить к учению, она утверждала, что вот у нее имеется такой замечательный ученик Философов, что он гораздо лучше меня учится. Когда же в 1885 году я познакомился с Димой, я убедился, что это совершенная ложь, что Дима еще меньше меня превзошел науку музыки. О, Нетинька!

позже), с вальсами Листа на темы Шуберта, с его рапсодиями, с мазурками, с этюдами и балладами Шопена и, наконец, с «Карнавалом» Шумана. Всё это я обожал. Напротив, хоть многое из Бетховенского репертаура я успел изучить, прислушиваясь к ее же игре — Бетховен оставался мне чуждым. Без настоящего энтузиазма относился я и к серьезным концертам, а русской музыки я не знал вовсе, если не считать полонеза и мазурки из «Жизни за царя», марша Черномора из «Руслана» (то и другое входило в репертуар милой тети Маши). Вот почему я пережил в глубине своего существа настоящую революцию, когда в 1889 г. познакомился с «Кольцом» Вагнера, а в 1890 г. с произведениями Чайковского, Римского и Бородина.

Из бесчисленных тогдашних исполнителей, которых мне в детстве и отрочестве удалось слышать, я здесь назову певцов итальянской оперы — Мазини (сладчайшего из всех мною слышанных теноров), Котоньи, Уэтама, Девойо и певиц Нильсон, Репетто, Дюран, Зембрих и, несмотря на свою физическую неказистость, идеальную исполнительницу «Кармен» — Ферни Джермано. Вообще же я должен сознаться, что я к человеческому голосу был более равнодушен, нежели к инструментальной музыке. Из пианистов я назову — чудесную мастерицу фортепианной игры — Есипову и Антона Рубинштейна. Игра последнего остается в моем представлении и по сей день непревзойденной. Могу только пожалеть, что слышал я Рубинштейна всего раза три, но эти «слушания» оставили во мне неизгладимое впечатление. Это была поистине вдохновенная игра. Он «мазал», он «врал», он «присочинял», но вещи, даже самые знакомые и избитые, приобретали под его толстыми, неуклюжими на вид пальцами совершенно новую и потрясающе яркую жизнь. Нравился мне и весь его облик — его приспущенные веки, неприглаженная «грива» и даже то, что он соединял в себе нечто и от атлета и от «бабы». Странная была фигура! А какой это был чаровник, каким он умел прикинуться милым, простоватым, когда он ухаживал за дамами — за этим занятием я мог его наблюдать, когда он бывал в гостиной у Марии Карловны. Что говорить: Антон Рубинштейн был настоящим солнцем

музыкального мира, но вот то, что, добившись получения в дар для основанной им консерватории, здания Большого Театра, он способствовал разрушению этого чудесного памятника — этого я ему простить не могу, а в свое время я его за это и возненавидел.

Глава 31

МОЕ ХУДОЖЕСТВО

В семейных преданиях хранилась память о том, как я, будучи восемнадцати месяцев отроду, получив карандаш в руки, сразу схватил его надлежащим образом, т. е. сложил на нем пальцы именно так, как это считалось правильным[1]. В этом факте все увидели чуть ли не какое-то предзнаменование того, что я буду художником. Думаю, что я и действительно награжден наследственным предрасположением к искусству, а художественная атмосфера нашего дома и то, что почти все вокруг меня занимались разными видами художественного творчества, в частности же, папочка охотнее всех занимал меня рисованием, когда мне еще и году не было, — всё это явилось настоящей школой — чуть ли не с пеленок. К сожалению, и очень ранние пробы мои в искусстве были до известной степени отравлены рано проснувшимся тщеславным чувством. Чуть только стало во мне просыпаться некоторое сознание того, что я делаю, как я уже перестал рисовать «просто для себя», в удовлетворение какой-то «потребности изображать», а стал добиваться в своих рисунках успеха. Надлежало поразить и вызвать то восхищение и те хвалы, которые я вкушал с особым наслаждением. Отсюда и забота о поражающих сюжетах, отсюда и утрата непосредственности даже и в очень раннем моем рисовании. Между тем,

[1] Правильность такого держания карандаша разумеется относительная. В Азии, например, существуют совершенно разные взгляды на то, как надо держать то, чем рисуют или пишут. В данном случае, однако, для людей, занятых вопросами наследственности интересно то, что бессознательный ребенок мог схватить пальцами карандаш именно так, как то привыкли делать отец и дед.

как раз непосредственность составляет вообще главную прелесть детских рисунков.

Не надо всё же думать, что я рисовал только «на показ». Большинство и тогдашних моих рисунков создано для собственной утехи, но часто, особенно в присутствии посторонних, в присутствии гостей, желавших своими восторгами оказать приятность моим родителям, я в рисовании «щеголял».

Известное «щеголяние» своим даром оставило некоторые следы и на моем дальнейшем художественном развитии. Надлежало пройти многим годам, пока я сам не понял нелепость такого тщеславия, мешавшего мне делать то, что могло бы иметь действительную ценность и могло бы, первым долгом, давать удовлетворение мне самому. Между тем живой пример того, как надо относиться к делу, был у меня перед глазами — в лице папы. Я очень любил разглядывать его путевые альбомы, в которые он с такой точностью, с таким мастерством и с таким вкусом зарисовывал всё, что его поражало, и я дрожал от наслажденья, когда он, заканчивая какой-либо свой архитектурный проект, «оживлял» его, для собственной забавы, бесчисленными малюсенькими фигурками. Я наслаждался всем этим, но делать так, как он, вернее, приступать к делу так, как он, я не догадывался. Да к тому же при всем моем наслажденьи его рисованием (а также акварелями моих двух братьев) я, пятилетнее ничтожество, на них смотрел чуть свысока. Ведь я уже трех лет был объявлен Рафаэлем и собирался со временем поразить мир своим искусством.

Упомянул я здесь имя великого Санти вовсе не в качестве риторического приема, а потому, что имя Рафаэля было как раз первым из всех имен художников, которое я запомнил. Запало же оно мне в душу благодаря тому впечатлению, которое производили на меня его Ватиканские композиции, красовавшиеся в копиях в Академии художеств, исполненных в оригинальную величину лучшими русскими художниками: Брюлловым, Бруни, Басиным, Бориспольцем и др. Попадая в «Рафаэлевский зал» в Академии, я цепенел в любовании этими огромными картинами, известными под названиями «Больсенская Мэсса», «Афинская школа», «Изгнание Ге-

лиодора» и «Освобождение Св. Петра из темницы». Сюжеты мне объяснял папочка в очень ясных выражениях, но не в сюжетах было дело, а в красоте. Да, тот трехлетний или четырехлетний карапуз, каким я был тогда уже млел перед красотой этих произведений и, одновременно с этим, во мне тогда же просыпалась склонность к «священному негодованию», которое вспыхивало во мне каждый раз, когда я видел в других равнодушие к этим, так особенно меня волновавшим и столь изумительно красивым вещам. Особенно в композициях Рафаэля я был пленен коленопреклоненными фигурами на «Больсене». Красивее того, повернутого в профиль швейцарского офицера, который стоит в нижнем правом углу, я ничего не мог себе представить, а ведь красота этой фигуры заключается не в чертах лица и не в великолепии его одежды, а в чем-то совершенно ином, что только и можно почувствовать и что есть красота.

Впрочем, для удовлетворения моей страсти к Рафаэлю, мне не нужно было непременно находиться в академических залах. Я мог предаваться ей и дома. Как раз в эти годы выходило в Италии издание в гравюрах крупного формата всех фресок Ватиканских «стансов» и стенных ковров, тканных по картинам Рафаэля. Папа получал это издание выпусками, доставлялись же они курьезнейшим маленьким, седеньким и лысым старичком, занимавшимся всякого рода комиссионерством. Он же привозил нам настоящие итальянские макароны, вино Кианти в соломенных бутылках и превосходные апельсины. За всё это я его нежно любил, но, к стыду своему, как звали этого скромного, ласкового синьора, которого папочка встречал всегда с изъявлением дружбы (мамочка же несколько сдержаннее, ибо она не слишком поощряла всякие папашины художественные folies), я не запомнил. Мне это тем более совестно, что специально мне старичок приносил особенно диковинные подарки. То были сделанные из папье-маше подобия грецких орехов, которые внутри, в обеих половинках, содержали по целой, тончайшим образом выпиленной из кости, капелле с алтарем, свечами, цветами и херувимами. Какая это была прелесть. Закроешь — орех, как орех, а вскроешь — там целый тончайший ажурно-узорчатый мир. Эти чуде-

са, изготовлявшиеся в каком-то итальянском монастыре, к сожалению, попадая ко мне, погибали очень быстро. Я не в состоянии был устоять перед соблазном залезть пальцами в хрупкую их внутренность, хотелось изведать, что еще находится позади алтаря и почему так горят, выложенные красной фольгой, окна. Разумеется, после такого вторжения грубой силы — ничего, кроме бесформенного лома, не оставалось.

Каждый новый выпуск гравюр Рафаэля (их появлялось по два или по три в год, а закончилось издание кажется около 1880 года) рассматривался всей семьей. С папиного стола снималось всё лишнее, покрывавшая его клеенка тщательно вытиралась и на нее с особой, подчеркнутой торжественностью клались новые листы, из которых каждый был прикрыт прозрачной бумагой. Когда же все гравюры последней присылки были осмотрены, папочка их складывал в склеенную им самим большущую папку, и там в сохранности гравюры и покоились. До этой Рафаэлевской папки никто без разрешения папы не смел дотронуться, и лишь в исключительных случаях Рафаэлевская папка клалась на стол, развязывалась, вскрывалась, и тогда можно было лицезреть всё, что в ней накопилось. В этой же папке хранились большие гравюры с пейзажей Пуссэна, гравюра с Грезовской «L'heureuse Famille» и кое-что еще.

Рядом с нами, с выходом на ту же площадку парадной лестницы, жили старинные друзья семьи Бенуа — Свечинские: почтенная старушка с сыном Николаем Кирилловичем, благодушнейшим, стареющим холостяком, над которым у нас полагалось немного подтрунивать и для которого неустанно, но тщетно, наши дамы подыскивали «невесту». Меня туда иногда водили и там были всякие для меня приманки: курильница в виде чорта, у которого зажигалась и докрасна накалялась голова, серый с красным, злой и надменный попугай и, наконец, девочка — внучка бабушки Свечинской — Алечка Лепенау, к которой у меня была известная слабость. В столовой же у Свечинских стены были сплошь увешены опять-таки «Рафаэлями». Гравюры это были старинные и, вероятно, более ценные, нежели те новейшие, которые получал отец из Италии, но, разумеется, этого я не по-

нимал, а из какого-то чувства фамильного гонора я гравюры у Свечинских презирал; они мне казались совсем «не похожими» на то, что я видел в Академии и у нас дома. Сколько раз добрый Свечинский, зная мою любовь ко всякого рода изображениям, пытался обратить мое внимание и на эти «картинки», я глядеть на них не хотел, причем бесцеремонно заявлял, что «наши лучше».

В конце концов, я так освоился с Рафаэлем, а с другой стороны, я до такой степени был уверен, что я сам Рафаэль, что однажды пожелал это доказать неоспоримым образом. Копировка была у нас обычным занятием. Копировали обе мои сестры, а Катя даже до того успела в этом, что копировала на заказ в Кушелевской галерее (только что тогда устроенной) картины разных сладковатых художников середины XIX века, иногда же она решалась пробовать свои силы и на передаче картин более трудных. Знаменитая в те дни «Украинская ночь» Куинджи (это было, когда Катя была уже замужем), прогостила у Лансере года два, не то потому, что собственник «Ночи» пожелал иметь дубликат, не то потому, что сама Катя пожелала «поучиться» на таком образце. Копировал всяких художников (в том числе Гильдебрандта и Калама) и Альбер, дабы преуспеть в акварели, копировал Леонтий, и последний делал это очень свободно и искусно, внося в копию свои собственные усовершенствования. Почему же было и мне не скопировать Рафаэля? Я и не сомневался в том, что срисую всё точка в точку.

Увы, совсем иначе мне представилось дело, когда папа по моей просьбе вынул из лиловой папки гравюру с «Больсенской мессы» и, нашпилив ее на большую доску, укрепил последнюю на мольберте, меня же посадил перед ней на табурете.

Мне было тогда пять лет и уже далеко было то время, когда, рисуя кружочки, под ними две палочки и род штыка рядом, я воображал, что изображаю солдатиков; далек был и период, когда кружочки оживились глазами, носами, ноги я стал приставлять не прямо к голове, а к туловищу (на котором непременно изображались пуговицы), штыки же вкладывались в руки (более похожие на грабли). Затем всё это еще более «ожи-

ло», стало входить в контакт друг с другом, появились лошади (или то, что мне казалось таковыми) «взрывы бомб», пушки, выстреливавшие целые «охапки пуль», а всё в целом должно было изображать баталии. Под влиянием Иши появились на моих рисунках и рыцари — в касках, с забралами, с мечами и пиками в руках, на конях в попонах, что, кстати сказать, было и эффектнее и легче нарисовать. Однажды я даже попробовал сделать портрет папы (его портрет как раз тогда писала Катя), но меня смутило, что у меня это «не совсем вышло» — лишь то, что на щеках были бакенбарды, а глаза прикрыты очками, действительно, создало известное подобие, от которого все домашние, как полагалось, пришли в восторг. Словом, за мной был уже «пройденный путь» и, вечно захваливаемый, я, действительно, мог вообразить, что я «Рафаэль». Тут-то меня и ожидало первое прискорбнейшее разочарование. Еще куда ни шло, я довольно точно передал полукруг, замыкающий сверху композицию и тот квадрат окна, что в него включен снизу, но когда дело дошло до первой же фигуры, то и получилась осечка... Через несколько минут рисования, я совершенно размяк и ужасно устал, пот выступил на лбу и вероятно я сделался весь красный. Действовали и досада, что у меня «ничего не выходит», стыд и даже род какой-то обиды на Рафаэля, почему он мне не дается. Однако, пожалуй, тогдашняя досада послужила мне на пользу! В первый раз я понял «как это трудно», в первый раз я почувствовал, кроме простого восторга перед картиной, и какое-то почтительное «изумление».

К сожалению, моим разочарованием, как мне теперь кажется, не сумели тогда воспользоваться. Правда, папа собственноручно и с необычайной аккуратностью склеил для меня из бристоля целую серию геометрических, частью очень сложных, фигур и попробовал меня пристрастить к срисовыванию их, показав на бумаге, как это делается (тогдашний рисунок папы я храню). Но, попробовав раза два собственные силы на таком срисовывании, я почувствовал только неопреодолимое отвращение к нему и фигуры были сложены в ящик моего рабочего стола. Пролежав в нем лет шесть, они расклеились. Братья Альбер и Люля, видя мои рисовальные импрови-

зации, говаривали: «Рисуй Шурка с натуры», «Надо с натуры рисовать», и оба подкрепляли эти воззвания собственным примером, причем опять-таки Альбер старался передавать натуру точно, а Леонтий скорее фантазировал на реальные темы. Но эти понукания только меня раздражали, так как я ничего хорошего в «натуре» тогда не усматривал и меня гораздо сильнее тянуло рисовать солдатиков и рыцарей. Наслаждаясь безотчетно природой, как только может наслаждаться совсем юное существо, я не чувствовал потребности каким-либо способом эту природу передать.

Память моя регистрировала немало таких вещей, которые достойны были попасть на бумагу или быть изображенными в красках, но это самое их достоинство я не осознавал. Как раз помянутая «Украинская ночь» Куинджи приоткрыла мне «поэтическое достоинство» пейзажа. Вглядываясь в эту картину, особенно в бездонное темное небо, в мерцание огоньков в хате, белые стены которой так чудесно светились в фосфорических лучах, я ощущал поэзию всего этого целого, а также почувствовал прелесть передачи ее. Но в те годы я не решился бы попробовать сделать нечто подобное и, поняв после ряда осечек, до чего вообще всё это трудно, я предпочитал (со всё меньшей уверенностью в успехе) рисовать «от себя» всякую всячину, то импровизируя на бумаге разные комические истории (отголоски моего восторга от Буша и Оберлендера), то пробуя силы на «более внушительных» композициях «исторического характера».

Колоссальное впечатление, произведенное на меня Библией Шнорра (о чем я расскажу в своем месте), побудило меня изображать события Священного Писания и одну такую мою тетрадочку, посвященную «Дням Творения мира» бережно хранила до смерти директриса моего Киндергартена — Е. А. Вертер. Чтение и особенно разглядывание иллюстраций какой-то Histoire de France для детского возраста познакомило меня с условными, но тем более пленительными для детского воображения фигурами Франциска I, Генриха IV и Людовика XIV — в результате чего, в довольно большом формате я пробовал представить своего рода «Синтетические» их

портреты, которые я дарил отцу на елку или на рождение. При этом действовали и оперные сувениры — так все мои герои получали неизменно бородку-эспаньолку — принадлежность тогдашних теноров, и кружево по низу панталон. Что же касается до уроков рисования, происходивших в Киндергартене под руководством симпатичнейшего мягкого и тусклого художника Лемоха, то это, разумеется, было совершенно непроизводительной и скучной тратой времени.

Едва ли не важнейшую роль для дальнейшего моего художественного развития сыграла моя страсть к театру. Я еще вернусь к своим детским театрикам и в частности к тому, который мне устроил папа, но и тут необходимо отметить, что то самое, что в отверстие сцены и при свете крошечных керосиновых ламп, стоявших в кулисах, эти, специально для меня написанные и вырезанные папины акварели вдруг приобретали «полное правдоподобие», — побудило и меня испробовать свои силы в этом роде. И вероятно от того, что я был движим каким-то особенным воодушевлением, — эти мои опыты удавались лучше (по тогдашней моей оценке), а удача подзадаривала на дальнейшие. Запомнилась мне из тех моих первых театральных опытов размашисто, в бурых красках писаная декорация, изображавшая какой-то «ученый кабинет» с крокодилом, подвешенным к потолку, а также «дремучий лес», в котором мне нравилась гамма зеленого с коричневым. К театральному же роду можно было бы отнести и другую мою тогдашнюю «гордость» — род театральной макетки, изображавшей европейцев, вступивших в бой с зулусами (как раз в Африке тогда погиб le Prince Impérial). Это был ряд нарисованных пером и раскрашенных, а затем тщательно вырезанных фигурок, которые, окруженные такими же кустами и пальмами, были приклеены на картон, изображавший поросшую травой землю. Мне казалось, что на сей раз мне не только удалось выразить стремительность движений, а также ярость и ужас на лицах сражающихся, но что мне особенно удались краски — гармония их, получившаяся от прозрачных колеров, положенных поверх очерка, залитого тушью.

Но вот с начала 1880-х годов я всё реже и реже

берусь за карандаши и за краски (исключительно за акварельные, масляные у нас в доме вообще, после отбытия сестры Кати, не водились). Однако эти годы не пропали даром для моего художественного развития. Напротив, именно за этот период я постепенно, сам того не зная, начал становиться своего рода «любителем искусства». Запомнились мне несколько этапов в этом приобретении более осмысленного отношения к искусству. Рафаэль продолжал доминировать над всем, но Рафаэль был чем-то совершенно исключительным, я в нем видел божество и принимал я его всего, не дерзая выяснить себе, чем именно он так хорош. Другие же художники приводили меня в восторг более определенными сторонами своего творчества — кто ловкостью и бойкостью штриха, кто сочностью светотени, а кто композицией (например, иллюстрации Невилля в книге Ж. Верна «80.000 верст под водой» или иллюстрации Дорэ к басням Лафонтэна). Постепенно стали на меня действовать краски, независимо от того, что изображено, — действовать как в положительном, так и в отрицательном смысле. На какой-то выставке в Академии я пришел в восторг от «Балаганов» и от «Перенесения ковра» К. Маковского. В Кушелевской галерее меня восхищали картины разных немцев, французов, бельгийцев средины XIX века[2]. Другие картины меня трогали и даже потрясали своими сюжетами. Я уже говорил про свой восторг от картины Делароша «Кромвель перед гробом Карла», перед которой я буквально столбенел; часами был я способен вглядываться и в помянутую «Украинскую ночь» Куинджи. Больше же всего (пока в гравюрах, ибо в Эрмитаже я в те времена, до 1883 г. не бывал) я восхищался «Последним днем Помпеи» К. Брюллова, и мне прямо казалось невероятным, что папа когда-то мог лично знать такого, совершенно божественного гения! Брюллов для меня был «почти Рафаэль». Наконец, в 1882 году — Леонтий, вернувшись из-заграничного путешествия, навез с собой массу фотографий, и впервые меня тогда взволновали грустные взгляды, хрупкие фи-

---

[2] Собрание картин, пожертвованных графом Кушелевым-Безбородко Академии художеств. С 1920 г. почти все картины этой превосходной коллекции находятся в музее Эрмитажа.

гуры и неловко стыдливые жесты Сандро Боттичелли и одновременно меня покорил Микель Анджело, о котором, впрочем, я уже имел некоторое понятие. В своем месте, где я говорю (по поводу своих игрушек), что был пленен «лилипутским» началом, я упустил сказать, что в равной степени я был пленен и всякой колоссальностью. Во сне я часто видел, что подхожу к подножью какой-либо чудовищно громадной бронзовой статуи или что такая статуя сдвигается, протягивает ко мне свои страшные металлические руки. В Академии художеств я боялся (но чувство это было сладостное) подходить к стоящему в глубине Тициановского зала — Диоскуру (слепок с одного из гигантов, стоящих на Монтэ-Кавалло в Риме), я мечтал увидеть на самом деле колоссы Мемнона или Св. Карла Борромейского, а среди похождений Гулливера меня одинаково пленяло как его пребывание у лилипутов, так и его пребывание у бробдингамов. И вот на одной гравюрке в «Magasin Pittoresque» фигура Ионы под потолком Сикстинской Капеллы — чудилась мне чем-то сверхестественно ужасающим. Даже в таком виде Буонаротти действовал своей terribilità — и этой-то его «ужасностью» я мог теперь вдоволь упиваться на фотографиях, привезенных Леонтием с рисунков мастера и со статуй гробницы Медичисов...

Вообще я теперь всё чаще и чаще вытаскивал книги с нижних полок папиного «желтого шкафа» и я всё внимательнее к ним присматривался. Из них я узнал о существовании и о значении первоклассных архитектурных памятников, из них познакомился с историей костюма, из них заинтересовался всякими предметами культурно-исторического значения, из них же узнал, как выглядели и разные знаменитые люди: музыканты, писатели, философы. В особенности же впивался я глазами в те картинки, которые довольно удовлетворительно передавали превосходные произведения изобразительных художеств — живописи и скульптуры. Тот же брат Леонтий подарил мне в 1883 году популярную «Историю искусств» Ренэ Менара, которую я тогда довольно основательно изучил.

Одновременно с «Magasin Pittoresque» и «Историей искусств» я напитывался художественными впечатления-

ми и познаниями из журнала «Пчела», а также из нескольких томов «Illustrations», в которых я особенно наслаждался карикатурами Берталя, Кама, Марселена и Дики Дойля. Ряд композиций Доре содержал и выходивший во время Крымской Кампании Le Musée Français et Anglais. Отдельно я должен поставить серию книжек, унаследованных папочкой от своего отца и носящую собирательное название «Les Annales du Musée». Эта коллекция из более чем сорока, переплетенных в светло розовый картон книг, занимала три четверти верхней полки большого папиного «Красного» шкафа и для того, чтобы достать один из этих томов, надлежало мне, десятилетнему мальчику, не только влезть на стул, но еще вытянуть до предельной возможности руку. С десяти лет я эти Annales du Musée и стал изучать со всё возрастающим интересом. Они состоят почти из одних только иллюстраций с короткими пояснительными текстами. Картинки воспроизводят картины и статуи Лувра (того Лувра, в котором рядом с основной коллекцией фигурировали и все художественные трофеи Наполеона), а также особенно замечательные произведения парижских «салонов» начала века — всё это сопоставленное в самом произвольном порядке: мифология чередуется с библейскими сюжетами, жанровые сценки с глубокомысленными аллегориями. То, что в «Les Annales du Musée» гравюры исполнены одним штрихом, при отсутствии всякого оттенения, не вредило моему наслаждению — тем более, что к такому способу передавать образы, я уже привык, и достаточно его полюбил, благодаря «Душеньке». Теперь же мне кажется, что именно эта «отвлеченность» в передаче прекраснейших произведений искусства — учила меня (без того, чтобы я сознавал, что учусь) тому, что в сущности является основой всякого изобразительного искусства — тому, что называется рисунком и что вмещает в себе и композицию и ритм, и большую или меньшую «правильность». Стал я заглядывать и в небольшие текстики, сопровождающие в Анналах каждую гравюру. В этих заметках я находил рядом с умеренными критиками и указания на колорит, на светотень. Из этих текстов я узнавал кой-какие данные из жизни авторов картин и скульптур. «Les Annales du

Musée» рядом с «Magasin Pittoresque» были моими первыми художественными руководствами, причем, главным образом, благодаря Анналам, я познакомился с чем то вроде конспекта истории искусства. Значительная часть гравюрок Анналов воспроизводит и картины эпохи Наполеоновской эпопеи и отсюда получилось, что я, сын конца XIX века, превратился тогда в какого то восторженного приверженца классической школы конца XVIII века. Этому же я обязан и тем, что сохранил на всю жизнь известную нежность к классицизму. Ту самую роль, которую в настоящее время для начинающей жизнь художественной молодежи играет французская школа импрессионистов (если не всякие гримасы упадочного «модернизма») — эту роль для двенадцатилетнего Шуры Бенуа сыграли строгие благородные полные убежденности произведения Давида, Жерара, Жиродэ, Гро и в особенности Прюдона.

Почти всё, что мной до сих пор названо из художественных произведений, которыми я увлекался в дни детства, относится к чужестранному и к тому же «старинному» и «отжившему». Однако, кроме того, видел я и тогда уже не мало образцов современного искусства — главным образом на больших выставках в Академии художеств, на которые меня ежегодно водили весной то папа, то мама, то один из братьев. Там я наслаждался уже не черными уменьшенными воспроизведениями, а оригиналами в красках; там я мог оценивать и манеру, ловкость, бойкость кисти, приятный колорит или напротив, меня возмущала робость, беспомощность, уродливое сочетание красок. Свои личные оценки я затем мог проверять на основании общих споров во время семейных сборищ, причем в те дни я обыкновенно в душе вполне соглашался с мнением отца. Особенное впечатление произвела на меня та сборная выставка, которая была устроена в 1882 году также в Академии художеств, на которую попали разные знаменитые картины русских мастеров последнего времени, предназначавшиеся затем для большой выставки в Москве. Тут я увидел шедевры Репина «Бурлаки» и «Проводы новобранца», тут же увидал исторические картины Якоби и Венига, лесные пейзажи Шишкина и всевозможные

моря Айвазовского, общий восторг от которых я вполне тогда разделял. Кроме того, на меня около того же времени произвели потрясающее впечатление исполинское полотно «Светочи Нерона» Семирадского, и несколько картин В. В. Верещагина, на тех отдельных выставках, которые гремевший на весь свет художник устраивал то в Обществе поощрения художеств, то в частных помещениях. Стечение публики на выставки Верещагина было столь велико, что приходилось на улице ждать очереди и очень медленно продвигаться затем среди густой толпы. Но эти страдания были вознаграждаемы тем, что показывалось — при «ослепительном», только что тогда изобретенном электрическом освещении. В лучах волшебного света и «Выезд принца Уэльского в Индии» и «Панихида» (священник служит над полем, покрытым голыми трупами солдат), приобретали удивительную иллюзорность. Бывал я как раз на этих выставках Верещагина (ввиде исключения) с мамой, вообще к искусству относившейся довольно равнодушно. Тут же и она не смогла устоять перед соблазном увидать вещи, о которых говорил весь город. Впрочем, не одно желание быть в курсе всего замечательного притягивало ее, но и ее глубокий «интерес к правде». Это сказывалось и во время споров за семейным столом, когда она, вообще в них не вмешивавшаяся, робко, но не без настойчивости, защищала Верещагина от нападок наших заправских эстетов. Что за беда была в том, что Верещагин в своих выступлениях прибегал к некоторым «шарлатанским трюкам» (самый его способ показывать вещи в темных помещениях под прожекторами — вызывал обвинение в шарлатанстве), велика ли беда, что он, Верещагин, часто бывал «бестактным» (в бестактности его обвиняли наши домашние политиканы и «вояки» с Зозо Россоловским во главе), велика ли беда, что он представил «Взятие Плевны», как спектакль, устроенный в угоду царю, а в картине «Si jeune et déjà décoré» он обличал кумовство и протекционизм военных кругов? Всё это была правда, а мама была непоколебимо убеждена, что «Seul le vrai est aimable». Этот стих она очень часто цитировала.

Из разных других художественных событий того времени могу еще указать, но скорее, как на курьез, на «гастрольные» выставки новейших произведений немецких архи-знаменитостей того времени: Макарта и Макса. Трудно себе представить, какую сенсацию производили все эти «показы», обыкновенно устраивавшиеся в только что отделанном новом помещении Общества поощрения художеств на Большой Морской. Успех этот свидетельствовал о том, в каких глубинах провинциализма утопала тогда художественная жизнь Петербурга. Не только широкая публика ничего не знала о подлинном художественном творчестве на Западе, но не ведали о нем сами художники. Даже передовые мастера, даже передвижники и их трибун В. В. Стасов, принимали всерьез вещи, едва возвышающиеся над уровнем ординарной посредственности. Только провинциализмом можно себе объяснить, что такие картины, как «Штиль» Судковского, «Невский проспект» Клевера, «Последние лучи» Куинджи или «Голова Спасителя» Габриэля Макса, могли вызывать яростные обвинения и бешеные восторги. Картины Куинджи и Клевера казались до того иллюзорными, что на выставках происходили настоящие скандалы; посетители залезали через перегородку (эти картины тоже выставлялись при искусственном свете), дабы заглянуть за полотно и удостовериться, нет ли под этим «чудом» какого-либо фокуса, не освещаются ли картины транспарантом сзади. Иные же тыкали пальцем в полотно, гладили его, искали каких-либо трюков, и таких дерзателей приходилось при помощи полиции выводить насильно.

Что же касается помянутой картины Габриэля Макса, изображающей Голову Христа (более натуральной величины) на плате св. Вероники, то перед ней происходили даже настоящие сцены кликушества. Истерические дамы вдруг начинали голосить: «Он смотрит, Он смотрит» и падали в обморок. Трюк же Макса заключался в том, что на опущенных веках Спасителя были едва обозначены полутенями зрачки, сначала казалось, что глаза у Христа закрыты, если же долго в них всматриваться, то чудилось, будто они открылись, и не то с упреком, не то с каким-то призывом, взирают на вас. В зале, где

была выставлена эта картина, царило поистине молитвенное настроение. Перед ней в несколько рядов стояли стулья и на них часами восседали в глубоком молчании дамы и господа, ожидавшие момента, когда «глаза Спасителя откроются для них». Посетил с кем-то из наших домашних и я раза три эту выставку. Мне не нравилась картина, я сразу «раскусил в чем дело» (и папа тоже неодобрительно отзывался о ней), но меня манила вся атмосфера, создавшаяся славой ее чудотворности. Впрочем Макс, ныне забытый даже у себя на родине, был тогда до того знаменит, что и другие его картины, «гастролировавшие» в Петербурге, вызывали почти столько же толков, как и «Голова Христа». Так, очень поразила петербуржцев картина «Художественные критики», на которой были изображены (по примеру француза Декана), обезьяны, усевшиеся перед картиной и ее обсуждающие, а также «Via Appia», изображавшая молодую нищенку, в отчаянии поникшую над своим младенцем, тем временем, как готовая исчезнуть вдали карета последнего туриста подчеркивала ужас ее оставленности. Должен добавить, что в смысле живописной техники и того, что называется «кухней», как раз эти картины Макса были очень замечательны, и я получил от их «фактуры» несравненно большее удовлетворение, нежели от той беспомощной мазни, которая в значительной степени наполняла Академические выставки. Изредка, впрочем, и на последней появлялись произведения «первоклассных» иностранных мастеров (вероятно, в ответ на получение ими нашего академического звания). Так на Академических выставках я видел картины Макарта и даже «самого Пилоти».

Может показаться странным, что, рассказывая про то, как я всё более и более «приобщался» к искусству, я до сих пор не упоминал об Эрмитаже, а также о наиболее передовых выставках того времени — о Передвижниках. Но на это имеются причины. Эрмитаж в более или менее «сознательном состоянии» я впервые обозрел тринадцати лет — в 1883 году и об этом, весьма значительном дне моей жизни, я повествую в другом месте. Что же касается «Передвижников», то у нашей семьи не было принято посещать их выставки, так как

отец и братья придерживались убеждения, что искусство могло цвести только в Академии художеств и «вокруг нее». Передвижники же представлялись им чем-то вроде разрушителей устоев, чуть ли не «нигилистов». Однако, и среди ближайших моих родственников был один человек, который держался более передовых взглядов, и стоило выставке Передвижников открыться, как уже на ближайшем семейном обеде возникал спор, каждый раз вызванный сочувственными словами дяди Миши Кавоса о какой-либо новой картине Репина, Сурикова, Ярошенки, Вл. Маковского или Савицкого. И тогда сразу дядя Костя Кавос, брат Леонтий, бабушка и даже неизменный друг дома, Signor Bianchi, ловили мяч на лету, после чего начиналась словесная баталия между теми, кто на выставке не побывал, да и не собирался быть, и теми, кто выставку посетил и готовы были вслед за дядей Мишей счесть одобряемые им картины за шедевры. К таким защитникам более передового искусства принадлежали и великий забияка — Зозо Россоловский, по профессии журналист, а также мой кузен, тогда еще учившийся в Училище правоведения — Сережа Зарудный.

Тут я забегу вперед. Один из таких рьяных споров побудил, наконец, и меня отправиться посмотреть, в чем дело и кто прав. Эта экспедиция уже имела до некоторой степени оттенок бунта против семейных традиций, что в последующие годы стало для меня чем-то обычным. Впрочем, к этому времени я уже несколько научился оценивать вещи самостоятельно и, отправляясь на Передвижную, помещавшуюся в том году в доме Родоконаки на Невском, я уже не рисковал поддаться какому-либо совершенно случайному влиянию. Покинул же я выставку, как пьяный — до того меня поразила картина Репина «Не ждали», до того это было не похоже на всё то, что у нас в доме почиталось за достойное внимания и до того это было смело, просто и «подлинно». Наконец, и самая живопись и приемы поражали своей свежестью, уверенностью и свободой. В следующем, 1885 году, я стал ждать открытия очередной Передвижной, как наизначительнейшего в течение года события. И на сей раз, если впечатление от «Иоанна Гроз-

ного» Репина не могло сравниться с впечатлением от «Не ждали», то всё же и оно было потрясающим. Упомяну еще здесь о том, что благодаря репинским картинам, во мне проснулся интерес вообще к более серьезному современному творчеству как к русскому, так и к иностранному. Правда, не было никакой возможности познакомиться в оригиналах с действительно передовым искусством в Германии и во Франции, но уже то было хорошо, что я стал искать как бы удовлетворить свою любознательность и свою потребность в художественных впечатлениях по разным иностранным изданиям, книгам и журналам. Ознакомление это не имело никакой системы и было полно весьма странных блужданий, но уже достаточно было того, что я всё же изредка находил ту или иную подлинную жемчужину, и когда находил, то восторгу не было пределов.

В 1885 году я сподобился не только лично познакомиться с Репиным, но видеть его изо дня в день за работой и слушать его речи об искусстве. Илья Ефимович начал писать портрет жены Альбера Марии Карловны. Происходило это в квартире брата, находившейся этажом выше нашей и служившей как бы продолжением нашего обиталища. Репин писал Машу играющей на рояле и метко схватил то выражение «холодной вакханки», с которым эта замечательно красивая женщина, откинувшись назад, как бы поглядывает на своих слушателей. Портрет уже после нескольких сеансов обещал быть чудесным, но затем что-то помешало продолжению работы (не то Марье Карловне просто надоело позировать, не то она отправилась в какое-либо турне, и портрет так и остался неоконченным)[3]. Но пользу я себе извлек из того, что успел видеть в течение тех пяти-шести раз, когда украдкой, не смея шевельнуться, замирая в молчаливом упоении, я следил за тем, как мастер пытливо всматривается в модель, как он затем уверенно мешает краски на палитре и как «без осечки» кладет их на полотно. Ведь ничто так не похоже на волшебство, как именно такое возникновение живого образа из-под

---

[3] Грабарь неодобрительно отзывается об этом незаконченном произведении Репина, но в данном случае, я с ним никак согласиться не могу.

кисти большого художника. Но когда я говорю о пользе для себя, то я совсем не подразумеваю пользу творческую; я и не пытался использовать эти «уроки» Репина для собственной работы. В это время я вообще почти бросил рисование и лишь редко касался красок (всегда акварельных — других, повторяю, у нас в доме не было). Польза заключалась в том, что я вообще видел, как это делается, как создается настоящее искусство, а не тот его эрзац, которым почти все вокруг меня довольствовались. Однако, я сильно забегаю вперед, и пора теперь вернуться к прерванному хронологическому порядку моего рассказа.

Глава 32

ЛЕТО 1875 ГОДА В ПАВЛОВСКЕ

Лето 1875 года мы провели в Павловске, но познакомился я с Павловском за несколько месяцев до нашего переезда туда на дачу, и нельзя сказать, чтобы это первое знакомство произвело на меня приятное впечатление. Напротив, я сохранил об этом пребывании в Павловске, длившемся всего один вечер и одну ночь, очень жуткое воспоминание, и, курьезнее всего, что какая-то тень, брошенная на Павловск тогда, когда мне не исполнилось еще пяти лет, оставалась лежать на нем и впоследствии, несмотря на мои частые посещения Павловска, на жизнь там целыми месяцами на даче, несмотря, наконец, на всё мое художественное увлечение этим чарующим местом.

Сестра Катя, вернувшись из своего свадебного путешествия, поселилась на первых порах в Павловске, где у ее мужа был довольно большой каменный дом[1]. Продолжая обожать своего маленького брата, она пожелала меня получить к себе на несколько дней и, как я сначала ни упирался, не желая уходить из-под мами-

[1] Этот дом — один из самых любопытных в Павловске. Считается, что он принадлежал знаменитому Аракчееву. В последний раз я его видел в 1922 г. и тогда он был всё еще таким же, каким он был в моем детстве: трехэтажный, с затейливым кирпичным фасадом, на красном фоне которого резко выделялись белые фигуры кариатид и другие лепные украшения. Он, несомненно, был Павловского времени. На том же участке, принадлежавшем моему зятю, стояли еще две деревянные дачи. В одной из них, выходившей на улицу, поселились в 1875 г. мои родители вместе с молодыми супругами Лансере; в другой жила сестра Жени — Зинаида, только что вышедшая замуж за инженера Анатолия Серебрякова. Большой же «Аракчеевский» дом занимали наши знакомые Благово, которые вскоре после этого приобрели этот дом со всем участком в свою собственность.

ного крылышка, меня всё же в конце концов уговорили, «забрали и потащили» поздно вечером — за город. После часа езды в поезде, мы на трясучих дрожках (дело было к весне) дотащились до места назначения. От дома ничего нельзя было в темноте различить, но тем ярче выделилась освещенная свечой прислуга, отворившая нам дверь. Я сразу заподозрил нечто недоброе, готовый принять эту старую крючконосую женщину за «жену людоеда» из сказки о «Мальчике-с-пальчике», но идти на попятный было поздно. Затаив ужас, я отдался в руки Кати; она освободила меня от башлыка, шубки и валенок, и я очутился в обширной, необычайно высокой комнате, едва освещенной канделябром, стоявшим среди уже накрытого обеденного стола. Всё, чем меня угощали, мне не нравилось и я сразу после обеда стал проситься домой — особенно после того, что Женя, раздраженный моими капризами, раза два на меня прикрикнул. Но как тут было ехать ночью в Петербург? Меня уверили, что и поездов теперь до утра не будет, и я покорился. Катя с трудом меня успокоила и уложила. Я уже стал засыпать, когда меня разбудил странный шум, доносившийся со двора. С назойливой равномерностью что-то стучало в ночной тишине; иногда эта стукотня затихала, и прекращалась, но затем она снова раздавалась под самыми окнами... Это было не менее жутко, нежели появление «жены людоеда» и ничего подобного ни в Петербурге, ни в Петергофе я еще не слышал. Катя поспешила объяснить, что то бьет в колотушку ночной сторож, делающий обход, а делает он обход дач для того, чтобы «отгонять воров» и чтобы жители могли спать спокойно — вот и мне надлежало успокоиться и заснуть. Не тут-то было. При словах — «отгонять воров», мне сразу представилось, что здесь, в Павловске, и в соседнем лесу этих воров кишмя кишит и они только ждут, чтобы пойти на нас походом. Где тут одному сторожу с ними справиться?.. Всё же часам к двум, когда стук затих, я забылся и заснул, стараясь утешиться тем, что утром меня поведут к «настоящей» крепости, где стоят «настоящие» пушки, а затем мы проедемся по парку, к ферме, где царские дети пьют «самое вкусное молоко».

Но всё вышло совсем иначе. Проснувшись еще до солнца, я к беспредельному своему ужасу увидал в окне две, слабо выделявшиеся на фоне еле брезжившей зари фигуры. На головах у них были каски; сами они не двигались, но очевидно они только и ожидали подходящего момента, чтобы ринуться в комнату. Вырвавшийся у меня пронзительный визг, такой визг, какого я и сам еще не слыхал, разбудил Женю и Катю. Оба бросились ко мне, я же продолжал кричать, не имея возможности произнести ни слова и только указывая пальцем в окно. И каков же был мой стыд, когда выяснилось, что то, что я принял за воров, были две, стоявшие на подоконнике большие японские вазы с их шлемообразными крышками. Их пузатый силуэт, сквозивший через прозрачную штору, имел действительно что-то общее с человеческой фигурой, как бы старающейся подняться на локтях. Тут терпению Жени Лансере наступил конец, и он с первым же поездом сам отвез меня обратно к родителям, а злобный тон, с которым он объяснял маме столь непредвиденно скорое мое возвращение, в достаточной степени говорил о том, до чего пятилетний зятек ему надоел и отравил те несколько часов, что был его гостем. Это заслуженное озлобление не помешало ему вскоре после этой авантюры вылепить с меня превосходный бюст, который и был отлит из бронзы.

Причиной тому, что мои родители изменили летом того же 1875 года Петергофу, в котором они до тех пор живали на даче в течение четверти века, было то, что в этом году папа отказался от своей службы в Министерстве двора, связанной с Петергофом, в Павловске же ему надлежало возвести у вокзала большой деревянный театр, простоявший затем без изменения целых пятьдесят лет (сгорел театр уже при большевиках — в 1930 г.). Мы переехали ранней весной, когда деревья едва начинают покрываться светлозеленым пушком и стоит порядочная стужа; таков был обычай семьи Бенуа, предпочитавшей мерзнуть и мокнуть на даче, лишь бы поскорее выбраться из Петербурга, подальше

от его сутолоки. Но поселились мы не в каменном доме Лансере, а на деревянной дачке, довольно уютной и приятной, стоявшей рядом в глубине отдельного садика. Катя и Женя Лансере переехали вместе с нами на эту же дачу, но им была отведена более отдаленная от улицы часть ее — дабы Кате было спокойнее, так как в конце лета она ожидала ребенка. Ожидание этого события наполнило меня торжественным любопытством. Особенно интересно было то, что я буду тут же поблизости, когда «прилетит ангел» и положит на постель крошечного малютку. Тому, что детей доставляет аист, я уже перестал тогда верить, хотя изображение этой птицы с запеленутым младенцем в клюве было очень распространенным.

И как раз первое, что бросилось мне в глаза в Павловске, когда мы ехали с вокзала, был именно аист — скульптурное изображение его в гербе на фасаде только что тогда построенной огромной виллы господина Шторх. Папочка тогда же не преминул меня заверить, что именно этот аист и готовится принести обещенного мне племянника, однако шуточность его слов была слишком очевидной. В ангелов я верил твердо: не могли же обманывать картинки в Священном Писании.

Столь поразившая меня дача г-на Шторха и стала на первых порах главной приманкой моих прогулок по Павловску. Туда, к мосту, с которого открывался вид на это подобие замка, я и тянул свою бонну, очень мне полюбившуюся Лину, и оттуда подолгу я любовался и замком, и его необычайным гербом. Лишь после всяких уговоров Лине удалось меня затащить и в другие места, в Павловский парк и ко дворцу. Там приманкой для меня явился памятник Павлу I, стоящий в центре овальной площади перед фасадом дворца, в те годы принадлежавшего великому князю Константину Николаевичу[2]. Странное дело, но свою притягательную силу этот монумент оказал через много-много лет и на моего старшего внука «Татана» Черкесова, когда ему было еще

---

[2] Эта превосходная, необычайно характерная статуя, является повторением той работы Витали, которая с 1851 года украшает замковый двор Гатчины.

не полных два года. К этой статуе, которую он сам, неизвестно почему прозвал «дядей Павлом», он требовал, чтобы его подвозили в колясочке, а подъехав, он сползал на землю и тогда начиналась курьезная церемония. Малыш раза три обходил вокруг постамента, отвешивая поклоны и что-то бормоча себе под нос. Случай этот я предлагаю вниманию людей, интересующихся особенно загадочными проявлениями атавизма.

Нужно, впрочем признать, что этот памятник имеет действительно в себе, помимо своих художественных достоинств, и какую-то особую притягательность. Гордо занеся голову в огромной треугольной шляпе, вычурно, по-балетному, расставив ноги в тяжелых ботфортах, отнеся в сторону правую руку, которой он опирается на трость, безумец-государь представлен как бы присутствующим на смотру своих гренадеров. Меня, бредившего тогда военными парадами и маршами, пленило именно то, что в этой статуе выражено «военно-начальственного» — доведенного даже до карикатуры. Тогдашнее детское увлечение этой статуей, несомненно, легло в основу и тому своеобразному культу Павла, который я питал затем всю жизнь ко всей романтической фигуре императора. Уже тогда я знал «по секрету» от папы, что «бедного царя» задушили придворные, что он был добрый, но сумасшедший. Когда, едучи на Кирочную в гости к дяде Сезару, наша карета равнялась с Инженерным замком, то папа указывал мне на окна той комнаты, в которой это убийство произошло. И то, что об этом нельзя было говорить открыто, что это была какая-то запретная, всем известная, но и «всеми хранимая» тайна, придавало в моих глазах особый ореол несчастному Государю. Подойдя к памятнику в Павловске, я принимался его разглядывать со всех сторон, всматриваясь в ноздри вздернутого носа, любуясь сказочно огромными сапогами, треугольной шляпой, одетой на бекрень и длинной шпагой, выглядывавшей из-под подстегнутых фалд.

«Курносый император», комичный и страшный, нелепый и рыцарски-благородный, изящно-образованный человек и грубый солдафон, неудачный вершитель судеб мира, гросмейстер Иоаннитов без ореола святости,

образцовый патер фамилиас, в конце же жизни запутавшийся в «неудачных амурных интригах» — почему он до сих пор так пленяет меня? Еще удивительнее, что он заинтересовывал меня — пятилетнего мальчугана! Чем приковывает к себе тот портрет Боровиковского, в котором Павел, несмотря на императорскую корону, на далматику и порфиру, на скипетр и державу, выглядит каким-то шутом гороховым? Или еще тот портрет Павла, который с него написал Тончи, на котором он являет как бы самый тип нелепого неудачника и который потомки царя (с полным основанием) скрывали в одном из недоступных для обычных посещений кабинетов Гатчинского замка? Почему даже в те времена, когда я еще ничего не знал о Павле, кроме только того, что он был сумасшедшим и что его умертвили какие-то «злодеи», почему именно тогда я его «полюбил»? Как мне понятна и та любовь (вовсе не почтение и не страх, а именно нежное и любовное чувство), которое он умел внушить к себе тем, кого приближал к себе — Нелидовой, Ростопчину, даже Аракчееву и еще нескольким. Не потому ли еще живет во мне особое чувство к Павлу, что я узнал его через Павловск, что я подошел к нему через поэзию этого зачарованного мира, точно так же, как прадеда Павла — Петра Великого, я полюбил через поэзию Петергофа?

Всего в нескольких шагах от нашей дачи стояла «Павловская крепость», носящая шутливое название «Бип». И вся-то крепость эта — такая бессмысленная, такая «картонная», со своими никчемными, вовсе на средневековые замки непохожими башнями и с подъемным мостом, с равелинами и контрэскарпами, с «игрушечными» пушками на лафетах и со статуями рыцарей в нишах у ворот, носит такой же шутовской характер, как ее прозвище. Пятилетним карапузом я чуть ли не ежедневно бывал у крепости и, пользуясь тем, что Лина, усевшись на траве, отдавалась чтению какой-либо книжки, я без устали карабкался вверх по мягкой траве окопов, скатывался с них или же, взлезая на лафеты пушек, заглядывал (не без опаски) в их «грозные» жерла. Крепость — детская игрушка монументальных размеров, но не детской ли игрушкой представлялась Павлу вве-

ренная ему Богом империя, эта неисчерпаемая кладовая «оловянных солдатиков», которых он гонял через всю Европу, которых он посылал сражаться в защиту священных и грандиозных, но всё же им как-то по-детски понимаемых идей? А не взрослым ли ребенком он проехался по той же Европе, в сопровождении своей статной и добродетельной, но скучноватой супруги? Не детским ли гневом плохо воспитанного ребенка гневался он на тех, кто не умели ему угодить, кого он прямо с плацпарада отправлял в Сибирь за отстегнувшуюся пуговицу? Не детским ли кошмаром было всё его пресловутое безумие, его растерянность, его страх, его жажда подвигов и столь неуместная, несвоевременная, плохо направленная «справедливость»? Обреченная жертва, он всю свою недолгую жизнь сознавал эту обреченность (не сознавал ли ее и потомок Павла — Николай II?) и пытался вырваться из-под гнета этого ужаса. Он силился найти себя, утвердить свою волю, но ее-то ему и не хватало — ему не хватало той самой выдержки воли, которой было так много у мудрой и хитроумной и ненавистной ему матери и которую унаследовал от нее сын Павла — строгий Николай, с неукоснительной выдержкой отбывавший свою царскую повинность и за эту честную и жертвенную службу России навлекший на себя презрение нескольких поколений.

Разумеется, в 1875 году меня, пятилетнего, такие «исторические» мысли не посещали. Напротив, как и всякого другого ребенка, меня в Павловске особенно манили два места: Розовый Павильон и Сетка. То были сборные пункты дачной детворы, хотя как раз Павильон роз находился на довольно далеком расстоянии от нашего жилища и туда иначе, как пешком, нельзя было добраться. Я часто таскал туда покорную Лину, а по воскресеньям и самого папочку.

Приманкой в Розовом павильоне служил мне вовсе не самый тот милый «помещичий домик», на фасаде которого написано по-французски: «Pavillon des Roses», и не тот садик, в котором погибало несколько чахлых розовых кустов, а служили приманкой детские игральные приспособления, стоящие здесь с самых дней Марии Федоровны. Можно было крутиться, сидя на деревян-

ных лошадках, можно было катать шары на кегельбане, можно было до одури качаться на разного рода качелях, и тут же возвышалась катальная горка, с которой скатывались на специальных салазках или же просто садясь на гладкую наклонную плоскость. Это скатывание было моим любимым занятием — занятием, которому, кстати сказать, я предавался и зимой у нас в зале, где папа устраивал «горку» довольно примитивным образом, кладя на высокий табурет конец, покрытый клеенкой, широкой доски, другой конец которой касался пола. И сколько же заноз я и мои маленькие приятели получали на самом чувствительном месте, благодаря тому, что мы с размаху съезжали на этот наш старинный паркет! Спрашивается, что в таком скатывании хорошего, что нам так нравилось? Однако нравится же людям, даже совершенно взрослым, летать с «американских» и «русских» гор. Внутри дворцов для забавы царских детей сооружались такие же, но довольно высокие горы отличной столярной работы.

Сеткой называлась другая Павловская забава. Она была устроена поблизости с дворцом в боскете специально отведенном под «морские» упражнения детей великого князя, генерал-адмирала русского флота, Константина Николаевича. Состояла Сетка из мачты, с ее канатными лесенками и реями, и из туго натянутой под ней канатной сетки. Можно было без риска увечий производить всякие эволюции на реях и на лесенках, так как в случае падения эта сетка вас подхватывала. Масса более взрослых мальчишек (все одетые в матросские рубахи) с утра до ночи взбегали здесь по лесенкам и проделывали, под наблюдением двух всегда при Сетке дежуривших матросов, всякие акробатические номера. Мы же, «малыши и карапузы», мальчики и девочки, довольствовались тем, что топтались по сетке, куда мамаши, няньки, гувернантки или те же дежурные матросы нас подсаживали. До сих пор я помню то насладительное ощущение, которое испытываешь, топчась по зыбкой, поддающейся и снова вздымающейся под ногами дырявой поверхности. Наслаждение это было столь острым, что когда наступал момент идти домой, то раздавался

рев. Плакали все мои сверстники, но громче всех плакал я.

Отчетливо запомнились мне и работы папочки над постройкой театра в Павловске. Покаюсь, мне не нравилось это здание, сочиненное им в каком-то, как в те годы требовалось, псевдо-русском стиле. Театр, несмотря на свои четыре яруса, казался снаружи не в меру расползшимся и приземистым, а фасады его состояли из одних галерей на столбиках. Эти галереи обслуживали снаружи ложи и коридоры. Столбики соединялись посредством аркатур, из прорезаных орнаментов и это придавало зданию какой-то беспокойный и уже очень не серьезный вид. Неудачно был выбран и цвет, в который театр окрасили — темно-коричневый, «скучный», плохо вязавшийся с зеленью парка. Впрочем в своем окончательном виде театр предстал только в самом конце нашего пребывания в тот день, когда я был доставлен на вокзал, чтобы на поезде вернуться в Петербург; во время же производства работ мне очень нравилось бывать на постройке, всюду сопровождая папу, лазая с ним по мосткам, взбираясь по сквозным ступенькам и доскам «под самое небо». Над сценой на «портале» папа поместил (по примеру Мариинского театра) большущие часы, но самый механизм их не поспел ко дню открытия театра и циферблат на первых порах был заменен вставленным в его рамку изображением колоссальной головы Аполлона. Эту голову я «помогал» делать папе, когда он (больше для собственной забавы) вздумал ее написать сам. И как чудесно, по всем правилам школы Давида и Шебуева, он это исполнил! Лист аршинной бумаги был положен на полу в гостиной нашей дачи и разграфлен бледными квадратиками, на которые и наносился абрис, согласно с предварительным эскизом. Мне была затем поручена (из чистого баловства) раскраска желтым гумигутом лучей, шедших от головы бога, что я, с чрезвычайной аккуратностью и удачно исполнил. Какова же была моя гордость, когда я увидал на месте вставленного нашего Аполлона! Каким он мне показался прекрасным и грандиозным.

Папин театр вырос в нескольких шагах от «вокзала». Курьезно то, что это слово вокзал, — которое для

русского уха отождествляется с понятием о станции железной дороги, — было впервые употреблено в России именно в применении к этой конечной станции первого в России железнодорожного пути, соединявшего столицу с Царским селом и Павловском. Тогда же, в тридцатых годах, при станции была устроена концертная эстрада и большой ресторан и этому увеселительному ансамблю и было, в подражание лондонскому, всемирно когда-то известному Vaux-Hall, присвоено название вокзала. Постепенно такое наименование стало означать любую, несколько значительную станцию.

«Вокзал» являлся для постоянных (взрослых) обитателей Павловска главным сборным пунктом, своего рода клубом на открытом воздухе. Сюда же по вечерам, отчасти для слушания музыки, а более для того, чтобы хорошо покушать в славившемся вокзальном ресторане, приезжала масса петербуржцев, которые самим Павловском и его буколической красотой не интересовались вовсе. Была впоследствии и у меня полоса, когда я сделался завсегдатаем Павловских концертов, перебравшихся к тому времени в специально для того построенное закрытое помещение. Но это мое увлечение Павловским вокзалом относится к иной эпохе, к моим студенческим годам, тогда как в детские годы «вокзал» и его округа были для меня местом скорее ненавистным. Трудно себе представить ту скуку, которую я испытывал, когда бонне удавалось меня затащить туда, и я был вынужден топтаться на солнцепеке по пыльному песку дорожек или смирно сидеть на скамейке, тем временем, как Лина предавалась болтовне с какой-либо знакомой бонной или гувернанткой. Мы и в Петербурге иногда совершали подобные посещения увеселительного сада, что находился при доме Демидовых, но там, на открытой сцене, я мог по крайней мере смотреть, как клоуны или акробаты готовили свои номера[3]. А здесь, в Павловске, среди дня

---

[3] Демидов Сад или, как его называли тогда, «Демидрон» выходил на Офицерскую. В построенном на его территории театре впоследствии помещалась антреприза Неметти, а позже театр В. Ф. Коммиссаржевской, но в 1870 годах Демидов Сад был только увеселительным садом, в котором были две открытые сцены и разные нехитрые развлечения, вроде стрельбища, карусели и

приходилось слушать настраивание инструментов или же репетицию непонятной, трудно усваиваемой и беспрестанно прерывавшейся дирижером симфонической музыки. Это было убийственно скучно!

Но вот, придя однажды с Линой на вокзальную площадку, где не было и намека на тень и где вместо кустов сирени, чахли в зеленых бочках «тропические растения» вокруг никогда не бившего фонтана, мы застали здесь несравненно больше народа, нежели обыкновенно бывало днем, да и публика была совсем особенная, нарядная. Щеголихи шуршали шелками своих шлейфов и защищались от солнца крошечными пестрыми зонтичками, а кавалеры сосали тросточки и вскидывали в глаза монокли. Не мало было и военных в белоснежных кителях. А на эстраде — там, где в другие дни я видел махающего палочкой бородатого Главача, — теперь стоял затянутый, вытянувшийся в струнку, заморского вида, затейливо причесанный господин. Он то широким взмахом правой, то успокаивающим жестом обеих рук, заставлял музыкантов играть как раз те вальсы, от которых тогда в дикий восторг приходили «большие» и под которые на балах кавалеры до обморока кружили своих дам. Этот стройный господин был среди дня во фраке (фрак в ту эпоху вообще надевался по всякому поводу и даже утром — для визитов), а его хорошенькое личико было украшено бравыми усами и обрамлено бачками.

То был сам Иоганн Штраус. Божество всей Европы (об Америке тогда меньше думали), диктатор придворных и светских балов, покоритель мириада дамских и девичьих сердец. Тут в это летнее утро выдался случай поглядеть на него и послушать его во время репетиции на даровщинку (за вход на вокзал ничего не взималось), да еще и без тесноты и давки, которая получалась вечером, когда «на Штрауса» ожидались экстренные, битком набитые поезда. Но какое было мне тогда дело до Штрауса? Разве только, что я смог затем похвастать, что собственными глазами видел этого знаменитого человека, портреты которого были даже мне известны.

кегельбана. Вход в этот сад в утренние часы был свободен для детей и нянек.

Знаменитые же его вальсы я тогда терпеть не мог, и это было даже первое во мне определенное выражение какой-то музыкальной идиосинкразии. Хоть я еще самого слова пошлость не знал, однако пошлость я ощущал очень остро и мне именно пошловатый дух этой музыки был не по нутру. Позже я изменил свое отношение к автору «Die blaue Donau» так же, как я изменил и отношение к авторам «La fille de madame Angot» и «La belle Hélène». Я достаточно для того «развратился». Но пока я еще был «неиспорчен», я эту, типичную для своего времени музыку терпеть не мог: она даже вызывала во мне странное чувство, похожее на тошноту. Видно, я уже тогда «не шел с веком». Мне, например, ненавистны были такие причуды моды, особенно мужской, как прическа à la Capoule, растопыренные у шеи воротнички, плоские круглые шляпы и штаны книзу раструбом; в дамском наряде мне ужасно не нравились высоко взбитые на спине массы материи, кружев и лент и низко свисавшие на спину шиньоны.

Наше павловское лето 1875 г. кончилось для меня довольно печально. Заразившись от детей дворника, я заболел скарлатиной. И нужно же было так случиться, что болезнь обнаружилась как раз накануне того дня, когда «дядя Чарльз Хис» пригласил меня к себе на дачу (стоило дорогу перейти, чтобы оказаться у него), принять участие в играх его высочайших воспитанников, любивших приезжать к нему и играть в его саду в солдаты! Для того даже была устроена палатка-землянка, а при палатке стояла настоящая полосатая будка со столбом для колокола.

Первые дни болезни я лежал в сильном жару и в довольно приятном полузабытье, но временами меня вдруг схватывало желание выскочить и пройти в соседние комнаты. Чтобы удержать меня под одеялом, мне сулили новые картинки, новые игрушки, и тогда мое возбуждение сменялось ожиданием этих подарков. Под вечер я мучительно вслушивался в шумы, окружавшие дачу, стараясь уловить стук колес извозчика, на котором возвращался с вокзала папочка. Вот я слышу, как хлопнула калитка, по ступенькам крыльца подымаются папины знакомые шаги, он уже в дверях и обращается

ко мне с обычными ласкательными словами на своем, специально для излияния чувств созданном, «тарабарском наречии». Меня однако вид его самого не трогает, а я стараюсь разглядеть, что у него в руках. Чаще это приводило к разочарованию — у папы, кроме портфеля, ничего не оказывалось, но в особо счастливые дни в ответ на мои плаксивые требования папины руки протягивали пакет с теми или иными «сюрпризами» (это было у нас традиционное слово для обозначения подарков), и тогда всякое ощущение болезни исчезало, хотя, вероятно, от волнения температура повышалась в значительной степени.

О самом течении болезни я почти ничего не помню. Не помню и о каких-либо определенных страданиях, в памяти осталось только то, как меня то и дело перекладывают из моей кроватки на большую, родительскую кровать и обратно. Это перекладывание вызывалось необходимостью менять намокавшее от обильного пота белье. Мамочка при этом утешала себя, что «потом вся болезнь выйдет». Лучше я себя помню в периоде медленной поправки, сидящим на просторе двуспального родительского ложа, окруженным игрушками и книжками. На колени мне положен большой картон и я на нем расставляю только что полученные оловянные фигурки — охоты. Среди ажурных деревьев несутся олени, зеленые охотники стреляют в них из ружей, на конечности коих был представлен выстрел — дым и пламя, другие на конях гонятся за зайцами и кабанами. А то я разглядываю только что привезенные листы «Münchener Bilderbogen» — препотешные истории про влезающих в дом воров, про пуделя Ка́ро, который находит серебряный талер в брюках странствующего мастерового или про атлета, который проваливается через пол прямо на нижних жильцов. Вечером меня окончательно укладывали «к себе» в кроватку красного дерева, плотно, плотно запихивалось одеяло и я лежал, как запеленутый. Но тут начиналась пытка бессонницы. Из соседней столовой проникал мягкий свет лампы, по крыше барабанил дождь, с улицы доносилась знакомая, уже не тревожившая меня стукотня ночного сторожа.

В этот же период болезни произошло обещанное

с начала лета семейное событие. У Кати родился маленький Женя и до меня стал доноситься его слабый захлебывающийся крик. Как я рассердился на Лину за то, что она меня не разбудила, когда прилетел ангел с ребеночком. Таким образом остался неразрешенным для меня вопрос, был ли то действительно ангел и как он выглядел? Катю я увидал через несколько дней, когда ее под руки провели мимо меня в гостиную. Она была в сером, никогда мной раньше невиданном халате, а за локоть ее поддерживала Софья Яковлевна — дама, иногда появлявшаяся на нашем горизонте и принадлежавшая к нашим интимным домочадцам. Степанида, странно подмигивая, говорила в таких случаях — «это она и вас принесла», что, разумеется, меня возмущало, так как я не сомневался, что меня-то уже наверное принес самый распрекрасный ангел. И, подумаешь, та же Софья Яковлевна двадцать лет спустя стояла у постели моей жены, и это она «принесла» тогда нашу старшую дочь. А сколько отпрысков семьи Бенуа она успела еще «принести» между этими двумя событиями!

К концу болезни мне чуть было не произвели «операцию» — какое ужасно страшное слово. У меня образовался огромный нарыв за левым ухом и лечивший меня в Павловске доктор Павлинов настаивал на том, чтобы эту шишку взрезать. Мамочка же была врагом всякого хирургического вмешательства, сопротивлялась и откладывала операцию. Всё же день ее был назначен и, в положенный час доктор явился со своими инструментами. Но тут меня спасла хитрость, о которой я всегда вспоминаю не без известной гордости, вроде той, с которой какой-либо очень лукавый дипломат должен вспоминать об особо удачном политическом ходе. Услыхав, как подъехала докторская пролетка, я повернулся на бок, закрыл глаза и изобразил человека, заснувшего непробудным сном. Павлинов пробовал меня разбудить сначала словами, потом трясением и дерганьем, но я продолжал «спать». Тогда доктор попробовал прибегнуть к хитрости: «Посмотри, Шуренька, какую я тебе привез штуку, какой барабан, каких солдатиков». При этих словах моя комедия сделалась мучительной. Мне ужасно захотелось взглянуть на столь замечательные

вещи, но страх перед операцией превозмогал, я глаз не открывал и даже попробовал захрапеть. Наконец, мамочка произнесла прекрасные слова: «Оставьте его доктор. Он так сладко спит, ему сон всего полезнее — он всю ночь не спал. Отложим операцию до завтра». И доктор сдался, забрал свои пожитки и покатил дальше.

И только тогда, когда и последний стук колес замер, я открыл глаза и сразу же закричал: «Где барабан, где солдатики»? Разумеется, ничего этого не было, да я и сам понимал, что доктор меня обманывал. На ночь же мама поставила на шишку припарку из винной ягоды и к утру опухоль прорвалась, причем вытекло невероятное количество какой-то дряни. Приехал Павлинов, а я уже сижу, обложенный подушками, с повязкой вокруг шеи, веселый и радостный, ибо всякие терзания кончились и я отлично знал, что теперь меня резать не будут. При этом мне было ужасно смешно, что я этого бородатого, большущего господина в форме с золотыми эполетами так провел. Было забавно увидать его сконфуженный вид и услыхать в тоне мамы какое-то торжество. Ведь вышло, что права была она, точнее — мы оба.

Через два дня я уже был поднят и на меня надет халатик, а еще через день мне позволено было пройти в гостиную. Но при первой попытке ступить на пол я чуть было не грохнулся; к счастью мама и Лина удержали. И потом некоторое время я не мог иначе передвигаться, как держась за стулья и столы. Это было смешно. Но вовсе не смешно было целыми днями сидеть в полутемной дачной гостиной. Несмотря на пылавшую круглый день печь, в комнате чувствовалась сырость, а на дворе лил непрестанный дождь, от которого до того размыло дорогу, что редкие извозчики, которых я отчетливо теперь видел из-за совершенно оголившихся кустов сада, колыхались по ней, точно лодки по волнам. Через последнюю желтую листву открывались какие-то далекие постройки и заборы, о существовании которых я раньше и не подозревал. Окна опустевшей дачи дяди Хиса стояли закрытыми, а от палатки для царских детей и след простыл. Часы тянулись тягучие, все новые игрушки успели надоесть, картинки изучены до по-

следних подробностей, а от лакомств, от любимого гоголь-моголя тошнило — уже слишком меня им пичкали. Хуже всего было то, что мама теперь реже сидела со мной — она проводила целые дни с новорожденным внуком. У меня даже отняли мою Лину — ее уступили Кате после того, как нанятая к ребенку нянька оказалась неподходящей. Поэтому-то я был счастлив, когда настал день отъезда, и с Павловском я простился без всякого сожаления.

Вот я уже в вагоне, вот замелькали ели парка, а среди них белый павильон Музыкального Зала: потянулись поля, огороды, промелькнули станции Царского Села и Средней Рогатки, справа проплыла роща со многими надгробиями (там были похоронены жертвы первой в России железнодорожной катастрофы), слева, при замедленном ходе, появилась эффектная Егерская церковь. Мы снова в Петербурге. При выходе с вокзала в толкотне меня чуть было не потеряли, но снова нашли и посадили в карету. У самого нашего дома меня ожидало огорчение. Вместо любимого мной старого Никольского сада с его вековыми деревьями — я увидал нечто, показавшееся мне жалким и общипанным — то был только что разведенный по всем правилам городского садоводства новый «сквер», кустики которого едва подымались из-под земли. Исчезла со стороны нашего дома и старинная ограда Никольского сада, с ее массивными столбами и зелеными решетками. Вместо нее садик окружала жидкая низенькая металлическая сетка. Я так обиделся на эту метаморфозу, что сначала отказывался посещать новый сад. Единственно, что меня в нем манило, были два фонтанчика с чугунными амурами посреди и с такими же, клевавшими воду лягушками по краю водоема.

Глава 33

СНОВА В ПЕТЕРГОФЕ

На лето 1876 года мои родители снова поселились в Петергофе, но на сей раз папа не получил казенной дачи (я уже упомянул, что он отказался от своей петергофской службы) и пришлось довольствоваться наемной. Нанятая большая дача стояла на участке, принадлежавшем госпоже Бабушкиной, и выходило, что мы живем на «бабушкиной даче», что, однако, не означало, что эта дача принадлежала нашей бабушке. На эту тему все по-всякому острили, и я не меньше других — ведь теперь я стал «совсем большой» — мне минуло в апреле шесть лет и хотя я еще не умел ни читать, ни писать, но на окружающее я смотрел более сознательными глазами и имел даже о многом свое суждение.

Находилась Бабушкина дача не очень далеко от Кавалерских домов и всё же в совершенно иной местности. Через дорогу от нас расстилался обширный луг, служивший для упражнений кадет, а сами кадеты в своих холщевых светлых кителях с красными погонами населяли ряд одноэтажных белых домиков с красными крышами, расположенных в два или в три ряда в глубине этого поля. Было очень интересно, как эти «маленькие солдаты» стройными рядами выходили на учение, как они производили разные эволюции и как они упражнялись на трапециях и турникетах. Однажды какие-то знакомые кадетики затащили меня, с разрешения воспитателя, в свою беседку. Пришлось, несмотря на протесты, угощаться теплой, почти размокшей плиткой шоколада, вытащенной из брюк самого гостеприимного из

мальчиков. Зато меня пленил расписанный красками столик, стоявший посреди беседки. На его темнозеленом фоне, «до полного обмана» были изображены коробка спичек, три папиросы, игральные карты и две накрест положенные спички — точно кто-то здесь всё это оставил. Автор оказался тут же, это был маленький краснощекий кадетик — так и расплывшийся от счастья, что его произведение заслужило восторженное внимание гостя. И кто знает, быть может, этот же кадетик, ставший с тех пор доблестным генералом, прочтет мои строки, вспомнит и тот ясный солнечный день, когда он с товарищами пригласили чужого «мальчика с соседней дачи».

До Нижнего сада от Бабушкиной дачи было довольно далеко, зато до Верхнего сада, который разбит у самого Большого Дворца, рукой подать и входили мы в него не через дворец, как это было принято, а через монументальные ворота, выходившие на большую шоссейную дорогу. Высокие каменные столбы этих ворот были украшены любимыми Растреллиевскими шныркулями со львиными головами и были выкрашены в «казенные краски» ярко оранжевую и белую. Неподалеку от ворот, справа и слева от средней аллеи, стояли широко расползшиеся круглые беседки со скамьями вокруг, а затем, минуя «злого Нептуна» и чудесно пахнущие сиреневые кусты, можно было в тени вековых лип, с громадными наростами на стволах, дойти до цветника, расположенного под самыми окнами Большого Дворца. Но не цветы тянули меня туда. Там ежедневно производилась смена дворцового караула и это представляло для меня захватывающий интерес. Из гауптвахты дворца выбегала и выстраивалась одна партия «солдатиков», а другая подходила откуда-то издалека; слышались отрывистые приказы, играла музыка, опять приказы, и те солдатики, что вышли из дворца, уходили, а те, что пришли, сложив ружья, располагались внутри гауптвахты. Один только выделенный из прибывшего отряда, солдат с ружьем на плече оставался снаружи и безостановочно шагал взад и вперед по дощатой площадке. Недоступность этой площадки служила символом военной дисциплины и неприкосновенности.

Я знал, что на эту площадку ни в каком случае

нельзя ступить. Это было вроде «чурного места», куда, забежав во время игры в пятнашки, можно было оказаться в недосягаемости. Но тут было нечто и совсем другое. Меня предупредили, что если бы всё же на это чурное место кто-либо дерзнул вступить, то часовой должен такого человека зарубить или застрелить! И вот какой-то бес толкал меня отважиться на проделку, связанную с таким риском. Я заставлял няню (после ухода Лины у меня снова была русская няня) подойти к самому краю площадки и я уже заносил ногу, как бы собираясь на нее вступить. Часовой настораживался, делал строгое лицо, я отходил, принимался разглядывать солнечные часы, стоявшие тут же, а через минуту, невзирая на мольбы няни, та же дурацкая игра повторялась и это до тех пор, пока солдат не буркнет что-либо или даже не пригрозит, что вот он меня сейчас отдаст придворному арапу, и как раз черномазый, одетый в роскошное платье негр, стоя в дверях дворца, скалил белые зубы, имея обыкновение беседовать здесь с ливрейными лакеями.

До сих пор я как будто не говорил о главнейшей достопримечательности Петергофа, о Монплезире. Между тем, я тогда уже, когда был еще совсем маленьким мальчуганом, питал особую нежность к этому месту с его низкими, под кирпич раскрашенными, домиками, спрятанными в тени, самим Петром посаженных лип. В среднем и главном из этих домиков, покрытых высокой, в малиновый цвет выкрашенной крышей и живал когда-то сам Петр Великий. Это говорили мне с благоговением старшие, и я, прикладывая глаза к старинным, доходившим до земли, окнам смутно различал через толстые чуть корявые стекла то, что было внутри: черные и белые шашки пола и какие-то длинные коридоры с расписными потолками, увешенные по темным дубовым стенам картинами. Особенно мне нравилась очаровательная комнатка, вся уставленная по золотым консолям белыми и синими вазочками. Если я долго так глядел в этот зачарованный мир, то чудилось, что сейчас распахнутся двери и из одной комнаты в другую пройдет своей саженной походкой по каменному полу большущий царь и грозно взглянет на меня. Через одно из окон

бокового флигеля видна была еще обширная, почти пустая зала («ассамблея»), уставленная по стенам рядом стульев, похожих на те, что стояли у папы в кабинете. Эти стулья точно всегда ожидали прибытия многолюдного собрания, но унылая эта зала с ее ткаными шпалерами, на которых были изображены темнокожие люди с перьями на головах, крокодилы, носороги и «бешеные» лошади — не располагала к веселью.

Но к Монплезиру меня манила не одна старина. У самого дворца и у самого моря находилась знаменитая Мраморная площадка, пол которой был устлан беломраморными плитами. Вдоль окаймляющей ее белой же балюстрады с толстенными круглыми столбами были расставлены зеленые садовые скамейки. Сидя на них полагалось любоваться видом на Финский залив и особенно теми натуральными фейерверками, которые божественные пиротехники устраивают вечерами по западному небосклону. Это место было особенно облюбовано всевозможными гувернантками. «So beautiful», — вздыхали, вступая на ее плиты, англичанки; «c'est ravissant» — утверждали француженки; «wunderschön», — лепетали немочки. Почему-то у меня осталось такое (довольно ложное) воспоминание, что на площадке Монплезира, кроме кисейных барышень и вот этих мисс, мадемуазелей и фрейлейн, никого не бывало. Обычай требовал чинно придти, восторженно воскликнуть, усесться и молча взирать на эту «признанную красоту» — вроде того, как скажем, посетители Дрезденской галереи в немом упоении млеют перед «Сикстинской Мадонной».

Что касается меня, то я был не особенно чувствителен к виду, открывавшемуся с мраморной площадки, зато мне нравилось ощущать под ногами гладкий мрамор плит и тот невысокий мраморный порог, через который надлежало переступить, чтобы попасть на них. Дети вообще чувствительны ко всяким «аппетитностям» — будь то глазурь какой-либо вазы или шелковистый ворс кота или полированное дерево. Тут же рядом можно было ощущать и другую «аппетитность», ибо терраса вокруг миниатюрного дворца была выложена, на голландский манер, кирпичами, ребром вверх. Кирпичи образовывали геометрические узоры. Приятно было по-

пасть с песка дорожек на чуть взъерошенную поверхность кирпичной кладки, а с нее переступив порог — на гладкий мрамор, ощущение же этого благородного камня под ногами производило во мне сразу перестановку на торжественный лад. Я исполнялся какого-то театрального величия, мне казалось, что я принц, что я повелитель Вселенной. Этому способствовала торжественная сень Петровских лип, протягивающих свои могучие ветви над площадкой, и плеск морского прибоя о груды камней, которые ее подпирали. А в каком чарующем претворении доносилась сюда музыка придворного оркестра, игравшая под открытым небом, тут же за Монплезиром — у Царской купальни...

Для слушанья этой музыки съезжалась и сходилась публика со всего Петергофа. Но я не был в те времена большим охотником до этих концертов, особенно, если в прохладные и очень сырые вечера надлежало при этом смирно сидеть под плэдом в ландо и не мешать старшим слушать. Я не очень верил, что и старшие действительно наслаждаются. Бывало только начнешь вслушиваться во что-то знакомое оперное или задорное, а тут как раз кузина Соня или бабушка и даст распоряжение кучеру, чтобы он выехал из ряда экипажей и проехался по аллеям. Вернувшись же после «тура» к «музыке», мы оказывались в ряду экипажей последними и оттуда было уже плохо слышно. Бывало и так, что коляске позади нашей надоест стоять и топот ее лошадей врежется в самый насладительный момент. Иногда мне удавалось освободиться от опеки «наслаждающихся старших», меня отпускали с кем-нибудь из кузин на землю и с этой минуты — какая радость! — можно было пользоваться всем простором этого концертного зала под открытым небом для своих ребяческих развлечений — велено только было не слишком удаляться и вернуться по первому зову.

И сама музыка с этого момента освобождения от обязательного сидения в коляске превращалась в чудесный аккомпанемент нашим играм. Всегда я тут встречал знакомых детей и с ними затеивались горелки, прятки, пятнашки и чудная игра в палочку-веревочку, а при преобладании мальчиков и более бурная — в «казаков-раз-

бойников». Сколько тут было мест для пряток. Прикурнешь с какой-нибудь расфуфыренной и надушенной Лидочкой за стеклянным «птичником» и чувствуешь особое наслаждение, если какой-нибудь Павлуша или Саша никак не может тебя найти. А то начнешь в высокой и густой траве, несмотря на запрет, ловить лягушек, очень ценивших эту местность, всю изрезанную стремительно мчавшимися к морю ручейками. Теперь я бы, пожалуй, побрезгал взять лягушку в руки, тогда же мне доставляло особое удовольствие держать скользкую, дрыгающую, неистово пульсирующую тварь и пугать ею кузин или какую-нибудь другую случайную участницу в играх.

Мне скажут, что для таких глупых забав можно было найти более подходящие места, нежели петергофскую «Музыку» — однако именно на этой «Музыке» они получали особую приятность, — ведь вся атмосфера «Музыки» была какой-то приподнятой, праздничной. Журчащая под мостиками вода и шелест листвы — удивительно сливались со звуками оркестра. Особенно действовало и благочестивое молчание рассевшейся по скамьям публики, пришедшей наслаждаться тем, что для нее приготовил ее любимец, дирижер придворного оркестра Гуго Варлих. Действовала также вся «декорация» — эти своеобразные здания вокруг, «голландский поселок» Монплезира, рядом с которым стояли более внушительные дворцовые постройки Елизаветинской эпохи, выкрашенные в желтый и белый цвет (в нем угощали раз в лето приезжавших в Петергоф институток-смолянок). Очень я любил и помянутую пузатую беседку, когда-то, при Петре служившую птичником. Ее застекленные двери не распахивались, а подымались, а непомерно тяжелый зеленый купол, которым она была увенчана, придавал ей сходство с дамой в широком роброне. Тут же, по другую сторону, стояла Царская купальня с аркадами и нишами и с вазами в них. Живопись, изображавшая пейзажи, как бы видимые через эти аркады, сильно от времени поблекла, но это только прибавляло поэтичности этой затее времен Екатерины II. В те времена резвившийся шестилетний Шуренька Бенуа редко вслушивался в то, что играли то духовой полковой оркестр, то тот самый струнный, который услаждал слух высо-

чайших особ на придворных балах, но Шуреньку насыщенная музыкой атмосфера окружала и он всё же «по-музыкальному» блаженствовал в ней так, как никогда, пожалуй, во всю свою жизнь затем не блаженствовал...

Были еще два павильона в Нижнем саду, к которым меня тянуло и куда я заставлял во время воскресных прогулок с папой, заглядывать — то были Марли и Эрмитаж. В Марли самое интересное было не самый этот белый домик с его опрятными комнатками, а золотые рыбки в пруду, у которого он стоял. Забавно было глядеть, как сотни этих рыбок устремляются на крошки хлеба, бросаемые старым-старым дворцовым лакеем. Чтобы привлечь к берегу рыбок, он звонил в колокольчик, и тотчас же массы, сверкающих золотом обжор являлись и расхватывали хлеб. В «Эрмитаже» мне нравилось, что этот кубический домик, простой, но прелестной архитектуры был, как крепость, окружен рвом, выложенным кирпичами и плитами. Чтобы попасть в Эрмитаж, требовалось пройти через этот ров по перекидному мостику. Меня интересовали и картины, которыми были сплошь убраны стены верхнего зала — с Полтавской баталией среди них, но верх удовольствия я испытывал, когда сторож демонстрировал механизм, посредством которого, во время обедов, блюда за круглым столом Эрмитажа могли опускаться и подыматься без помощи видимой прислуги. Кухня помещалась в нижнем этаже и там дежурные слуги, не допускавшиеся в верхний зал, принимали спускавшиеся грязные тарелки и ставили на подъемные подносы чистые с новой переменой.

Первое, но очень ясное и я бы сказал «фамильярное» представление о Петре Великом я именно получил при посещении этого игрушечного, на самом берегу стоявшего дворца с его шуточным столом. И разумеется, ничего предосудительного и смешного я не усматривал в том, что вот царь у себя устроил такую потеху. Напротив, этот ребяческий кунштюк приближал его грандиозный образ до моего понимания, вызывая к себе одновременно и то особое почтение, которое я питал ко всяким кудесникам и фокусникам. Петр Великий, угощающий своих царедворцев в этом квадратном «стеклян-

ном» зале, из которого виднелся широкий простор моря, за этим круглым волшебным столом, блюда и тарелки которого «сами отправлялись» за едой, представлялся мне не иначе, как неким магом. Я еще ровно ничего не знал о том, о чем читали и спорили «большие», а уже был полон благоговейного восторга перед этим «веселым великаном», про которого мне рассказывали, что он был выше и сильнее «всех», а широкое плоское лицо которого, с его вздернутыми и подбритыми усами, мне бесконечно нравилось.

К тому же, 1876 году относится и мое первое отчетливое воспоминание о пикниках. Они предпринимались всей нашей семьей, иногда с участием и других знакомых семей. Самой характерной для Петергофа и самой обыкновенной целью таких пикниковых экспедиций были Бабигоны.

Откуда взялось это название, кажется не выяснено. Возможно, что тут произошло такое же искажение какого-либо финского слова, как то, что привело к образованию пышно великолепного названия Царское Село из скромного финского Зариц. Во всяком случае, слово Бабигоны могло способствовать образованию известной игры слов, а уже от этой игры слов образовался и обычай производить на Бабигонских высотах «бабьи гонки». Впрочем, приезжавшие сюда в колясках и ландо гоняли не столько взрослых баб, сколько девчонок и мальчишек.

Ехали туда целым караваном и непременно с прислугой, с самоваром и с огромными корзинами. В одной из этих корзин были сложены угощения и вина, в другой призы для гоняющихся: пестрые шелковые ленты, платочки, бусы, купоны ситца, а также гостинцы на особый деревенский вкус: пряники, леденцы-монпансье, стручки, орехи. Благодаря этим гостинцам лето для Бабигонской детворы проходило в непрерывном лакомстве, и, пожалуй, здесь легче было найти ребенка окончательно пресыщенного сладостями, нежели в городе.

Конечной целью Бабигонского пикника была самая

деревня, расположенная по гребню довольно высокого холма, в нескольких верстах на юг от Петергофа. Но и путь до Бабигон представлял (особенно для меня и моих сверстников) большой интерес, так как он был украшен всевозможными достопримечательностями. Сначала надо было ехать длинной Самсониевской аллеей, по среди которой в канале лежали фонтанные трубы (это был тот самый канал, куда свалился шарабан дяди Митрофана, причем чуть не погиб кузен Женя Кавос). На половине своего протяжения аллея прерывалась железнодорожным полотном и тут, если шлагбаум был опущен, надлежало ждать прохода поезда. Упиралась же Самсониевская аллея в павильон Озерки, похожий на тот, который украшал Царицын остров. Оба мне представлялись верхом роскоши, а позже эти здания, типичные для немецкой архитектуры середины XIX века (их строил любимый архитектор Николая I — Штакеншнейдер) казались мне точным воспроизведением древне-римских вилл. Традиция требовала остановиться у Озерков. Все, кроме бабушки и других пожилых дам, вылезали из экипажей и шли смотреть мраморную «спящую даму». Стояла эта прекрасная скульптура под увитой плющом перголой, жерди которой поддерживались столбами из серого гранита с головами бога Морфея: для того же, чтобы увидать самое спящую красавицу, надо было дать на-чай дворцовому лакею и тогда он подымал подвешенный на блоке целомудренно скрывавший наготу «дамы» кубический холщевый колпак. С этой же перголы открывался прелестный вид на небольшой пруд. На его водах, у самого дворцового сада, лет двадцать до моего рождения, Государь Николай Павлович угостил своих гостей незабвенным спектаклем балета «Наяда и рыбак», в котором блистала Черрито и декорацией которого служил весь окружающий, освещенный луной и фонариками пейзаж.

Продолжая путь в Бабигоны, после Озерков покидаешь парковую тень и выезжаешь на деревенский простор. Правда и здесь деревья были рассажены группами и казались прибранными и причесанными. Тут вскоре на одном из поворотов, за речкой (или рукавом пруда), открывалась Руина — искусственные развалины, состав-

ленные из мраморов старого собора св. Исаакия, начатого строиться при Екатерине II и затем оставленного. Вероятно потому, что эта петергофская «руина» была первой, которую я видел в жизни, ничто (не исключая, пожалуй, и римского форума) меня так не волновало своей заброшенностью и не производило впечатления такой печальной оставленности, как именно эти розовые колонны, торчащие из-за чахлых северных кустарников среди недоступного, окруженного водой островка.

После Руины начинался подъем к первому из холмов, оцепляющих с юга Петергофскую долину. И здесь, на полусклоне, стоял прямо в поле большущий двуглавый черный бронзовый орел, протягивающий свои свирепые клювы в разные стороны и впивающийся когтями в гранитную глыбу. Эта черная царственная птица представлялась мне тем огромнее и чудовищнее, что неподалеку от нее стоял домик сторожа с садиком, и они казались в сравнении с орлом крошечными. В последующие времена, в разгар моего романа с Атей Кинд, мы очень любили заходить к Орлу, пить молоко или хлебать простоквашу, закусывая краюхой черного хлеба (это всегда можно было найти за несколько копеек у милого сторожа-инвалида), но уже прежнего трепета я не испытывал. Орел мне казался сократившимся, съежившимся, «обезвреженным» — так что я не пожалел особенно, когда в середине 1890-х годов его сняли с Бабигонских высот и перевезли в Петербург, чтобы поставить, в ознаменование ряда побед, перед полковой церковью стрелков на Кирочной улице.

Первый из трех Бабигонских холмов украшен дворцом Бельведер, высоко подымающимся своей колоннадой из синеватого мрамора над всей местностью. И тут пикниковая традиция требовала остановки и снова все, кроме старушек, разбредались по террасам сада, в котором стояли совсем такие же бронзовые кони, как те, что украшают Аничков мост. А сверху, с балкона Бельведера, открывался на все стороны прославленный и действительно изумительный вид — вовсе не какой-либо унылый финский пейзаж, а самый подлинный российский с нежными тенями облаков, скользящими по мягковолнистым полям, с разноцветными золотистыми нива-

ми, зелеными лугами и темными лесами. В сторону Петергофа из-за деревьев торчала готическая башня «папиного» вокзала и сверкали купола Большого Дворца, а вдали за горизонтом яркой звездой в лиловатой дымке, сиял купол Исаакия. Российский характер всего этого ладного, мягкого, чуть дремотного простора подчеркивался церковью в русском стиле, возвышавшейся на соседнем холме, а подальше силуэтом двухэтажной избы «Никольского домика».

Подъехав к этому «домику», построенному в исполнение фантазии Николая Павловича немецким архитектором в стиле русской избы, мы должны были расположиться станом, выгрузить из колясок корзины, поручить самовар старичку с деревянной ногой и с бакенбардами, который охранял этот маленький дворец и выискать по скату холма место поуютнее. Пока кучера распрягали лошадей (эта операция придавала экскурсии особенный характер цыганского кочевья) дети устремлялись к еще не сжатым полям собирать васильки и маки, а «молодые люди» шли в деревню кликать клич, чтобы набрать побольше девушек и девчонок для беговых ристалищ. Если пикник приходился в пору сенокоса или жатвы, то деревня оказывалась точно вымершей; по пустым дворам и избам можно было разгуливать, как по «сельскохозяйственной выставке» и лишь изредка можно было встретить там древних приветливых стариков. Но деревенские дети, заметившие прибытие колясок, сами уже начинали собираться вблизи от нашего стана и с конфузливым хихиканьем, прячась друг за друга, робко к нам подходить. Постепенно эта масса, как хор в опере, образовывала вокруг нас плотную стену.

В сущности барская забава эта была не слишком отменного вкуса. Мне сейчас кажется странным, что в таком «осознавшем человеческое достоинство» обществе, каким представлялась русская интеллигенция семидесятых и восьмидесятых годов, могли еще доживать подобные «крепостнические замашки». Но в те дни мое личное сознание во всяком случае не было на высоте гражданских требований и моя радость от «гоняния баб» не омрачалась какими-либо хмурыми движениями «общественной совести». Да и не было намека какого-

либо «благородного возмущения» в тех, кого мы приглашали, (а не заставляли) нам на потеху побегать...

И какой же получался азарт. Какую можно было наблюдать мимику зависти, обиды или победоносного торжества. Как блестели глаза, в какие широчайшие улыбки осклаблялись рты. Сколько было крику, сколько ссор и сколько самого бурного веселья. И как это всё было красиво. Какая подлинная сцена из «русского балета» получалась, когда, после бегов, девушки образовывали хороводы и, надев новые, заработанные яркие платочки, ленты и бусы, кружились по лугу, распевая плясовые песни. Всё это на фоне Никольского домика и Николаевской церкви носило несколько неправдоподобный, театральный оттенок, но лазурь неба была подлинная — наша северная прозрачная лазурь; вокруг стояли всё же подлинные, обслуживающие действительные крестьянские нужды, строения, а совсем рядом золотилась пшеница, посеянная настоящими мужиками и бабами, а вовсе не оперными пейзанами. Эти самые мужички и бабы, к концу праздника, с граблями и косами возвращались, распевая песни с полей и окружали нашу группу веселой толпой...

И как представишь себе все эти картины, покажется, что вся эта поездка в Бабигоны и поэтичнейшее возвращение оттуда, да и все эти гонки, что всё это происходило не далее, как вчера, а вовсе не более полустолетия тому назад. Существуют ли еще ныне Бабигоны? Не превратились ли они, под заботами социального огосударствления и под влиянием просвещенных идей — в подобие Аракчеевского поселения? Уже наверное туда не ездят больше какие-либо «помещики» и «буржуи», чтобы «гонять баб». Едва ли и бабы с девушками водят хороводы. Скорее какой-либо агитатор собирает товарищей, чтобы лишний раз попытаться вселить в них омерзение к постыдному сверженному режиму и научить слушателей политграмоте. Да, пожалуй, теперь никто и не помнит, что происходило в те давнишние дни, когда правили «обагренные народной кровью монархи»... А кто я сам? Куда девались мои светлые кудри, моя гибкость, мое проворство? Осталось от прежнего одно только неутолимое любопытство и вот

эта страсть запечатлевать вещи, достойные с моей точки зрения, — запечатления. К ним, в чрезвычайной степени, и принадлежат все мои петергофские воспоминания.

Пикники в Бабигоны или в гористой деревушке Венки, за Ораниенбаумом, повторялись ежегодно, и я участвовал в них несчетное число раз, как маленьким мальчиком, так и отроком, и влюбленным юношей и, наконец, и самостоятельным pater familias, которого сопровождали жена и дети. Но пикник в дальнюю Лопухинку, устроенный братом Альбером в 1876 г., был единственный в своем роде. Особенную романтику ему придало то, что, позавтракав в старинном трактире деревни Гостилицы, где я с удивлением увидал колокольню, совсем похожую на нашу Никольскую, мы прибыли на место назначения поздно вечером — вследствие чего пришлось ночевать в крестьянских избах. А утром, чуть свет, я с папой совершили далекую прогулку и дошли до какого-то старинного здания, напомнившего мне те, в которых жили «рыцари» (что это был за замок, я и до сих пор не знаю). Многим же молодым людям пришлось переночевать на сеновале и, когда они покинули его, заспанные, в помятых одеждах, с сеном в волосах и в бородах, то все имели очень смешной и сконфуженный вид. Альбер любил такие авантюры — они отлично служили ему для его амурных предприятий; однако, на сей раз он едва ли был ими занят — ведь он уже был безумно влюблен в свою будущую жену Машу Кинд и о помолвке его с ней было как раз около этого времени объявлено.

К экскурсиям аналогичного характера принадлежит и наша поездка на маневры, происходившие в то лето под Петергофом. Наша карета (почему-то на этот раз мы ехали в закрытом экипаже или то было «поднятое» ландо, так как накрапывал дождь), заблудилась и попала не туда, куда следует — совсем вроде того, как это рассказано в Диккенсовском «Пиквике». Я был единственный, кроме кучера, «мужчина» среди дам, но

разумеется я не мог чем-либо помочь, когда пришлось объясняться с офицером, подскакавшим к нам и разразившимся бранью на кучера. Тетушки, с которыми я сидел, были так напуганы, когда мимо нас пронеслись казаки с пиками на перевес и драгуны с шашками наголо, что стали жалобно молить, чтобы г-н офицер их «отпустил», чтобы им дали вернуться обратно, но возврата туда, откуда мы приехали, уже не было и пришлось ехать дальше, а взобравшись на Троицкие высоты, мы попали в тыл одной артиллерийской батареи. Тут и я натерпелся ужаса. В непосредственном соседстве с нами палили пушки, настоящие пушки, и каждый раз, когда готовился выстрел, я и «мои дамы», покинувшие карету и устроившиеся на склоне холма у передних изб деревни, замирали и закрывали уши. Но очень интересно было видеть во всех подробностях, как солдаты ставили пушку и как ее заряжали. А затем пушки и пороховые ящики в один миг с грохотом, но в удивительном порядке, снялись и понеслись вниз, где, достигнув заворота под горой, исчезли из наших глаз.

Произошло еще несколько значительных событий в то же лето 1876 года. Два касались нашей семьи, третье имело общественное значение.

Первое событие едва не получило трагической развязки. Брат Николай, плавая в бурный день на яхте, принадлежавшей кузену Жене Кавосу, вместе с последним и с их общим другом Ваней Лихачевым, чуть было не погиб в морской пучине. Дежурные матросы на рейде Царской пристани, где стояла яхта, напрасно пытались им отсоветовать пускаться в море в такую погоду — всё же спортивный задор взял верх. Сначала было очень весело — яхта, забирая воду, неслась с небывалой быстротой, но в ту минуту, когда малоопытные моряки, захотели повернуть обратно, они не справились с парусами, суденышко их перевернулось и они сами оказались под водой. Ваня Лихачев и не сразу выбрался на поверхность — он запутался в парусе... Еще к счастью все трое были хорошими пловцами; им удалось зацепиться за

борт опрокинувшейся яхты и с неимоверными усилиями взобраться на нее и сесть верхом на киль. Громадные мутные волны обдавали их, а вокруг ничего, кроме разъяренной стихии, не было видно. С отчаяния Женя Кавос собирался даже отправиться к далекому берегу вплавь. Но тут подоспела помощь. Их заметили с большой царской яхты, всегда летом стоявшей перед Петергофом и послали к ним паровой катер. Насилу их, уже совершенно окоченевших, сняли, и матросы, передавая с рук на руки, положили на дно катера. На «Царевне» же их принял капитан Дубасов — тот самый, который через год после того заслужил геройскую славу во время Русско-турецкой войны.

Всего этого я не видал, я даже не подозревал в те минуты, что рискую лишиться еще одного брата, но дождь погнал меня с нянькой раньше времени с прогулки домой и вот тут, во дворе перед нашей дачей я застал большое смятение и, что меня особенно поразило, здесь же стояли дрожки дяди Сезара, запряженные черным рысаком, который, казалось, разделял общую тревогу, задирал голову, бил землю ногами и всячески показывал, что «надо спешить». Дрожки были окружены нашей и соседней прислугой и все громко говорили, кричали, а некоторые женщины принимались даже голосить. Боком хлеставший дождь и неистовый ветер прибавляли свои трагические черты к общей картине. В эту минуту я увидал мамочку, выходившую из нашего сада и направлявшуюся к дрожкам. Она была в тальме — готовая к поездке, а лицо у нее было перепуганное и глубоко печальное. Завидев меня, мамочка быстро подошла ко мне, подняла и крепко несколько раз поцеловала — всё поступки для нее необыкновенные, ибо она, сколько могла, свои чувства скрывала. «Дайте ему сначала поесть, а потом пусть тоже приедет на пристань», — успела она распорядиться.

Тут и я получил объяснение того, что происходило. Оказалось, что на дачу дяди Сезара только что прибежал нарочный с Царской пристани и сообщил, что яхта «Нина» тонет, что на ней имеются сын Ц. А. Кавоса и один из братьев Бенуа. Самого дяди не было дома, но там сразу велели заложить экипаж, который и заехал за

мамой. Доставив маму до гавани, кучер вернулся за мной и вот я уже мчусь по парку — к дамбе Царской пристани. Мне ужасно захотелось видеть, как вообще «люди тонут», но этого я уже не застал, а увидел совсем неожиданную картину. Человек тридцать матросов, собравшись в кучу, подбрасывали в воздух что-то, что я принял за куклу, одетую в матросскую рубаху. В стороне же стояла мамочка, утиравшая катившиеся из глаз слезы, но то были уже не слезы горя, а радости. Оказалось что когда завидели катер, который вез на берег «утопленников» с «Царевны», то матросы собрались для того, чтобы их по всем правилам привести в чувство, но когда это оказалось лишним (на «Царевне» пострадавших успели переодеть и очень щедро угостить), матросы на радостях решили спасенных «качать»: Женя, Ваня и Коля и были теми «куклами», которые высоко взлетали на воздух и снова падали на протянутые руки. А затем их посадили всех троих на дрожки дяди Сезара, которые и развезли их по домам, мы же с мамой вернулись на извозчике.

Дома, вообще несловоохотливый Коля, отдохнув, закусив и еще выпив полбутылки мадеры, рассказал нам подробности катастрофы. Впрочем, свой рассказ он принужден был повторить не раз и каждый раз он его начинал сначала, так как наша дача заполнялась людьми, желавшими поглядеть на чудесно спасенного. Последний же рассказ достался папе, когда он вернулся из города. Но к этому времени я уже сам всё знал наизусть и перебивал Колю, поправляя его или вставляя забытые им детали. Мне кажется, я переживал всю драму с бóльшим волнением, нежели даже сам потерпевший. Особенно меня поразило то, что перед тем, как отправиться вплавь, наши мальчики, сидя на опрокинутой яхте, повытаскали из карманов золотые часы, серебряные портсигары и всякие другие предметы и всё это побросали в воду, как бы в жертву Нептуну!

Вторым событием, происшедшим в нашей семейной обстановке, явилось то, что к нам пристала собака-ко-

бель сеттер рыже-золотистой масти, постепенно завоевавший себе (и не только у нас, но и во всем нашем клане) особенно почетное положение. После случая с Ишей мамочка боялась собак и особенно берегла меня от всякого «общения» с ними. И к этому новому приживальщику, неизвестно откуда взявшемуся, она вначале относилась недружелюбно и даже всячески пыталась от него отделаться. Но ничего не помогало. Сколько раз дворник заводил Султана в самые глухие уголки парка и Султан всё же находил дорогу домой и с веселым видом, в котором чувствовалось что-то вроде иронии, махая хвостом, вбегал к нам в сад. Я же из всех сил «интриговал», чтобы Султана оставили. Мне нравилась вся его, не лишенная известного достоинства, повадка, мне нравился и его вид, его гладкая шелковистая золотистая шерсть, его красивый хвост, его терпение, ласковость и прямо-таки «благовоспитанность». Я скорее опасался, как бы не нашелся настоящий его хозяин и не отобрал бы его от нас.

Несколько к лучшему изменилось отношение к Султану мамочки (а за одно и папы), когда как-то поздно вечером, в ненастную погоду, он выкинул довольно фантастический фортель. Лил дождь и ветер срывал сучья охапками. Тем не менее жестокие люди не пожелали оставить на ночь Султана в доме и вывели его в сад, считая, что он уже сумеет как-нибудь там укрыться. Обыкновенно он и укрывался где-то, но тут не то его испугали молнии и гром, не то холод показался ему невыносимым, но он насильно проник в дачу и не через дверь, а влетев через окно спальни, которое не успели закрыть ставнями. Эффект получился удивительный. Султан, со всего размаха влетающий в комнату при звоне разбившегося в мелкие куски стекла, врезался мне в память с полной отчетливостью. При этом бедный пес раскровянил себе нос и лапы. Тут сказалась сердечная доброта моих родителей. Они не только не стали его за такой предерзкий поступок бранить, но мама поспешила обмыть его раны, а одну лапу даже перевязала, папа же устроил Султану на ковре у топившейся печки уютное ложе. Султан с виноватым видом лизал им руки и всячески показывал, что он до глубины сердца тронут.

И всё же, когда наступил день переезда с дачи в город, мама, поручив Султана дворнику дачи, который был рад получить отличного сторожа, решила, что мы расстанемся с ним. В самый момент отъезда его, несмотря на мои протесты, куда-то заперли, а весь наш табор, отправив вперед возы с мебелью по шоссейной дороге, покатил в карете и на нескольких извозчиках на купеческую гавань, чтобы погрузиться на пароход. Всю дорогу я не переставал плакать и обвинять маму в жестокости к Султану. Вот мы уже и на палубе, раздается последний звонок, колеса начинают хлопать по воде, снимаются сходни, сбрасываются канаты и в эту то минуту Коля и Миша восклицают: «Боже мой, да ведь это Султан там бежит...» И действительно, из-за перил дамбы замелькала его рыжая фигура, его хвост. Он не бежал, а летел, и в ту самую секунду, когда пароход стал уже отделяться от пристани, Султан сразу смекнув, как поступить, вскочил сначала на высокий дощатый настил, а с него прыгнул на верхнюю палубу, где его с овациями встретили не мы одни, но буквально все пассажиры и даже капитан. Тут не выдержала мамочка. Вероятно она и до того момента крепилась, мучаясь тем, что считала своим «жестоким долгом», теперь же она убедилась, что Султан не простая собака, а существо особенное, одаренное редчайшим чутьем и такими чувствами, которых и у людей не найти. Такой «подарок судьбы» было бы грешно отвергать.

С этого момента Султан превратился в члена семьи. Но, к сожалению, через год, когда мы жили на «Кушелевке», его постигло жестокое злоключение. Разгуливая с компанией гостей по канатной фабрике моего зятя, Султан зазевался и его хвост, которым он бодро размахивал, попал в какие-то шестерни. В одно мгновение наш красавец пес лишился половины своего лучшего украшения. Таким калекой ему и пришлось доживать свой век, но это скорее вызывало к нему всеобщее сочувствие и отнюдь не отозвалось на его положении домашнего фаворита. Постепенно, оставаясь нашим верным другом, он завел себе полезные связи и по всему околотку. Он очень полюбил старшего дворника Василия, а затем распространил свое расположение и на го-

родового, жившего у нас во флигеле и имевшего свой пост у ворот Никольского сада. Там и можно было всегда найти Султана среди блюстителей порядка. Знали его и баловали все кухарки и горничные, все кучера и конюхи, да и просто все ближайшие обыватели. Окончательную популярность он себе заслужил тем, что както обнаружил бродягу, польстившегося на содержание повешенной у входа в Собор кружки и помог его изловить.

И всё же кончина этого чудесного пса, случившаяся около 1886 или 1887 г., не была вполне достойна того высокого положения, которого он достиг. Он скончался не у нас в квартире, где его любимым местопребыванием была передняя (зимой — на коврике перед топящейся печью), а, почувствовав, что срок жизни его истекает, он отправился умирать в дровяной сарай. И положительно, мне думается, что при этом им руководил свойственный ему такт, его «природная благовоспитанность». Последнее время он уже с каким-то виноватым видом помахивал своим искалеченным хвостом и с трудом привставал на своих одеревенелых ногах, когда мы к нему обращались с ласковым приветствием. Он как бы извинялся, что не может нести свою службу, не может подобающим образом выражать свою безграничную нам преданность. Видом же своего трупа он не пожелал утруждать зрение хозяев и друзей, и поэтому предпочел умереть (слово «околеть» в данном случае никак непристойно) вдали от наших глаз.

Появление у нас Султана — событие вполне интимного порядка, рассказ же о Петергофском лете 1876 г. я закончу событием общественного характера. Я говорю о той необычайно грандиозной иллюминации, которая была устроена в том году в Петергофе. Торжественные иллюминации устраивались здесь ежегодно, но обыкновенно они устраивались по однообразному, раз выработанному шаблону и все потребные для нее деревянные части с приделанными к ним шкаликами, хранились в специальном месте, в парке близ Царской пристани, при-

чём некоторые, особенно громоздкие и высокие, торчали из-за высокого дощатого забора. Ребенком я поглядывал на них с тем же волнением, с каким разглядывал те театральные кулисы, которые иногда появлялись на площади около Мариинского и Большого театров перед тем, чтобы их увезти в особый склад. Однако, в 1876 г. иллюминация, повод которой мне неизвестен (не было ли то чествование какого-либо принца или иностранного монарха?) была необыкновенно грандиозная, и вот почему она мне запомнилась с особой отчетливостью. «Бабушкина» дача находилась как раз не в далеком расстоянии от главной и центральной части этого праздника. Стоило пройти мимо большой готической дачи, тротуар которой состоял из свинцовых плит с гербами, стоило дойти до площади перед главными воротами Верхнего сада и обогнуть другую, тоже «готическую» дачу наших друзей Черемисиновых, как мы уже были там у самых приготовлений праздника, на берегу того пруда, на островках которого — Царицыном и Ольгином — стоят затейливые царские павильоны. Уже за неделю до праздника берега пруда были завалены бревнами, сваями и досками и всюду мужики в красных и голубых рубахах строгали, пилили, рубили. Туда же на телегах прибывали готовые, хитро выпиленные, щиты с набитыми на них расписанными холстами. По мере установки этих огромных «кулис», превышавших местами высоту деревьев по берегам пруда, выяснялось, что эти щиты представляют знаменитейшие дворцы и храмы Европы. Я был особенно обрадован, когда среди них узнал хорошо мне знакомый дворец Дожей с двумя, стоящими около него колоннами. Из уст старших я слышал довольно строгую критику этой гигантской, обступавшей весь пруд, декорации; говорилось, что эти памятники «до смешного» уменьшены и уродливо упрощены, но меня зрелище, выросшего на петергофской почве Венецианского дворца только радовало и восхищало.

Во время хода работ можно было в течение нескольких дней изучить и закулисную сторону этой театральной затеи. Лицевой стороной дворцы и храмы были повернуты к пруду и к его островам (на одном из которых должно было состояться вечернее угощение членов цар-

ской семьи и двора) на алееи же, огибавшие пруд, выходили оборотные стороны или «спины» этих кулис и те массивные, сложные конструкции, которые их подпирали. Подойдешь к такому щиту сзади, с аллеи и ничего, кроме стропил, досок и бревен не видишь, а пройдешь мимо него к самому берегу и в промежутке между двумя кулисами открывается противоположная картина, приобретавшая с каждым днем всё более законченный вид. Это ли не была потеха и «сюрприз». Тут и мой Палаццо Дукале стал совсем, как настоящий, колонны его галерей казались круглыми, балкон выпятился вперед, скульптурные украшения лепились до полной иллюзии...

Однако самой иллюминацией простым смертным, не приглашенным на гала на Царицыном острове, пришлось любоваться таким же «закулисным» образом, т. е. пробираясь между подпорками по довольно топкому берегу. Тут получалась еще та неприятность, что от ближайших фонарей-шкаликов, мериадами уснащавших все архитектурные линии декораций, шел нестерпимый жар и одновременно горевшее в них сало распространяло довольно тяжелый запах. Зато, если выйти к самой воде, зрелище получалось сказочное. При свете фонарей и шкаликов дворцы и храмы вовсе уже не казались маленькими и ничтожными. Выделяясь всей своей яркостью на фоне темной листы и отражаясь в воде, они превращались в громадные, прочные и роскошные сооружения. Придя в чрезвычайное возбуждение, я требовал, чтобы мои родные обошли со мной весь круг пруда, а это было не так легко, приходилось протискиваться сквозь густые толпы, а местами мы рисковали оступиться и попасть в воду.

К сожалению, и на сей раз безжалостная петергофская погода не пощадила людской потехи. Еще не был сожжен стоявший в программе фейерверк, как поднялся сильный ветер, от которого целыми партиями тухли фонарики и одновременно стал накрапывать дождь. Праздник, несомненно, был испорчен, но и то, что происходило при этом с иллюминацией, представлялось мне ужасно интересным. Вдруг исчезнет половина какого-нибудь

дворца и не успеют снова зажечь шкалики, как ветер задует соседние огни. Казалось, что волшебные здания на глазах разрушаются и гибнут, а ведь на детский вкус ничего не бывает более любопытного, как вообще всякие разрушения. Ведь мечтал же я в те годы, чтобы у нас в доме сделался пожар! То-то было бы занятно, если бы все — и папа, и мама, и братья, и прислуга — стали бы «хватать что попало» и пробиваться с поклажей среди дыма и пламени. А уж рояль непременно выбросили бы в окно прямо на мостовую...

Пожалуй, в этот вечер я во второй раз в жизни увидал царя и уже вполне осознал это счастье. Во всяком случае это произошло тем же летом в Петергофе, тогда как в первый раз я увидел Александра II за год до того, в Павловске. Возможно, что я видел Государя и тогда, когда его коляска въехала к нам во двор кавалерских домов и он на смерть перепугал нашу немку, запросто обратившись к ней с вопросом, где тут живет фрейлина Нелидова, которую корректный Государь приехал навестить (об этом случае у нас в доме не переставали вспоминать в течение нескольких лет). Однако, тогда я был еще совсем младенцем. К тому же мне не очень нравился этот «генерал», часто проезжавший мимо нашего дома, с надвинутой на нос фуражкой и с густыми бакенбардами на щеках. Меня эти проезды касались только потому, что с меня при этих проездах спешно снимали шляпку и старшие шопотом приказывали: «поклонись, нагни головку».

И вот в первый раз до моего сознания дошло, что передо мной «сам царь», когда во время прогулки перед нами шагом проехала появившаяся из-за деревьев кавалькада. То ли, что Государь ласковым кивком и легким поднятием руки показал, что он узнал папу, то ли, что его на сей раз окружала и за ним следовала целая свита на прекрасных конях, то ли, что вся эта масса блистала золотом и серебром, а на головах у свитских колыхались султаны, — но момент этот врезался мне в память и я точно сейчас вижу и ту солнечную поляну и рощу в глубине и этого очень статного, очень прямо и спокойно сидевшего в седле, несколько строго погля-

дывавшего вокруг военного, который показался мне таким величественным — точно памятник.

Вторично же я «осознал» царя именно в Петергофе — на иллюминации. На сей раз Государь не ехал верхом, а сидел в причудливой плетеной колясочке, которую влекла шестерка белых лошадок, управляемых одетыми в золото жокеями. Это то, что называлось выездом à la Daumont. Дама в белом платье и в белой шляпе с пером рядом с Александром II была, вероятно, императрица, а на странной подвеске позади восседали в застывшей позе, скрестя руки, два лакея. И царь и царица то и дело кланялись направо и налево, причем публика до того близко придвинулась к пути царского следования, что почти касалась колес. За царским экипажем следовали бесчисленные другие и среди них курьезные, длинные низкие дроги — «линеи», на которых спинами друг к другу сидело человек по двенадцати. И так долго тянулся этот поезд, столько тут было дам, генералов, расшитых золотом камергеров и министров в треуголках с белым плюмажем, что мне это даже надоело. Царская коляска давно проехала (и проехала сравнительно быстро), а вот этот хвост тянулся, причем приходилось ему моментами и замедлять движение, а то и совсем останавливаться.

Царя я успел разглядеть вполне явственно, так как я сидел на чьих-то плечах. И на этот раз он очень мне понравился — он показался мне добрым, милым, ласковым.

Небо казалось черным по контрасту с фантастическим светом от сотен тысяч огней, которыми был залит весь парк. И этот свет от шкаликов был не нынешний резкий, неподвижный, мертвый свет электричества, а весь он трепетал и жил, дымчатый же чад, шедший от горевшего сала, образовывал род сияния вокруг пылающих уборов. Стеклянные шкалики были разных цветов и пестрое их сверкание сообщало особую сказочность садовым перспективам. Я бы сказал, что даже смрадный, шедший от тогдашних иллюминаций дух был каким-то необходимым элементом праздничности — та-

ким же необходимым и желательным, как сладковатый запах бенгальских огней, как гул толпы, ровный топот лошадей и как (нота специальная для Петергофа) непрерывавшееся журчание фонтанов и водопадов.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Printed in U. S. A.
by RAUSEN BROS.
142 E. 32nd. Street
New York 16, N. Y.
85